

VISIT...

LANZAROTE  
*Caliente*.COM

The background of the entire cover is a vibrant red with a complex, marbled texture. A solid black rectangle is positioned in the upper right corner, serving as a backdrop for the author's name and the title.

Аугусто Роа Бастос

**С**ЫН  
ЧЕЛОВЕЧЕ-  
СКИЙ

# Annotation

В 1959 году в Аргентине увидел свет роман "Сын человеческий". В 1960–1962 годах роман был отмечен тремя литературными премиями в Аргентине, США и Италии как выдающееся произведение современной литературы Латинской Америки. Христианские и языческие легенды пронизывают всю ткань романа. Эти легенды и образы входят в повседневный быт парагвайца, во многом определяют его поведение и поступки, вкусы и привязанности. Реалистический роман, отображающий жизнь народа,

передает и эту сторону его мирозерцания.

Подлинный герой романа рабочий Кристобаль Хара, которому его товарищи дали ироническое прозвище "Кирито" (на гуарани Христос). Это настоящий народный вожак, руководитель одного из многих партизанских отрядов начала 30-х годов.

---

- 
- [ПАРАГВАЙ, МИФ И](#)  
[ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ](#)
- [СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ](#)
  - 
  - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
  - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)

- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
- [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
- [ЧАСТЬ ШЕСТАЯ](#)
- [ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ](#)
- [ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ](#)
- [ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)

- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)

- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)



- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)

- [83](#)
  - [84](#)
  - [85](#)
  - [86](#)
  - [87](#)
  - [88](#)
  - [89](#)
-

АУГУСТО РОА БАСТОС



# СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

РОМАН

Перевод с испанского  
С. Тартаковской и  
Г. Шамова



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА 1987

# ПАРАГВАЙ, МИФ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОС

«Башмаки — да, книги — нет!»

Вот первое, что услышал смертельно усталый брюнет с огромными меланхолическими глазами, очутившись знойным январским утром 1947 года в «Афинах Южной Америки», как называют столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Кошмар, от которого он бежал со своей родины, Парагвая, продолжал преследовать его. Такая же толпа крестьян выкрикивала фашистские призывы попеременно со здравицами своему вождю и угрозами растерзать

его противников. Но здесь, по крайней мере, людей не убивали прямо на площадях, как это делалось в Парагвае, не громили домов, не жгли книг на кострах и не забивали насмерть всякого, кто на свое несчастье оделся во что-нибудь голубое и на этом основании причислялся к преследуемой либеральной партии, партии «голубых».

И тогда в памяти молодого парагвайского поэта Аугусто Роа Бастоса (он родился в 1918 году) всплыли картины детства: деревня Итурбе, сахарные плантации, где батрачил его отец, первые в жизни башмаки, которые в складчину

соседи подарили ему, восьмилетнему мальчонке, собиравшемуся в школу. Да, он хорошо понимал своих полунищих односельчан. Нужда преследовала его по пятам, была самым верным, неотвязным спутником. Она отступала только тогда, когда маленький Аугусто, забравшись в библиотеку своего дяди, священника Эрменехильдо Роа, погружался в чтение. Так будущий писатель научился понимать, что башмаки нельзя противопоставлять книгам. Кому же было выгодно такое противопоставление, стало понятным много лет спустя. Во всяком случае, колледж «Сан-Хосе», в который с большим трудом попал

одаренный подросток, хотя и помог усвоить английский язык, ответа на этот вопрос не дал. Вспыхнувшая в 1932 году война с Боливией прервала учение. Далее события разворачивались как в кинематографе: призыв в армию, раскаленная безводная пустыня Чако, фронт, демобилизация, нудная чиновничья служба в банке. После долгих мытарств Роа Бастосу удалось устроиться репортером в ежедневную газету «Эль Пайс». В поисках материала он исколесил страну вдоль и поперек. В 1938 году в «Эль Пайс» были опубликованы его сонеты, выдержанные в стиле классической испанской поэзии. Так

началась трудная литературная судьба Аугусто Роа Бастоса. Он приобщился к цеху тех людей, которые «делают книги». Но кто из образованной молодежи в Парагвае не писал и не печатал однажды своих стихов?

По-настоящему Роа Бастос вошел в литературный цех позднее. Этим он был обязан прежде всего человеку, вместе с которым бежал в 1947 году на лодке, ночью, из Асунсьона в Аргентину. То был Эриб Кампос Сервера (1908–1953), зачинатель революционного направления в парагвайской поэзии, автор таких стихов, как «Дровосек», «За решеткой», «Песнь о



Димитрове».

Встреча с Эрибом Кампосом, который вернулся на родину из эмиграции, когда над Европой занялся пожар второй мировой войны, перевернула представления Роа Бастоса о жизни, о человеческой личности, о поэзии и о самом Парагвае. «Искусство должно служить жизни, — убеждал молодых поэтов Кампос Сервера, справедливо считавшийся среди своих соотечественников образованным марксистом. — Нет и не должно быть бесполезной красоты».

Кампос сумел убедить Роа в том, что его сонеты — явление скорее испанской, нежели национальной

литературы, что необходим новый подход к осмыслению и творческому освоению парагвайской действительности.

К этой проблеме поисков пути развития парагвайской литературы по-разному подходили два направления, сложившиеся в начале нынешнего столетия. Одно из этих направлений возникло в начале 20-х годов. Оно было тесно связано с германским фашизмом и поддерживалось многочисленными немецкими эмигрантами. Его основоположником, организатором и теоретиком стал Наталисио Гонсалес (р. 1897). Он создал в 30-х годах журнал и издательство «Гуараниа» и

наводнил страну романами, стихами и очерками, в которых идеализируется патриархальный быт и отсталость деревни. Произведения Наталисио Гонсалеса и его единомышленников выдержаны в натуралистической манере, характеризуются плоским бытописанием, скрупулезным перечнем примет причудливого парагвайского пейзажа и своеобразных обычаев сельского населения. Они наполнены сентиментальным воспеванием «цельной натуры парагвайца» и проповедуют культ силы. Зачастую в них присутствует романтический элемент, когда авторы пытаются

литературно обработать легенды и предания, унаследованные от аборигенов — индейцев-гуарани. Наталисио Гонсалес даже старался создать свод мифов гуарани по образцу скандинавского эпоса и возродить языческую религию. С этой целью он обрушился на гуманистические элементы христианской религии: «Бледнолицый Христос, ты не будешь царить на моей земле!.. Моя раса игнорирует твои скорбный культ. Я верю в сильного отечественного бога Тупанга, в его могущество, способное сокрушить зло».

Цель этого не столько

литературного, сколько  
политического направления состоит  
в том, чтобы отравить сознание  
парагвайцев ядом воинствующего  
национализма, вызвать ненависть к  
гуманизму, к передовым идеям и их  
носителям — рабочим и  
демократической интеллигенции.  
Наталисио Гонсалес присвоил себе  
титул «тендота» (на языке гуарани —  
вождь) и стал формировать из  
отсталых крестьян и  
деклассированных элементов  
фашистские банды (организация  
«Алый стяг»). Именно эти банды в  
январе 1947 года ворвались в  
Асунсьон и устроили дикий погром.  
Их предводители не брезговали и

социальной демагогией, изображая город эксплуататором деревни и призывая крестьян выжечь городскую культуру как проповедницу вселенского зла. В литературе парагвайских фашистов отсутствует описание внутреннего, духовного мира героев, персонажи являются носителями «добра», то есть реакционно-националистических идей, или «зла», отождествляемого со всем иностранным. Это — литература ситуаций, а не характеров. В силу своей примитивности, насыщенности просторечными оборотами, чрезвычайной доступности эти литературные

поделки использовались и до сих пор используются реакцией как эффективное оружие политической борьбы против «импорта европейских идей», под которым подразумевается прежде всего распространение марксизма.

Этой бесплодной, псевдореалистической литературе противостоит другое направление, которое стремится осмыслить парагвайскую действительность, используя все достижения мировой культуры, создать подлинно национальную литературу не на обочине, а на магистральной дороге цивилизации. Родоначальником этого гуманистического, прогрессивного

направления справедливо считают Рафаэля Баррета (1874–1910), который эмигрировал в Парагвай из Испании в 1904 году.

Вокруг Баррета, начавшего издавать журнал «Жерминаль», вскоре сложился литературный кружок «Ла Кольмена» («Улей»). Члены этого кружка, и прежде всего его основатель, энергично взялись за организацию рабочих в профсоюзы и содействовали возникновению первого профсоюзного центра в истории страны — Региональной рабочей федерации Парагвая. В журнале «Жерминаль» и в газетах Баррет выступал с гневными статьями и очерками, обличавшими



засилье иностранных капиталистов и произвол местных помещиков.

Баррет был знаком с творчеством Л. Н. Толстого и А. М. Горького. В своих очерках (наибольшую известность получили «Горе Парагвая» и «Что такое плантации парагвайского чая») он сравнивал парагвайскую действительность с жизнью царской России, что порождало одинаковые образные ассоциации. Если Чехов создал образ палаты 6 как олицетворение царской России, то глазам Баррета Парагвай представлялся каторжной тюрьмой. «Это — страна, превращенная в каторжную тюрьму, чтобы

фабриковать идеальных граждан, — писал Баррет о Парагвае. — Кто исполняет закон неукоснительнее каторжника? Каторжник — само воплощение закона, образец законопослушания». Интересно отметить, что ту же параллель между Парагваем и царской Россией, полувеком ранее, провел А. И. Герцен: «Устройство русской империи в высшей степени просто. Это правление доктора Франсиа в Парагвае, в приложении к стране с пятьюдесятью миллионами населения. Это осуществление бонапартовского идеала: немой народ, без прав, без защитников, живущий вне закона, ему

противостоит меньшинство, которое правительство увлекает за собой, поощряет, возводит в дворянство; меньшинство это образует бюрократию»[\[1\]](#).

Реакционное правительство выслало Баррета в Бразилию. Но его «подрывная проповедь» дала на парагвайской почве буйные всходы.

Уже в 1906 году появляется первый роман из парагвайской жизни — «Игнасиа», принадлежащий перу Хосе Родригеса Алькала (1878–1958). Однако новое направление заявило о себе громче всего в поэзии и драматургии. Его глашатаем стал журнал «Хувентуд», — выходивший в 20-х

годах, а самыми авторитетными представителями — крупнейший парагвайский поэт Мануэль Ортис Герреро (1897–1933), поэты Эриберто Фернандес (1903–1927), Эриб Кампос Сервера, поэт и драматург Хулио Корреа (1890–1953).

К этому направлению примкнул и создатель современной парагвайской музыки, композитор Хосе Асунсьон Флорес (р. 1904).

Если фашиствующие псевдореалисты обращали внимание преимущественно на внешние приметы национального парагвайского характера, фабрикуя бездарные подделки под фольклор, то гуманистическое направление

стало творчески осваивать богатейшее фольклорное наследие, доставшееся парагвайцам от их индейских предков. Именно это направление ввело в художественную литературу язык гуарани, на котором говорят парагвайцы в повседневном обиходе. Ортис Герреро писал стихи на языке гуарани, Хулио Корреа создал народный театр на гуарани, а Хосе Асунсьон Флорес — национальную музыку. Так был сделан важный шаг к тому, чтобы достижения культуры стали достоянием широких народных масс и при этом не утратили ни социальной, ни эстетической ценности. Но решить задачу

повышения культурного уровня  
народа невозможно без  
революционного преобразования  
социально-экономической и  
политической жизни страны. Эту  
истину понял Эриб Кампос Сервера.  
Еще Рафаэль Баррет подметил, что  
Парагвай как бы загипнотизирован  
своей историей, что поступки,  
привязанности и политическая  
принадлежность парагвайца  
зачастую предопределяются  
традицией, семейными преданиями,  
поставленными на службу  
господствующим классам. Развивая  
эту мысль, Кампос писал: «Старое  
отечество отказывает нам в ласке  
своего солнца. Так построим же

новое отечество, которое обеспечит всем хлеб, труд и свободу!» Кампос и другие передовые деятели культуры связывают свои идеалы с молодым рабочим классом Парагвая. Его авангардом выступает Парагвайская коммунистическая партия, которая была основана в феврале 1928 года.

Однако война с Боливией, продолжавшаяся три года, привела к воцарению белого террора в стране. Компартия была загнана подполье. Многие деятели демократической культуры принуждены были уехать в эмиграцию. Народное восстание в Асунсьоне в феврале 1936 года позволило установить демократический режим, но уже на

следующий год он был свергнут. Власть взял командующий парагвайской армией во время войны в Чако — Хосе Феликс Эстигаррибиа. С тех пор и до сего дня Парагваем фактически распоряжается армейская верхушка, которая стоит на страже интересов помещиков и иностранных монополий.

По возвращении из эмиграции Эриба Кампоса Серверы вокруг него образовался литературный кружок под названием «Выя райтых» («Гнездо веселья»). В творческое объединение, окончательно сложившееся в 1943 году, входили Роа Бастос, Уго Родригес Алькала (р.



1919), поэты Хуан Эсекиэль Гонсалес Альсина (р. 1918), Оскар Феррейро (р. 1922) и самый молодой из них Эльвио Ромеро (р. 1926). В эти годы Роа Бастос увлекался сочинением экспериментальных, понятных лишь друзьям «герметичных» стихов и поэм, перемалывая жестокую парагвайскую действительность на «мельнице своих снов», как писал он в одном из стихотворений. В стране безраздельно господствовала реакция, все демократические организации и политические партии были запрещены. Литературная деятельность служила как бы отдушиной. И те, кто не смог найти дорогу к подпольной борьбе с

профашистской диктатурой, отталкиваясь от неприглядной жизни, творили жизнь идеальную в стихах, драмах, в музыке и живописи. К этому времени относятся и первые опыты Роа Бастоса в прозе. Его роман «Фульхенсио Миранда» был отмечен в 1942 году на конкурсе, устроенном литературно-исторической организацией «Атенео парагуайо», но так и остался неопубликованным. В 1945 году писатель пробует свои силы в драматургии (драма «Пока не наступил день»).

Лекции по английской литературе, с которыми Роа Бастос выступал по радио, зарабатывая себе

на хлеб, неожиданно открыли ему дорогу в Европу: он получил официальное приглашение посетить Англию, а затем и Францию. В качестве журналиста Роа Бастос побывал также в Германии, Швеции и Экваториальной Африке.

Парагвайцы с интересом читали путевые очерки писателя, которые регулярно появлялись на страницах газеты «Эль Пайс». Они бичевали гитлеровский «новый порядок», показывали разруху, в которую этот «порядок» вверг народы Европы. Дело в том, что многие высокопоставленные гитлеровцы, спасая свою шкуру, укрылись после войны в Парагвае. Статьи и очерки

Роа Бастоса, посвященные  
разоблачению гитлеризма,  
рикошетом наносили удары по  
антинародному режиму в Парагвае.  
Той же цели служил роман  
«Избиение младенцев» (опять не  
нашедший издателя) и поставленная  
в 1946 году в Асунсьоне пьеса о  
гитлеровской Германии. Так молодой  
писатель вносит посильный вклад в  
демократическое движение, которое  
развернулось в Парагвае под  
влиянием победы Советской Армии  
и ее союзников над фашизмом. Но в  
январе 1947 года, воспользовавшись  
обстановкой «холодной войны»,  
парагвайская реакция нанесла  
серьезный удар по демократическому

движению. Во вспыхнувшей затем, гражданской войне реакционерам удалось увлечь за собой большинство крестьянства, нанести тяжелое поражение демократическим силам, в том числе — компартии, и полностью восстановить режим профашистской диктатуры.

Голод, нищета и террор заставили выехать за границу более полумиллиона парагвайцев (все население страны не превышает двух миллионов человек). Очутившись в эмиграции, Аугусто Роа Бастос мучительно искал ответа на вопрос о том, почему же демократические силы потерпели поражение, почему значительная часть крестьян пошла

за фашистами. Во время погромов в Асунсьоне и на пепелище разоренной Гитлером Европы Роа Бастос постиг истину, что противопоставление башмаков книгам было выгодно монополиям, латифундистам, высшей военной и гражданской бюрократии. Но все ли сделали мы, люди книжного цеха, чтобы открыть глаза оболваненному народу? — спрашивал себя поэт. Нет ли и нашей доли ответственности в том, что трудящиеся, выбирая башмаки, отвергают книги? Драма парагвайского народа и парагвайской интеллигенции становится предметом размышлений писателя-эмигранта. Ему кажется теперь, что

лирика, особенно излюбленная им лирическая поэзия, якобы не литература, раз ее не читает большинство народа. Но разве могут читать стихи неграмотные, которые составляют треть взрослого населения Парагвая, или малограмотные, составляющие половину жителей страны старше пятнадцати лет? Разве можно ликвидировать разрыв между образованной прослойкой и массой неграмотных, не уничтожив предварительно социальную и политическую основу нищеты и варварства?

Роа Бастос отрекается от лирической поэзии и с головой

уходит в прозу. В прозу обличительную, гневную, зовущую к оружию, адресованную всем, всем — самому широкому парагвайскому читателю. Он идет путем, который проложил Рафаэль Баррет.

Социальный заказ властно диктует писателю выбор изобразительных средств. Отсюда — обилие библейских образов, образов, взятых из народных преданий и верований. Парагвайские крестьяне — католики. В то же время они сберегли суеверия и легенды, унаследованные от индейцев-гуарани. Они слепо верят слову католической церкви и свято хранят в памяти эпизоды национальной



истории. Роа Бастос обращается к истории. Он находит в прошлом Парагвая такие моменты, когда движение крестьян против угнетателей облекалось в религиозную оболочку. И в своей первой книге, написанной в изгнании и озаглавленной «Гром среди ветвей» (издана в Аргентине в 1953 году), Роа Бастос выводит образ старого епископа, епископа бедняков, который отказывается служить очередному диктатору и за это лишается епископского сана. Старик священник говорит крестьянам: «Наверное, я ошибся. Наверное, вместо любви я должен был учить вас ненависти, учить, как

отвечать насилием на насилие. Сам Христос сегодня взялся бы за оружие!» Тринадцать лет спустя примерно в тех же выражениях обратился к крестьянам через свою газету колумбийский священник Камило Торрес, лишенный за это сана и впоследствии погибший в схватке партизан с правительственными войсками. Теми же словами встретил своих прихожан бразильский священник Лаже, которого военная диктатура бросила в тюрьму, а затем выслала из страны. Так художественный вымысел обернулся реальной действительностью.

Центральное место в книге

занимает рассказ о забастовке и восстании рабочих с плантаций против североамериканского капиталиста-изувера Гарри Вея. В качестве главного героя Роа Бастос вывел рабочего Солано Рохаса, организатора стачечного комитета и руководителя восстания, на помощь которому пришли крестьяне — охотники на тапиров. Хотя писатель не избежал натуралистических сцен, в конце концов романтика и лиризм взяли верх. Отречение писателя от лирики оказалось надуманным — она не мешает, а помогает поднимать людей на бой с варварством и угнетением. Она берет в плен самого Роа Бастоса, пронизывает его прозу.

История чистой, возвышенной любви ослепленного, осужденного на смерть Солано Рохаса к Яси Монронти, дочери немецкого колониста, выросшей среди индейских крестьян, выводит читателя из мрачного ада. В заключение писатель пророчит светлое будущее тем, кто продолжит дело первых борцов за социальную справедливость и национальную самостоятельность Парагвая.

Книга Роа Бастоса вызвала упреки со стороны кое-кого из бывших друзей писателя, которые испугались ее народности, боевитости, революционного романтизма. К ней поспешили

приклеить этикетку «завербованной литературы».

Но, сознавая свою ответственность перед народом, Бастос не свернул с выстраданного пути. В 1959 году в Аргентине увидел свет роман «Сын человеческий». Небольшой тираж мгновенно разошелся. Год спустя появилось второе издание. Затем роман переиздали на Кубе. Он был переведен на английский, португальский и чешский языки. По авторскому сценарию был снят фильм «Ы-ухей» («Жажда»), в основу которого положены главы из этой книги, посвященные войне в Чако. Музыка к фильму написал Асунсьон

Флорес.

В 1960–1962 годах роман «Сын человеческий» был отмечен тремя литературными премиями в Аргентине, США и Италии как выдающееся произведение современной литературы Латинской Америки. Фильм «Жажда» был премирован в Аргентине и в Испании.

В одной из своих статей Роа Бастос назвал Парагвай загадочной страной, замороженной мифами. Христианские и языческие легенды пронизывают всю ткань романа «Сын человеческий». Эти легенды и образы входят в повседневный быт парагвайца, во многом определяют

его поведение и поступки, вкусы и привязанности. Реалистический роман, претендующий на отображение жизни народа, не может не передать и эту сторону его мирозерцания. Более того, доступность романа в немалой степени зависит от того, насколько автору удастся говорить с народом на языке привычных ему образов, понятий, словосочетаний. Мифологический строй романа, аналогии с Евангелием и древними преданиями гуарани — неотъемлемая часть реалистического метода автора, диктуемая сегодняшней парагвайской действительностью. Те критики,

которые упрекают Роа Бастоса в подражании крупнейшему мастеру современной литературы гватемальцу Мигелю Анхелю Астуриасу (ему Роа посвятил книгу «Гром среди ветвей»), забывают, что сходные социальные условия и этнический состав населения порождают известное сходство также и в литературе этих стран.

Мифологические образы и сцены у Роа Бастоса обязательно получают авторское, рациональное истолкование. За ними стоят реальные прототипы парагвайской истории. Проза Роа Бастоса — это реализм, усвоивший современную литературную технику. Это —



реализм, вызванный к жизни подъемом освободительного движения в преимущественно крестьянской, католической стране, говорящей на индейском языке и сохранившей нерастраченные сокровища фольклора.

Естественно, что писатель опирается на достижения своих предшественников по художественному освоению фольклора гуарани, прежде всего — на богатейшее литературное наследие уругвайского писателя Орасио Кироги. Правда, в центре внимания последнего стоял конфликт человека с буйной, тропической природой. У Роа

Бастоса стихийные силы имеют служебную функцию, помогая глубже раскрыть столкновения между людьми, как, например, в сценах каторжного труда рабочих на плантациях парагвайского чая. Роа подчеркивает, что «зеленый ад» создан не столько природой, сколько жадой наживы, алчностью иностранных компании и их местных приспешников. В этом он перекликается с романом аргентинского писателя Альфредо Варелы «Темная река».

Важнейшей особенностью творческой манеры Аугусто Роа Бастоса является революционное истолкование мифологических и

евангельских образов. Он продолжает утверждать принципы «завербованной литературы» и превращает литературные произведения в средство борьбы. Подлинный герой романа — рабочий Кристобаль Хара, которому его товарищи дали ироническое прозвище «Кирито» (на гуарани — Христос). Это настоящий народный вожак, руководитель одного из многих партизанских крестьянских отрядов начала 30-х годов. Он уже не верит в мифы, хотя жадно впитывает богатый житейский опыт индейского вождя Канайтй. В ответ на упреки Сальюн, этой парагвайской Марии Магдалины: «...Тебе никого и ничего

не жалко...» — современный Христос отвечает: «Я выполняю свой долг... То, чего не может сделать человек, никто не сделает». Ответ бунтаря, богоборца, но ответ, доступный пониманию религиозного крестьянина, ответ, помогающий последнему стряхнуть путы покорности и подняться на борьбу за утверждение своего человеческого достоинства.

Роа Бастос отдает дань идеалистической мелкобуржуазной концепции так называемого революционного мифа. Устами Мигеля Беры, интеллигента, одетого в военную форму, писатель выражает искреннюю веру в социально-

организующую роль мифа. «Для этих людей имеет смысл только такое будущее, которое своими корнями уходит в прошлое и обладает его притягательной силой. Они не думают о смерти. Они живут сиюминутным делом. Их соединяет страсть, обуревающая в данный момент, страсть, которая выводит их из мирка чисто личных интересов, связывает с каким-то общим делом, пусть даже неосуществимым, но бескорыстным».

После того как потерпела неудачу попытка разрушить традиционное общество усилиями рационально мыслящих, но изолированных от народа

мелкобуржуазных революционеров, писатель стремится проложить дорогу к обездоленным массам крестьян через привычные евангельские представления, слитые с индейскими легендами. Согласно этой концепции призыв к восстанию, облеченный в форму то ли евангельской притчи, то ли индейской легенды, может вызвать стихийный бунт крестьян, если те поверят новому пророку. Эти богостроительские нотки, поэтизация бунта в известной мере обусловлены отсталостью Парагвая, властью отживших представлений и образов над коллективным сознанием крестьянства и даже

части интеллигенции. Но запас жизненных наблюдений автора оказывается все же сильнее, богаче этой философско-социологической схемы: он заставляет Роа в конечном счете поломать эту схему. Его герои выбирают не «путь бога», а «путь человека». Христос для них не бог, а пример революционера, каким он был, скажем, у А. Блока. И это подчеркнуто лишний раз даже названием романа.

Строй образов и стиль романа претерпевают заметную эволюцию. На смену Христу патриархального Парагвая, музыканту и скульптору Гаспару Море (прообразом послужил поэт Ортис Герреро, который первым

начал записывать народную музыку в Парагвае), приходит мессия современности — рабочий, атеист, верящий в разум и силу человека труда и поднимающий этого человека на бой и с природой, и с эксплуататорами, и со штрейкбрехерством, трусостью, себялюбием — со всем наследием прошлого.

Роман выглядит как серия фресок, раскрывающая драму парагвайского народа. Перед глазами читателя проходят сто пятьдесят лет, последовавшие за провозглашением независимости Парагвая, хотя действие романа разворачивается на протяжении немногим более трех



десятилетий XX века. Чередование этих фресок отображает постепенное высвобождение человека из-под власти мифа.

«Сын человеческий» открывается картинами из жизни парагвайской деревни, пребывающей во власти мифов. Крестьяне, вчерашние рабы и вольноотпущенники, трепещут перед оборотнем. Ягуаретё-Ава, человеком-ягуаром. Они боятся очаровательного кудрявого карлика Ясй-Ятерё, который якобы крадет детей и пьет кровь заблудившихся в сельве путников, и думают, что этот карлик — бог, олицетворяющий плодородие и красоту, дающий начало всему

живому. Они искренне верят, как верили тысячи лет назад их предки, что именно белолицый бородач Суме обучил людей добыванию огня, земледелию, гончарному делу. Они надеются, что Суме когда-нибудь возвратится, как обещала легенда, и восстановит справедливость на земле. Надежды их дедов обманули испанские завоеватели, которые поработили индейцев от имени святого Фомы, превратили их в крепостных ордена иезуитов. Их отцы поверили диктатору Хосе Гаспару Томасу Родригесу де Франсиа (1756–1840), который возглавил независимое парагвайское государство, но не избавил народ от

жестокой эксплуатации местных помещиков и бюрократов. А сами они стали жертвой новых белолицых завоевателей, всевозможных томасов — владельцев английских и американских компаний, которые вторглись в Парагвай и подвергли его грабежу. Даже восставая против поработителей, как это делает Макарио Франсиа, они уповают не столько на свои силы, сколько на божью благодать. Этому миру мифа созвучен многоплановый стиль повествования, аллегоричный, изобилующий недомолвками, намеками, символами. Многие сцены и персонажи как бы светят отраженным светом, светом

Евангелия и древних индейских легенд.

Но вот вместо доверчивого Макарио на сцену выходит новое поколение парагвайцев. На горьком опыте отцов и своем собственном оно убеждается, что роль Суме призваны сыграть они сами. Несправедливая война с Боливией, война в Чако, опалила, а кое у кого и выжгла душу. Предельно ясно оценивают войну ее ветераны Корасон Кабраль и Иларион Бенитес. «Наше счастье, что кончилась эта проклятая бойня», — говорит первый. «Защищать отечество! Мы защищали земли гринго! Отечество — это и мы тоже. А кто нас теперь

защищает?» — гневно спрашивает второй.

В самом деле, хотя столкнулись Парагвай с Боливией, но руками парагвайцев воевали капиталисты Англии, Франции и Аргентины, а боливийское правительство отстаивало интересы монополий США и Германии. То была война из-за пустынной, безлюдной, но богатой нефтью области Чако. На ней беззастенчиво наживались капиталисты и армейская верхушка. Аргентино-английская фирма Касадо, например, получала от парагвайской казны за каждый поезд, прошедший по Чако на фронт, — восемьдесят тысяч песо. Долги

правительства одной только этой фирме за годы войны выросли с пятидесяти миллионов аргентинских песо до трех миллиардов. Командующий парагвайской армией Хосе Феликс Эстигаррибиа был пайщиком фирмы Касадо.

Война закончилась победой Парагвая, но обошлась обеим странам в двести тысяч убитых и тяжелораненых. Официальные историки и литераторы Парагвая не любят касаться этой оборотной стороны медали.

«Редкий писатель в Парагвае, — признается Уго Родригес Алькала, — отважится сказать, что наша страна не является лучшим из миров. Мы

все еще считаем, что прославлять маршала Лопеса или требовать уважения к памяти доктора Франсии — значит выполнять более патриотическую задачу, чем составлять созидательную программу национального возрождения... Наши писатели предпочитают восхвалять диктатуры прошлого, не отдавая себе отчета в том, что тем самым они оправдывают диктатуры сегодняшнего дня и подготавливают пришествие новых».

Роа Бастос принадлежит как раз к числу немногих писателей, которые не побоялись сказать и продолжают говорить правду и о войне в Чако, и о

сегодняшнем Парагвае. Он не был первым, кто раскрыл всю неприглядность этой войны. За два десятилетия до него парагвайский писатель и общественный деятель Арнольдо Вальдовинос опубликовал роман «Кресты кебрачо», Хосе Мариа Каньяс — новеллу «Земной ад», боливиец Оскар Серруто — роман «Огненный поток». Заслуга Аугусто Роа Бастоса состоит в том, что он не ограничился разоблачением войны, а показал ее на широком историческом фоне, через судьбы целых семей, целых поколений.

Образ лейтенанта Мигеля Беры позволил писателю раскрыть драму



той части прогрессивной  
парагвайской интеллигенции,  
которая стремилась найти общий  
язык со своим народом и поднять его  
на борьбу за социальную  
справедливость и поруганное  
национальное достоинство, но так и  
не сумела этого сделать. «Я боюсь,  
что в один прекрасный день... эти  
люди явятся ко мне и снова попросят  
научить их воевать... — размышляет  
Бера по окончании войны. —  
Впрочем, нет, в моих уроках они  
больше не нуждаются. Отгремевшая  
война их многому научила...»  
Бунтари-разночинцы уступают место  
рабочим и крестьянам, которые  
принимают из их рук эстафету и

несут ее дальше. «...Объятая пламенем автоцистерна Кристобаля Хары, тарахтя по ночной равнине и буксуя на извилистых просеках сельвы, везет воду, чтобы утолить жажду тех, кто остался в живых». Роа Бастос не раскрыл политического облика этих новых революционеров — арестованного полицией студента Левши и рабочего Кристобаля Хары. Но лозунги, которые провозглашал Левша, выдвигались во время войны в Чако только Парагвайской коммунистической партией. Именно по ее призыву на фронте восстали солдаты пятого полка, заявив: «Мы не хотим драться за землю для Касадо!» Именно с компартией

связал свою судьбу капитан парагвайской армии Факундо Дуарте, который поднял крестьян на борьбу против правительства (впоследствии он погиб, сражаясь в интербригадах в Испании).

Автор не скрывает, что в описании войны он учился у Л. Н. Толстого. Военные эпизоды в романе уже лишены мифологической неопределенности, расплывчатости, многоплановости, столь характерных для его первых глав. Фреска уступает место гравюре, то героической, то патетически лиричной. Завершают книгу предельно сжатые, почти плакатные картины, исполненные боли за судьбу своего народа, зовущие

к восстанию, к действию. В сущности, задуманный как произведение о войне, роман стал произведением о судьбах парагвайской нации, распятой на кресте равнодушными, корыстными правителями.

В его заключительных строках звучит убежденность Роа Бастоса в том, что многострадальная парагвайская нация сойдет со креста, что семена революции дадут обильные всходы.

С. Семенов



**СЫН  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ**

---

# СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

*Сын человеческий! Ты  
живешь среди дома  
мятежного... (XII, 2)*

*...Хлеб твой ешь с  
трепетом, и воду твою пей  
с дрожанием и печалью  
(XII, 18).*

*Я обращаю лицо мое  
против того человека, и  
сокрошу его в знамение и  
притчу, и истреблю его из  
народа моего...*

*(XIV, 8)*

# *Книга пророка Иезекииля*

*...Мне надо сделать  
так, чтобы кости вновь  
обрели голос...*

*И я сделаю так, чтобы  
плотью речь облеклась...*

*После того, как сгинет  
это время, и новое время  
народится...*

*«Гимн павшим  
гуарани»*





# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## Сын человеческий

### 1

Прошло много лет, но я хорошо его помню. Кожа да кости, и согнут в три погибели. Бродит по деревне в знойную съесту — в раскаленные северным ветром полуденные часы. То на углу остановится, то в тени под навесом. Прижмется к столбику — и не скажешь, что человек, так, пятно какое-то, чуть темнее потрескавшейся кирпичной стены. Сгонит его солнце — он снова

плетется по дороге, постукивает тростниковой палкой, глядит вдаль невидящими глазами, затянутыми белой пленкой катаракты. Ростом с мальчишку, не выше. Ситцевые лохмотья прикрывают его изможденное тело.

— Эй, Макарио!

Всякий раз, когда у ручья мимо нас проходил этот высохший старик, сын одного из рабов диктатора Франсии<sup>[2]</sup>, мы переставали играть продолговатыми плодами гуайявы, заменявшими нам волчки, и смотрели на него так, словно перед нами возникал призрак из далекого прошлого.

Мальчишки бежали за стариком,

старались его разозлить. Но он спокойно шел дальше на своих птичьих ногах и даже не слышал обидных выкриков:

— Эи, Макарио Питогуá! [\[3\]](#)

Близнецы Гойбуру бросали в него комьями земли, и она, рассыпаясь в воздухе, ненадолго заслоняла от нас тщедушного старика.

— Бичо фео...

Оскорбления и злые шутки его не задевали. Трясущаяся фигура землисто-серого цвета терялась среди солнечных бликов на темном фоне коричневых деревьев, росших по обочинам дороги.

Тогда деревня Итапё выглядела

совсем не так, как сейчас. Более трех столетий прошло с тех пор, как вице-король из далекой Лимы приказал ее выстроить, и все эти долгие годы она оставалась маленьким селением, затерявшимся среди просторов Гуайры.

Вице-король, хилый, вечно недомогающий человек, накладывал лапу на, обширные неизведанные края, а до тех страданий, которые всегда терпел народ при разделе земель между энкомендеро<sup>[4]</sup> или при награждении ими самозванных капитанов<sup>[5]</sup>, немало потрудившихся над уничтожением местных племен, ему и дела не было.

От той старой деревни

оставалось несколько домов из камня и необожженного кирпича, теснившихся вокруг церкви. Сквозь трещины в обветшалых стенах прорастали стебли папоротника. Палка, с незапамятных времен подпиравшая фруктовое дерево, вдруг начинала давать побеги. На маленькой площади возле деревянной колокольни пламенели на солнце кокосовые пальмы, их сухие, раскаленные зноем кроны стонали, словно голуби, мучимые жаждой.

Потом через деревню проложили железнодорожную ветку на Вилья-Энкарнасьон. Местные жители толпами нанимались ее

строить. Как сталь, звенели под лопатами шпалы из кебрачо<sup>[6]</sup>. Под этими шпалами многие остались лежать навсегда.

С появлением железной дороги деревня начала пробуждаться. Земля на перроне словно еще дышала под уминавшими ее босыми ногами. Раз в неделю сюда сбегались к приходу поезда торговки лепешками и алохой<sup>[7]</sup>. Медные скулы, рваная одежда — все было покрыто красной въедливой пылью.

Теперь поезда ходят чаще. Каменный перрон новой станции успел приобрести цвет своего немощеного предшественника. Ветка ведет к сахарному заводу, который

высится над рекой, неподалеку от деревни. Против станции — винные склады. Турецкие лавчонки режут глаз своими ослепительно-белыми стенами, словно их не просто выбелили известью, а выкупали в ней. Новая церковь прикрыла собой скелет старой. Черные свечи кокосовых пальм срублены под корень. Колокольня тоже снесена. На ее месте поставлены скамейки и помост для религиозных празднеств в день святой Клары.

Теперь здесь шум, оживление. Прежде ничего такого не было.

Прежде по дороге на Борху и Вильярику стояли лишь редкие ранчо да одинокая повозка, бывало, тянула



за собой по равнине ленту пыли.

Но кое-что все-таки осталось от прежних времен.

Примерно в пол-лиги от деревни высится холм Итапе. У его подножья проходит дорога. Ее пересекает небольшая речка, которая берет начало из бьющего на холме родника. В те часы, когда холм ярко освещен солнечными лучами, на его вершине удастся разглядеть большое распятие, четко вырисовывающееся на фоне раскаленного добела неба.

Туда все ходили праздновать страстную пятницу.

Благодаря событиям, успевшим стать преданием, хотя они разыгрались относительно недавно,

жители Итапе справляли этот праздник на свой, особый лад.

На вершине холма, прибитый гвоздями к черному кресту, неизменно был виден Христос. Навес из болотницы, похожий на индейскую хижину, укрывал его от непогоды. Поскольку и крест и Христос находились там постоянно, необходимость изображать сцены распятия, естественно, отпадала, и обряд начинался прямо с «семи слов», за которыми следовало снятие со креста. Дрожащие, скрюченные пальцы тянулись к распятому искупителю и чуть ли не срывали его с креста в каком-то злобном нетерпении. Со статуей на плечах

толпа спускалась с холма, надсадно вознося к небу песнопения и молитвы. Так она двигалась по дороге, доходила до церкви, но у паперти останавливалась. Внутрь церкви Христа никогда не вносили. Толпа стояла у паперти, а песнопения становились все громче, превращаясь в угрожающие воинственные крики. Потом статую поворачивали над толпой, и мертвенно-белый Христос в свете чадных факелов и сальных свечей, покачиваясь на людских плечах, возвращался к себе на холм.

Этот грубый, примитивный обряд питался духом противоборства, духом коллективного бунта.

Казалось, человеческое естество не желает мириться с запахом жертвенной крови, и к девятому часу страстей Христовых душу раздирали крики то ли отчаяния и обиды, то ли надежды.

За этот обряд мы, жители Итапе, прослыли фанатиками и еретиками.

Но в те времена народ продолжал из года в год ходить к холму, снимать искупителя с креста и носить его по деревне как жертву, требующую отмщения, а не как бога, пожелавшего умереть за людей.

Возможно, простодушные жители Итапе не могли постичь смысла этого таинства. Либо Христос — бог, тогда он не мог

умереть. Либо он — человек, тогда его кровь пролилась на их головы напрасно, не насупив ни единого греха, так как если жизнь и переменялась, то только к худшему. Возможно, просто сама история появления статуи на холме пробудила в их душах такую странную веру в этого искупителя-парию, которого, так же, как их, постоянно унижали, травили и убивали от самого сотворения мира. Поистине странная вера! Вера, которая искажает самое себя и таит негасимую искру протеста.

Так или иначе, несомненно одно: жители Итапе хотели воздать должное Гаспару Море или хоть в

какой-то мере восстановить справедливость по отношению к этому мастеру музыкальных инструментов, который, заболев проказой, ушел в лес и больше уже не возвращался в деревню. Правда, по молчаливому, возможно даже подсознательному, сговору имя его никогда не произносилось.

Я был тогда еще совсем мальчишкой. До конца моим свидетельствам верить нельзя. И теперь, когда я пишу эти строки, я чувствую, что к ребячьей наивности и страхам тех лет примешивается предательская забывчивость взрослого, забывчивость, которая многое похоронила в моей памяти.

Не то чтоб эти записки отражали заново пережитые воспоминания. Нет. Скорее — желание искупить вину.

## 2

Лучше всех знал эту историю старый Макарио. Да и не только эту.

Не все мальчишки дразнили его тогда. Многие из нас увязывались за стариком не для того, чтоб швырять в него комьями земли. Просто хотели послушать рассказы, которые словно оживали в его устах. Старик был великолепным рассказчиком, особенно в последние годы своей

жизни. Даже незадолго до того, как стал слабоумным и умер. Он был живой летописью нашей деревни. Знал он и о событиях, случившихся далеко от Итапе.

Старик родился не здесь. Люди поговаривали, будто бы он незаконный сын самого диктатора Франсии. Как бы то ни было, в церковной книге он был записан под этой фамилией. Макарио, должно быть, появился на свет вскоре после провозглашения Франсии неограниченным диктатором. Отец Макарио, вольноотпущенник Пилар, служил камердинером у самого повелителя и принял хозяйское имя. Многие рабы, отпущенные



повелителем (аристократов он гноил в тюрьмах, а рабам иногда дарил свободу), получали его фамилию — эту темную печать времени. Она ложилась на них несмываемым клеймом, точно окрашивающий кожу пигмент.

От рассказов старика по спине у нас бегали мурашки. И молчание его было не менее красноречивым. Дыхание тех непостижимых времен исходило из древних уст и опаляло нам лица.

Макарио всегда говорил на гуарани. Благозвучное индейское наречие как бы отгоняло наш страх, и вместе с тем он еще острее пронизывал нас. Отголоски

отголосков. Отражения отражений. Тени теней. Не подлинность тех событий, а притягательная сила всякого прошлого.

— Человек, дети мои, — говорил Макарио, — точно река: в нем есть свои омуты, у него есть свои берега. Он рождается и впадает в другие реки. Какую-то пользу он должен приносить. Плоха та река, которая теряется в болоте.

Старик медлил, словно выбираясь из топи воспоминаний, затем продолжал:

— Карай гуасу<sup>[8]</sup> приказал снести дома богачей и срубить деревья. Хотел видеть все вокруг. Днем и ночью. Чтобы не укрылось

ни одно движение, ни один помысел противников, продавшихся проклятым бразильцам и аргентинцам, которые неустанно злоумышляли против него, старались его погубить. Они были подобны болоту, которое грозило поглотить нашу страну. Вот за это карай гуасу и преследовал их. Засыпал болото землей.

Мы не понимали толком, о чем говорит старик. Но грозный лик всемогущего, как сама судьба, повелителя, недреманным оком озирающего округу, вырисовывался перед нами на фоне ночного неба.

— Он и спал-то вполглаза. Никому не удавалось его провести.

И мы видели мрачные подвалы, где томились заживо погребенные узники, вздрагивающие во сне под пронизательным, сверлящим взглядом карай гуасу. Мы тоже вздрагивали от ужаса, слушая рассказы о повелителе, но они не внушали нам ненависти к его тени.

Мы видели, как он скачет вечером по безлюдным улицам; спереди и сзади его прикрывают отряды телохранителей, с саблями и карабинами. Серебряное седло, обтянутое алым бархатом, серебряная кобура, голова в огромной треуголке гордо запрокинута. Он гарцует на гнедом скакуне, сильные руки натягивают поводья, он мчится

бешеным галопом сквозь сумеречную тишь, закутавшись в черный плащ на кроваво-красной подкладке, из-под которого видны только серебряные стремяна да ноги в белых чулках и лакированных туфлях с золотыми пряжками. Его лицо с острым профилем хищной птицы вдруг поворачивается в сторону дверей и окон, наглухо закрытых, как могилы, и хотя с тех пор прошло много лет, слова старика на нас действуют так, что мы прячемся друг за друга, пытаясь укрыться от горящих, точно угли, заглядывающих нам прямо в душу глаз карай гуасу, который скачет на коне, бряцая оружием.

Сочельник. День рождения

повелителя. Пласа-де-Армас,  
огромный дом... Несметное  
множество мигающих свечей  
освещает темную галерею.  
Повелитель в голубом сюртуке,  
белых лосинах и при шпаге  
собственноручно раздает милостыню  
детям бедняков, чуть ли не прямо над  
головами узников, заточенных в  
подвалы. Дети ставят теплящиеся  
свечи и в награду получают из  
всемогущих рук медные монетки.  
Капли света — вот все, что они  
могут подарить повелителю в знак  
благодарности и неизбывного страха.

Макарио избегал произносить  
слово «страх», но мы и без того ясно  
представляли себе, как мрачный

святоша в голубом сюртуке испытующим взором прощупывает склонившихся перед ним оборванцев, не таится ли в них проказа заговора, нет ли хоть малейшей крупницы неповиновения или ненависти.

— Никому не удавалось его обмануть.

Не удалось это и отцу Макарию, мулату Пилару, единственному слуге, которому доверял повелитель.

— Карай гуасу любил моего отца, как родного сына, — как-то раз сказал нам старик. — Отец сам пробовал хозяйские кушанья, чтобы удостовериться, не подсыпано ли в них яду. Когда приступ ревматизма надолго уложил карай гуасу в

постель, мой отец Пилар отправился в Итапуа и Канделарию за лекарствами, которые прописал повелителю французишка, сидевший в тюрьме Санта-Аны. Отец взял с собой в поездку и меня. Снадобья поставили карай гуасу на ноги. Мой отец был на седьмом небе от счастья, но я отравил ему всю радость. — Старик опустил голову на грудь и некоторое время молчал, предаваясь воспоминаниям.

— Как же это случилось, таита

[\[9\]](#) Макарио? — набравшись смелости, полюбопытствовал я.

— В тот вечер, — пергаментные веки Макарио дрогнули, — в тот вечер я увидел золотую унцию на



столе у карай гуасу. Повелитель в первый раз вышел погулять после болезни. Я не устоял перед соблазном. Схватил монету. Ладонь моя сразу же почернела, запахло горелым мясом: карай гуасу нарочно раскалил монету на жаровне. Я отшвырнул унцию в сторону и бросился бежать. Вернувшись с прогулки, карай гуасу распорядился меня позвать и велел показать руку. Ожоги на ней говорили и о моей вине, и о понесенном наказании. Но повелитель приказал моему отцу дать мне пятьдесят розог в его присутствии. Отец мой, покорно взяв гуайявовый прут, вымоченный в соленой воде и уксусе, принялся бить

меня, отсчитывая удары. Я долго терпел и не плакал, потом, в полуобморочном состоянии, поднял глаза на отца и увидел на его побелевшем лице выражение такой боли, которая не уступала моей. Я был его самым любимым сыном. Спустя некоторое время отец дал пинка Султану, собаке, которую карай гуасу обожал. Повелитель приказал схватить отца и отдать в руки тюремного палача, и тот тем же самым гуайявовым прутом всыпал ему сто ударов. Отец, казалось, совсем обезумел. Через несколько дней он повздорил с надзирателем. Говорят, тот первым взъелся на отца. Тогда карай гуасу велел казнить

моего отца вместе с заговорщиками, сидевшими в тюрьме. Он любил его, как родного сына, но не хотел простить измены. А отец не был изменником. Он умер по моей вине: все его несчастья начались с кражи проклятой унции, с черной язвы на моей ладони. Всех нас, двенадцать сыновей Пилара, сослали в самые глухие уголки страны. Я пришел сюда и остался тут жить вместе со своей сестрой Марией Канделарией, матерью Гаспара, того, что потом стал музыкантом и мастером музыкальных инструментов.

В тот вечер мы узнали, что Макарио Франсиа приходится Гаспару дядей. Но о своем

племяннике старик больше не проронил ни слова,

— А ну-ка, покажите свои ладони? — неожиданно сказал он.

Мы с силой сжали тонкие пальцы в кулачки, хотя старик ничего не видел. Он протянул правую руку. Она была почти прозрачной. Между складками морщинистой кожи чернел глубокий шрам.

— Смотрите, чтоб такое не случилось и с вами! Я всю жизнь расплачиваюсь за это. А пожил я немало.

Он завораживал нас своими рассказами.

— Незадолго до Великой войны  
[\[10\]](#) я отправился к большому доктору

в Санта-Ану за снадобьями. Моя сестра очень сильно заболела. В крови у нее хворь поселилась. Только я напрасно проездил. Вот раньше, за двадцать лет до того, ездил я с отцом к доктору, и мы достали лекарство для карай гуасу. А тут не повезло. Французишка тоже хворал. Так мне сказали. Три дня ждал я у его дома, думал, выздоровеет. Ночью его выносили на галерею в кресле. Мы видели, как он спит при свете луны, белый, спокойный, толстый. В последний вечер какой-то пьяница ходил взад-вперед перед больным и все здоровался с ним. Пьяный сердился и кричал громче и громче: «Добрый вечер, господин Бонплан!

Слава пречистой деве Марии, господин Бонплан!» А под конец просто обругал его. Но большой белый доктор продолжал спать и даже не шелохнулся. Пьяный не стерпел такого презрения, выхватил нож, ворвался на галерею и заколол доктора. Я бросился на него и отнял нож. Собралось много народу. Тогда нам сказали, что большой доктор уже три дня, как умер. Пьяница пырнул ножом набальзамированный труп, который на ночь выносили проветривать. А по мне, так доктор умер второй раз... Когда я вернулся в Итапе, сестра моя, Мария Канделария, уже поправилась. Чтобы она совсем выздоровела, я положил

ей под подушку нож того пьяницы, который пырнул труп большого доктора.

Многие из нас не верили старику. Особенно близнецы Гойбуру: Педро был насмешник, а Висенте — сорвиголова. В общем, два сапога пара. Они здорово подтрунивали над старым вольноотпущенником повелителя.

Однажды Макарио привел нас к себе в ранчо. Он долго копошился в пустой пристройке, потом достал узелок. Развязал его. В нем лежал мешочек из игуановой кожи, полный гипсовых черепков. Макарио вытащил оттуда какой-то предмет. На темной ладони задрожала золотая

пряжка.

— Вот, — начал он и не смог договорить.

Догадаться было нетрудно.

Мы сосредоточенно рассматривали пряжку. Аэролит, упавший в пустыне. Перед глазами сразу же появились лакированные туфли, белые чулки и худощаая, зятянутаа в голубой сюртук фигура, высокая, как дерево, которое молния обожгла, но не могла свалить.

Грянула Великая война и разорила страну от края до края. В те годы Макарио Франсиа был уже совсем взрослым.

Он рассказывал, что вплоть до битвы при Умайта, под стенами



Куадрилатеро<sup>[11]</sup>, он сражался в доблестных войсках знаменитого лейтенанта Ньяндуй<sup>[12]</sup>. Макарио был ранен и попал в плен к союзникам в Ломас-Валентинас, но потом бежал и снова явился в ставку маршала Лопеса<sup>[13]</sup>.

— Сама мадама<sup>[14]</sup> вылечила мне плечо, — гордо заявлял Макарио.

Он имел в виду то плечо, которое у него было ниже другого, словно оно опустилось под бременем славы и кошмаров тех далеких лет.

Макарио прошел всю войну и до конца изведal ужасы бойни, длившейся пять лет, пока на холме Серро-Корá не пал последний отряд

Лопеса. Макарио уцелел чудом, воскрес из мертвых, будто святой Лазарь.

Ему удалось сохранить только эту золотую пряжку. Да еще тяжкий бесценный груз расплывчатых воспоминаний.

О своем прокаженном племяннике он никогда не говорил. Намеренно, разумеется, как и остальные. Лишь вскользь намекал, что был такой.

У его сестры, во время бегства от захватчиков, родился сын Гаспар — вот и все, что он объяснял, когда мы очень приставали к нему с расспросами.

Впрочем, историю Гаспара знал

еще один человек в Итапе — Мария Роса, торговка лепешками, которая жила на холме Каровени. Но она тоже молчала. А если и говорила, никто не обращал внимания, потому что она была помешанная. Она произносила бессвязные фразы, к тому же на древнем гуарани, так что совсем ничего нельзя было понять. И еще она повторяла замысловатый напев «Гимна павшим гуарани».

Впервые Макарио завел речь о своем племяннике Гаспаре Море, когда вдруг занемог и был уже на краю могилы. Только когда от старика остались кожа да кости, он стал рассказывать историю, которую до тех пор держал в секрете.

Макарио не расставался с этими воспоминаниями. Конечно, они были свежее остальных, но, в сущности, впитали в себя все другие, потому что рассказ вел он с незапамятного времени, смутного и жуткого, как страшный сон.

### 3

— Случилось это в тот год, когда комета чуть не подмела землю огненным хвостом.

Так он обыкновенно начинал. Комету Макарио называл увага ratá — непереводаемое выражение, которое примерно значит: небесный

огонь. Старик что-то бормотал о гибели вселенной, — утверждение это содержится в космогонии гуарани.

Я и по сей день помню чудовищную комету Галлея, и как мне, пятилетнему мальчику, было страшно, и как глубоко меня потрясло грозное появление этой змеи-собаки, которая намеревалась поглотить мир. Все это я сам помню, но рассказ Макарио переносил меня в более далекое прошлое.

Комета занимала старика только в связи с историей его прокаженного племянника. Всякий раз Макарио рассказывал эту историю немного иначе. Путал факты, изменял имена,

неточно называл время и место действия, как, возможно, это делаю сейчас я. Правда, я еще более неточен, чем выживший из ума старик, который, по крайней мере, был искренен.

Макарио умолкал и замыкался в себе, стоило какой-нибудь женщине затесаться в ряды его слушателей. Он никогда не говорил о Гаспаре в присутствии женщин, а почему — кто его знает. Дряхлый, немощный, он все же немедленно их замечал и погружался а угрюмое молчание. Если он сидел в это время у костра, то сплевывал на пылающие головни, и долго мы ничего не слышали, кроме шипения слюны, а над огнем

поднимались желтые облачка пара. Непрошеной гостье поневоле приходилось уйти.

Макарио снова принимался рассказывать о появлении кометы.

Так было и в тот вечер. На тропинке слышалось легкое шарканье удаляющихся женских ног. Макарио поплевал на угли, слюна в очередной раз прошипела, и вновь зазвучал его спокойный надтреснутый голос:

— Он укрылся в урочище и стал там ждать смерти. — Старик помолчал, потом добавил: — А до этого у него появился сын.

— Какой сын, таита? — спросил кто-то.

Старик не ответил, понурился и тяжело вздохнул.

Все мы знали, что у Гаспара Моры не было сыновей. Старик, казалось, раскаивался в своей болтливости, стыдился своей несдержанности.

Он продолжал рассказ, стараясь заставить слушателей забыть его необдуманные слова, и вернулся к тем временам, когда Гаспар еще был здоров и жил в деревне. Вместо уродливой маски, в которую болезнь превратила лицо Гаспара Моры, перед нами вставало смуглое, чистое, худощавое лицо с кроткими светло-зелеными глазами, каким оно, наверно, было в молодости.



Гаспар пропах древесиной — так много он с ней работал. Из самых отдаленных мест приходили покупать у него музыкальные инструменты и за ценой не стояли. Он не был жаден, брал себе лишь деньги, необходимые на покупку материала и всего прочего для работы. Остальное раздавал беднякам, которым жилось хуже, чем ему. Крестьяне Итапе были нищими, а тут еще посевы гибли: то пожар, то град, то саранча. Вот и росли их долги. Гаспар покупал одежду и еду вдовам и сиротам.

— Парни собирались в его мастерской, — говорил Макариу, — посмотреть, как он работает. Он

наставлял всякого, кто хотел научиться делать инструменты и играть на них. Он построил маленькую школу с резными подпорками для крыши. Я их больше не вижу, но знаю, что они там.

Да, они сохранились и по сей день. Время источило резные фигуры на сосудах и индейские орнаменты, которые Гаспар вырезал стамеской и теслом. На изображениях старческими посиневшими венами выступили прожилки дерева. Все это хранит неизгладимые следы его рук. Но по-настоящему дух Гаспара обитал в этом старом бродяге, который жил одними подаяниями и умудрялся носить такое чистое

рубище, что мы просто диву давались.

Гаспар умер не так давно. А казалось, он канул в далекое, незапамятное время, словно седая старина разверзлась и поглотила его.

Макарио Франсиа как-то приближал к нам Гаспара.

— В сумерках Гаспар принимался играть на собственноручно сделанной гитаре, пробовал, как она звучит, слушал, здоров ли его инструмент...

Это я еще помню. Народ стекался на пастбище послушать Гаспара. Некоторые просто выходили из ранчо. Звуки гитары доносились до самого леса, докатывались до

реки. Помню, мать как заслышит эту далекую гитару, так у нее на глаза наворачиваются слезы. Отец, возвратившись с работы на плантации сахарного тростника, старался случайно не звякнуть ломом, не стукнуть лопатой.

Даже после смерти Гаспара мы не раз слышали в лесу звуки гитары. Дрожащий голос Макарио обрывался. В тишине надвигающейся ночи, прорезанной голубыми искрами светляков, и в самом деле тихонько, как из-под земли, доносилось пение гитары. А может, это в нас звучало воспоминание, навеянное рассказами старика.

В эти минуты мы начинали

понимать даже бессвязный лепет Марии Росы. В нем мы угадывали ту часть истории Гаспара, которая была окутана покровом тайны.

— Когда мы его слушали, никто не думал о смерти, — говорила потерявшая рассудок торговка лепешками с Каровени. — Он заснул в объятиях дерева. Он очень устал, потому что ему все время приходилось воевать с огромной летучей мышью... Но когда-нибудь он проснется и придет за мной. Его приведет комета. Они ему пробили гвоздями ноги и руки. Но комета его разбудит и снова приведет из лесу...

Огненный хвост, по-видимому, навсегда связал между собой

впавшего в детство Макарио, безумную Марию Росу и умершего в лесу прокаженного.

Марии Росе было сорок лет, когда она родила дочь. Позднее материнство состарило ее прежде времени. Всклопоченные волосы начали седеть, но она по-прежнему любила Гаспара.

Тогда, видно, все женщины были влюблены в музыканта, вернее, в того человека, каким он представлялся каждой из них. Я и теперь ясно вижу этих девушек из Итапе в тот час, когда уже «никто не думал о смерти»... Ночную тьму пронизывает фосфорическое сияние светляков, Девушки стоят, потупясь,

слушают музыканта и, должно быть, телом и душой тянутся к нему. Соперничество, вероятно, роднит их между собой и отдаляет от него. Он испытывает нежность только к той певунье без головы, которую сжимает в руках, склонившись в темноте над ее струнами.

Макарио ничего об этом не рассказывал, а почему— неизвестно. Может, и рассказывал, да я позабыл. Тогда меня эти вещи не занимали.

Помню, кто-то стал донимать старика каверзными вопросами.

— Гаспар умер целомудренным, — произнес Макарио спокойно и уверенно, хотя сам же сказал нам, что перед

смертью у прокаженного родился сын. Впрочем, в его возрасте люди часто не помнят, о чем они только что говорили.

— Эх ты, старый грамотей! — посмеивались над Макарио близнецы Гойбуру.

Оба брата уже познали женщин и чванились перед нами, еще не приобщившимися к этому таинству. Старику не удавалось убедить их в том, что Гаспар умер целомудренным. Они считали Макарио плутом и обманщиком.

Этот сорвиголова Висенте украл у него золотую пряжку и носил ее на поясе.

Теперь я думаю, что братья



питали затаенную злобу не только к Макарио, но и к Гаспару. Отец близнецов (позднее молодой бык пропорол ему рогами живот, и он умер) был заклятым врагом и Макарио и Гаспара. Он так ненавидел их, что однажды замахнулся ножом на Макарио и даже на Христа. Очевидно, сыновья унаследовали отцовскую ненависть. Хотя, по правде говоря, эти близнецы глумились над всем и вся.

Как-то вечером, у реки, Педро осквернил память покойного Гаспара, назвав его «шелудивым ублюдком». Для нас это было равносильно пощечине. Мы набросились на Педро, отколотили

как следует, набили рот землей, словно хотели вогнать ему обратно в глотку оскорбление, похоронить его неверие в безгрешность человека, из всех людей самого для нас совершенного. Напрасно Висенте пытался защитить брата. Я наступил хулителю на горло, остальные держали его, чтоб не вырвался.

— Говори: ублюдок или нет! Ну-ка, повтори, если хватит духу!

— Нет! — простонал струсивший Педро.

Только тогда мы его отпустили. Через некоторое время я столкнулся у заводи с близнецами, и они меня чуть было не утопили: во-первых, хотели наказать за мою

непоколебимую веру в чистоту Гаспара, во-вторых, отомстить за то, что мы, заступники Гаспара, накормили Педро землей. Я спасся потому, что умел плавать и мог продержаться под водой дольше, чем они. Но главным моим спасителем была непреклонная вера. Близнецы искали меня, хотели утопить, а я, задерживая дыхание, сидел под водой в густом иле и не закрывал глаз. Они решили, что я уже задохнулся, и ушли, даже не увидав на поверхности воды кровавых пузырьков, которые начали выходить у меня из носа и ушей. Еще немного — и мне пришел бы конец. Я и вправду задыхался, терял сознание и вдруг почувствовал,

что меня вытаскивает со дна деревянная рука Гаспара. На самом деле это оказалось почерневшее корневище, за которое я ухватился.

#### 4

Сначала никто не заметил, что Гаспар Мора исчез. Он не запер дома, не взял с собой ничего, кроме инструментов. А когда заметили, стали повсюду искать. Прочесали все дороги, заехали и в ближайшие деревни, и в самые дальние. Никто ничего не знал. Гаспар бесследно исчез.

Словно человека и не было.

Старухи молились о его возвращении. Девушки ходили грустные, печально понутив головы. Больше всех тосковала Мария Роса, которая приносила ему теплые, хрустящие лепешки, гроздь золотых бананов, холодную воду из родника, бьющего на холме, и не хотела брать денег. Она наливала воду в кувшин, обернутый влажными банановыми листьями. И сама Мария Роса смахивала на темный кувшин: смуглая, почти чернокожая, с округлыми формами, с глянцевыми скулами и искорками в карих глазах.

Прежде Мария Роса принимала мужчин в своем маленьком ранчо на

склоне Каровени. Ходили к ней пастухи и всякий проезжий люд, но мужчин из своей деревни она к себе никогда не пускала. Старухи косились на нее, за глаза перемывали ей косточки. Мария Роса не сердилась на них, просто не обращала внимания.

Гаспар Мора исчез. Его притихшее, закрытое на засов ранчо одиноко стояло среди кокосовых пальм.

В окне, занавешенном куском яркого ситца, больше не светился небольшой фонарь «летучая мышь».

— А Гаспар до того, как исчез, не бывал в ранчо Марии Росы? — спрашивали у Макарио, чтобы

позлить его.

— Гаспар умер целомудренным, — упрямо твердил старик, уставившись в землю.

Теперь-то я хорошо себе представляю, как Мария Роса искала Гаспара, как ждала его, сгорая в очистительном огне, точно внезапно поняла, что из всех мужчин ей нужен один Гаспар Мора, а его-то нет и нет, и он никогда, видно, не вернется.

## 5

Прошли месяцы, а может, и годы. Однажды в деревне появился какой-то дровосек и рассказал

следующее. Он валил деревья в глухом лесном урочище. Вечерело. Вдруг послышался звон гитары. Сначала он подумал, что это ему мерещится.

«Должно быть, призрак или вампир, — сказал я себе. — Или Яси-Ятерё, хоть я и не верю в этих духов, — говорил дровосек собравшейся толпе. — Гитара все пела и пела. Я стал искать место, откуда доносились звуки. Это оказалось не так-то просто. Лесное эхо морочило и сбивало с толку. Наконец я вышел на тропу и добрался до ущелья. Сначала я увидел ранчо, а потом и самого Гаспара. Он сидел неподалеку на пне



и перебирал струны некрашенной гитары... Гаспар болен. У него недуг Лазаря, того, что из евангельской притчи.

Гримаса скорби и ужаса застыла на лицах слушателей.

Дровосек рассказал, что он протянул Гаспару руку, но тот отказался пожать ее.

— Я прикасаюсь только к ней, — и показал на гитару. — Больше ни к кому. К ней зараза не пристает.

— Где он? — спросил Макарио.

— Этого я ни за что не скажу, — отрезал дровосек.

— Сейчас же скажи, — прикрикнул на него старик, — мы

должны отыскать Гаспара.

— Я поклялся своим топором, что никому не открою, где он. Гаспар хочет быть один.

Мария Роса отделилась от толпы. Пока все стояли и обсуждали новость, она сходила к себе в ранчо, собрала в узелок чистую одежду, уложила в корзинку лепешки и другую еду и пошла в лес. Она знала, где работал лесоруб. На следующий день Макарио и несколько его односельчан столкнулись с ней. Она уже возвращалась, неся на голове узелок с одеждой.

Они остановили ее на тропинке, но она не пожелала разговаривать с ними. Ее было не узнать, она стала

совсем помешанной.

6

Макарио и остальные так ничего и не добились от Гаспара: больной хотел до конца своих дней жить в полном одиночестве.

— Omanó vaekué ko-ndoyejheai oikovevandie<sup>[15]</sup>, — сказал им издали Гаспар и знаками показал, что не разрешает приближаться к нему.

Так рассказывал Макарио.

— Мы пришли за тобой, — сказал он Гаспару, — мы тебя повсюду искали.

— Я умер, — не спеша ответил

Гаспар. — И теперь могу вам сказать одно: смерть не так страшна, как нам кажется.

Гаспар, по словам Макарио, долго молчал и потом добавил:

— Она меня понемногу обтесывает и тем временем поверяет свои тайны. Хорошо узнать, что человек, по крайней мере, не исчезает бесследно, а живет иной жизнью, живет в других вещах, потому что, даже очутившись во власти смерти, человек все равно хочет жить. Теперь я это понимаю. Смерть научила меня долготерпению, и за это я развлекаю ее музыкой, — Гаспар улыбнулся своей шутке, — надо же с ней как-то

расквитаться. Такой у нас уговор...

— Но ты мучаешься, Гаспар?

— Мучаюсь? Да, только не из-за этого... — И он взглянул на свои ноги. — Я мучаюсь, потому что вынужден жить в одиночестве, потому что думаю о том, как мало сделал я в свое время для ближних.

— Вот мы и пришли за тобой. Ты еще можешь выздороветь. Мы тебя выходим.

Гаспар отрицательно покачал головой и посмотрел на них таким отчужденным взглядом, словно из земли поднялся мертвец, чтобы еще раз доказать, что с того света не возвращаются.

Потом он сел на пень, взял

гитару и, будто желая развеять злые чары, заиграл на прощание «Лагерь Серро-Леон». На связанных узлами струнах суровой воинственно прозвучал гимн Великой войны, сочиненный неизвестным автором.

— Ну, что тут можно было поделывать! — сказал Макарио.

Они слушали музыку, которая, казалось, и в самом деле пробивается сквозь темную земную твердь, где происходят бесконечные превращения. Этой музыкой к ним, и особенно к Макарио, взывали голоса тысяч и тысяч безымянных мучеников.

Над ущельем спускалась ночь. Распухшие пальцы перебирали

струны некрашеной гитары, которая все больше погружалась в темноту и вдруг умолкла.

Это была их последняя встреча с Гаспаром, их последний разговор.

## 7

Не раз они возвращались в ущелье. Но больной скрывался с поразительной ловкостью, — ему помогало искреннее стремление к одиночеству.

Они осматривали пустое ранчо, искали Гаспара в ущелье, прикрытом со всех сторон лесом. Музыканта нигде не было. А может, спрятавшись

в чаще, он украдкой наблюдал за ними, приподымая огромную львиную голову, покрытую струпами, и его глаза с уже незакрывающимися веками глядели прямо на них. Они решили оставлять ему еду на тропинке. Немного чарки<sup>[16]</sup>, свиной колбасы или головку сыра, а также новые струны. Он забирал приношения и писал на земле палкой «спасибо».

Мария Роса по-прежнему носила ему лепешки, гроздь золотых бананов, родниковую воду в крутобедром кувшине, чем-то напоминавшем ее самое. Не дальше, чем за пол-лиги, от хижины Гаспара протекала речушка Кабеса-де-Агуа,



но Мария понимала, что изъязвленным ногам с каждым днем становится все труднее преодолевать это расстояние.

Время от времени небольшая процессия совершала тайное паломничество к ущелью. В сосредоточенном молчании люди слушали молитву прокаженного. Старались не шуметь: иногда хрустнувшей ветки было достаточно, чтобы музыка смолкла. Застыв среди деревьев, словно тени, они смотрели друг на друга увлажненными, ничего не видящими глазами, а ночь шагала по земле, опуская над урочищем иссиня-черный занавес.

Обратно шли молча, в

непроглядной тьме.

Так длилось довольно долго. Люди решили, что смерть тоже влюбилась в музыканта.

— Но она его любила только там, в лесу, — сказал Макарио. И по-испански добавил: — Где он жил, как в клетке.

## 8

Было это в то время, когда на небе появилась комета и грозно махнула над самой землей своим громадным огненным хвостом.

Поднялась паника. Сверкающее чудовище предвещало конец света.

Молитвы и причитания оглашали церковные своды, под которыми из уст в уста передавалась страшная весть. Все это я хорошо помню.

Мы забыли про Гаспара Мору, забыли, что он один в лесу.

Потом началась засуха — словно палящее дыхание неведомого чудовища иссушило землю и небеса.

Мария Роса пыталась добраться до ущелья и отнести туда немного еды и питья, но ей не удалось. Она заблудилась: злокозненная комета ослепила ее и дотла выжгла ей душу. Через несколько дней Мария вернулась в деревню.

— Его уже нет... исчез... комета его унесла, — тихо бормотала она в

исступлении и разводила руками.

Когда страхи улеглись, Макарио и еще несколько человек добрались до тропинки, ведущей в ущелье. Они обнаружили, что принесенная ими в последний раз еда лежит нетронутой. Муравьи растаскивали заплесневевшие крошки.

Они принялись звать Гаспара. Кричали изо всех сил, но им отвечало только глухое эхо. По следам музыканта они добрались до реки. Там они увидели человеческую фигуру, припавшую ничком к каменистому дну пересохшего русла.

Прошло уже несколько дней, как Гаспар умер.

Там же, неподалеку от речки, они раскопали с помощью мачете рыхлую землю и похоронили музыканта. Макарио соорудил грубый деревянный крест и установил его в изголовье могилы.

Затем, молчаливые и подавленные, они вернулись в ущелье. Все чувствовали себя виноватыми.

— Смерть Гаспара лежала на нашей совести, — сказал Макарио. — Мы снова отправились в лес — забрать гитару и сжечь ранчо.

Через открытую дверь они увидели силуэт обнаженного человека, прислонившегося к стене.

Они оцепенели от ужаса.

— Смертельный холод пронизал нас до самого сердца, — рассказывал Макарио.

Человек стоял неподвижно, опустив подбородок на грудь и раскинув руки. Темнота мешала им разглядеть его как следует. Казалось, он был без волос, голое тело выглядело болезненным, тщедушным, чем-то напоминало скелет.

Не успели похоронить Гаспара Мору, как его хижину уже кто-то занял. От неожиданности они

утратили дар речи, сверхъестественная сила сковала им язык.

— Кто... кто там? — закричал, собравшись с духом, Макарио.

Человек стоял по-прежнему неподвижно, раскинув руки и опустив голову, словно стыдился того, что вторгся в хижину Гаспара.

Макарио повторил вопрос по-испански. Никакого ответа. Незнакомец не шелохнулся. У всех волосы на голове встали дыбом — в такой ужас их повергали молчание и невозмутимое спокойствие этого человека. Им казалось, что, пройди хоть тысяча лет, он все равно не пошевелится и не обратит на них

внимания. Может, он тоже умер и чудом удерживает равновесие, уцепившись распростертыми руками за темноту?

— Поначалу мы думали, что перед нами житель другого мира, — говорил Макарио. — Только нет, он был человеком. И вид и тело, как у обычного человека. Он спокойно стоял, раскинув руки, молчал и безучастно глядел на нас.

Тогда, обуянные страхом и гневом, они ворвались в хижину. Макарио занес мачете над головой незваного пришельца. Сверкнуло в воздухе стальное лезвие, и вдруг они увидели, что перед ними деревянное изображение Христа в человеческий



рост.

— Гаспар не хотел быть один, —  
прошептал старик.

В долгие часы своего добровольного изгнания он терпеливо и любовно вырезал статую Христа. Вероятно, ему хотелось обрести в нем друга, пускай деревянного, но обликом и статью напоминавшего человека. Видно, одиночество становилось ему невмоготу. Оно тяготило его и мучило больше самой болезни.

И вот этот бессловесный друг разделил с Гаспаром изгнание.

Он покорно пережил своего творца. Гноившиеся руки Гаспара покрыли пятнышками некрашеное

дерево. Музыкант создал Христа по своему образу и подобию, и если душа способна воплотиться в дерево, то это и была душа Гаспара Моря.

Кто-то предложил похоронить изображение рядом с прокаженным.

— Нет, — решительно сказал Макарио. — Это его сын! Он оставил его на земле вместо себя...

Все молча согласились с ним.

— Надо отнести его в деревню, — сказал Макарио.

## *10*

Они взвалили на плечи деревянного Христа и двинулись в

обратный путь. Шуршали высохшие листья, совиный крик погребальным звоном неся им вслед из глубины леса. Макарио шел последним и нес гитару.

Они медленно удалялись по тропе, окутанные плотным плащом пыли; они уносили искупителя из сельвы, словно сняли его с огромного креста.

Неожиданно к ним приблизилась сумрачная тень. Это была Мария Роса. Платье на ней превратилось в лохмотья. Кровь запеклась на ссадинах и царапинах, покрывавших все тело. Она глядела на Христа безумными глазами.

— Наверное, пить хочет, —

сказала Мария Роса.

В руках у нее был кувшин. Она подняла его. Из носика потекла тонкая струйка воды. Никто на это не обратил внимания. Пройдя немного вперед, она затянула слабым, надтреснутым голосом припев «Гимна павшим» на уже непонятном древнем гуарани. Временами она умолкала, потом снова бормотала себе под нос. Наконец старинная индейская песнь замерла на губах Марии Росы. Женщина плелась с кувшином в руке следом за убитым горем Макарио, который нес на плече гитару Гаспара.

Свершив столь необычным образом обряд снятия со креста, они

шли лесной тропой неизвестно куда, неизвестно зачем, шествовали по своей необъятной стране, отчизне скорбящих и обездоленных.

Они были так увлечены, что, очутившись в поле, даже не заметили, как изменилась погода. Раскаленное прозрачное небо затянули тучи. Они казались еще темнее оттого, что время от времени их точно кинжалами рассекали молнии. Порыв ветра принес забытые запахи дождя, насытившие пыльный воздух. Скоро сгустилась предгрозовая тьма. Она окутала Христа, бросила черные тени на лица людей, а полыхающие молнии отражались в их широко открытых

глазах.

Когда они миновали невысокий холм, первые дождевые капли расплавленным свинцом упали на дорогу. Не успела процессия войти в деревню, как хлынул ливень; свистел ветер, молнии озаряли все вокруг. Христос искрился, точно наэлектризованный. Бредя по колено в бурлящих потоках воды, люди направились к церкви. Дверь была заперта. Под барабанным боем дождя глухо гудел разбитый колокол. Они внесли Христа под навес, прислонили к стене так же, как он стоял в хижине Гаспара, и уселись на корточках вокруг него.

Мария Роса осталась стоять под

дождем. Ее силуэт расплылся, приобрел призрачные очертания.

Мужчины делали вид, что не замечают ее, и только Христос безмолвно простирал руки к Марии.

## *11*

Так они ждали священника много дней: он приходил в Итапе только по нечетным воскресеньям.

Макарио рассказал ему о случившемся. Священник уже все знал и категорически запретил вносить статую в храм, несмотря на чудо, которое как бы осватило ее. Она ведь принесла с собой из лесу

ливень. Но, возможно, одного ливня было недостаточно, ведь это могло быть и совпадение. Священник искоса поглядывал на деревянного Христа, и в его голосе и жестах сквозило непреодолимое отвращение. Действительно, облик Христа был достаточно непригляден: безволосая голова, прожилки дерева, испещрившие лицо и грудь и напоминавшие струпья. Вся статуя была покрыта синеватыми пятнами.

— Это творение прокаженного, — сказал священник. — Оно разносит заразу, а божий храм — обитель спасения, здесь должно быть всегда чисто...

И он стал разглагольствовать о



том, как удивительно живучи бациллы. Пока он говорил, собралось много народу. Его слушали рассеянно, с отсутствующим взглядом, обращенным к Христову изображению.

Священник заметил, что его объяснения мало понятны окружающим. Он не находил на гуарани подходящих слов, чтобы убедительно растолковать, насколько заразна эта болезнь.

—..Не можем мы внести этого... — Он осекся, увидев, что его речь вызывает у людей все большее недовольство. — Да, дорогие братья мои... Конечно, лицо у него — господя нашего, Иисуса Христа, но

враг лукав. Он пускается на разные уловки, искушает нас, чтобы нашим душам было отказано в спасении. Он даже может принять обличье самого искупителя. — Священник собрался с духом и продолжал увещевать: — Но если это и не так, подумайте хорошенько, кто вырезал это изображение... Еретик, человек, презревший церковь, нечестивец, который умер, как...

— Гаспар Мора был праведником! — перебил его старый Макарио, твердо глядя в глаза священнику.

Его поддержал одобрительный гул. Священника взяла оторопь.

— Он был добрым,

справедливым человеком, — не унимался Макарио. — Трудился, помогал людям, за что ни брался, все делал как следует. Куда ни посмотри — всюду следы его рук, его чистой души, чистого сердца. Где бы ни звучала гитара, арфа, скрипка, всюду мы слышим его голос. Это было последнее творение Гаспара. — Макарио показал на Христа. — Мы принесли его из лесу, как принесли бы самого Мору. Нет здесь больше заразы. По дороге его омыл и очистил ливень. Да вы только посмотрите! Он же говорит своими деревянными устами. Говорит такие вещи, которые нам следует слушать. Слушайте его! Голос этот звучит у

меня здесь. — И он ударил себя в грудь. — Это человеческий голос! Бога мы можем не понять, а человека понимаем. Гаспар живет в нем. Хотел же Гаспар нам что-то поведать, если оставил Христово изображение, сделанное собственными руками. Ведь он тогда уже знал, что не вернется к нам, что навсегда ушел из жизни.

Толпа внимательно слушала Макарио. Никто и в мыслях не держал, что нищий старик осмелится перечить самому священнику и что вообще он умеет так складно говорить.

Макарио не оспаривал веру как таковую — тут не могло быть двух

мнений, — он только спорил о ее смысле. Большинство стояло на его стороне. Это было написано на застывших лицах людей, растроганных речью старика.

Губы священника искривились в гневе. Его приверженцев оставалось все меньше и меньше. Он понял, что ему нужно выиграть время.

— Вот вам доказательство! — сказал священник, показывая на Макарио. От сдерживаемой ярости он произносил слова с присвистом. — Брат Макарио богохульствует и кощунствует здесь, под церковными сводами! В это творение вселился бес. Так и должно было случиться! Оно создано

еретиком и навлечет на нас кару господню!

— Сожжем его! Сожжем его сейчас же — и делу конец! — крикнул срывающимся голосом стоящий рядом со священником скотник Никанор Гойбуру, отец близнецов.

К нему присоединились несколько неуверенных голосов, просто так, за компанию, а может, из страха перед Гойбуру. Скотник слыл человеком вспыльчивым и драчливым. Он прощупывал толпу налитыми кровью глазами, искал поддержки.

— Правильно! Лучше сжечь его, да поскорее! — сказал кто-то, глядя в

землю и раздосадованно сплевывая табак, словно он обжигал ему рот.

— Мы принесли Христа, мы его и унесем, — угрожающе крикнул Макарио.

Тут поднялась целая буря. Толпа разделилась на две партии, шум стоял невообразимый.

Скотник выхватил нож и замахнулся на Макарио, который уже успел взвалить Христа на спину, но под его тяжестью упал на колени. Кто-то стремительно схватил Гойбуру за руку, но тот кончиком лезвия все же оцарапал плечо деревянного икупителя. Засверкали на солнце кинжалы и мачете, прикрывая отступление Макарио и

его сторонников. Кричали  
перепуганные женщины, плакали  
дети. Тревожно зазвонил  
надтреснутый колокол.

Священник понял, что дело  
приняло скверный оборот. Лекарство  
оказалось страшнее самой болезни.

Он размахивал руками, стараясь  
восстановить порядок и заставить  
себя слушать. Наконец, охрипший и  
растерянный, священник кое-как  
утихомирил разбушевавшуюся толпу.

— Успокойтесь, успокойтесь,  
братья мои, — крикнул он  
дерущимся. — Не дадим злобе  
безраздельно овладеть нами. —  
Сложив руки на груди, он принял  
более смиренную позу. — Может,



прав брат Макарио, а заблуждаюсь я. Может, созданный Гаспаром Морой Христос достоин божьего храма. Кто знает, вдруг перед кончиной Гаспар раскаялся в своих грехах и господь его простил. Я не стану противиться тому, чтобы статуя стояла в церкви. Только нужно соблюсти обряд: сначала изображение Христа благословить, освятить его. Такое дело не терпит спешки, надо сделать все толком. Дайте мне посоветоваться с курией, и тогда мы поступим, как истые христиане, не погрешив против нашей святой религии... Разве не справедливо я говорю?

Народ молча согласился на

перемирие, предлагаемое священником. Макарио и его сторонники стояли недвижимо, с грязными от пота и пыли лицами. Переглянувшись, они вернулись на паперть и снова поставили там статую Христа, прислонив ее к стене.

Ропот понемногу стихал. Толпа расходилась.

## 12

Тем же вечером, снимая в ризнице сутану, священник говорил звонарю, хрому прыщавому малому, который исполнял одновременно и обязанности

церковного служки:

— Как только я уйду, это изображение должно исчезнуть. Я не намерен потакать идолопоклонству моих прихожан...

Парень вытянул золотушную шею и непонимающе уставился на священника. Звякнуло об пол кадило, просыпалась дымящаяся зола.

— Когда я уйду, ты сделаешь то, что говорил Гой-буру, — пояснил священник доверительным и в тоже время властным тоном, каким он обычно разговаривал со звонарем.

— Что, отец?

— То, что слышал. Ночью отправишься в лес и сожжешь потихоньку статую. Только чтоб

никто не видел, понял? Потом зароешь пепел в землю и язык проглотишь. Смотри, будь осторожен. Винить во всем станут Гойбуру или того, кто попадется под руку. Там поглядим. Лучше с этим покончить сразу, — добавил он, словно уговаривал самого себя. — Понял?

— Сжечь Христа, отец?.. Мне?.. — поперхнулся звонарь.

Сомнение и страх застыли на прыщавом лице. Неужели священник приказывает учинить такое кощунство? Может, он ослышался? Упавшее кадило напоминало серебряного броненосца, опутанного цепями; броненосец учащенно

дышал, выпуская струйки душистого дыма. Кадык у парня ходил ходуном.

— Я? — переспросил он срывающимся от волнения голосом.

— Да, именно ты. Возьмешь его и сожжешь, — пробормотал священник, резко задвигая ящик.

— Сжечь Христа! Сжечь!

— Он ведь еще не освящен! Пока что это просто кусок дерева.

— А как же его сжечь, отец? — пролепетал парень, украдкой поглядывая в окно. — К нему ж приставлена охрана. Как принесли его, с тех пор и сторожат. Они с мачете.

— Пойдешь от моего имени к сержанту полиции. Он тебе даст

подмогу...

Видно было, что священник и сам-то не очень убежден в справедливости своих слов. Фраза оборвалась, превратившись в невнятное бормотанье.

Он накинул плащ и отправился в приходское управление, где, потягивая мате<sup>[17]</sup>, просмотрел измятую книгу регистраций. Затем он приказал оседлать свою лошадь, против обыкновения ни с кем не попрощался и ускакал по дороге в Борху. Даже на воскресную мессу не остался.

Все решили, что он очень огорчен утренним происшествием.

Звонарь проводил его немного.

Вид у парня был как у побитой собаки, и хромал он больше обычного.

## 13

Укутанная тишиной, выбеленная лунным светом, спала деревня. Силуэты ранчо и деревьев, подернутые пыльной дрожащей дымкой, расплывались на молочном фоне.

В тени кокосовой пальмы, возле церковной ограды, прямо на земле спали четверо мужчин. Один из них был Макарио.

Легкий шорох заставил его

вздрогнуть и приподняться.

Он скорее догадался, чем увидел, как под навесом темные фигуры в пончо крадутся к стоящему у стены Христу. Старик заморгал, не веря своим глазам. Катаракты у него еще не было, но видел он уже плохо. Шорох донесся опять. Макарио сразу же все понял. Этот шум нельзя было спутать ни с каким другим. Это мог быть только приглушенный плащами звон мачете марки Гальо, которые носят полицейские.

— Педро Мάρтир, Элихио, Тани! — разбудил Макарио лежащих с ним рядом парней.

Все четверо разом вскочили на ноги, выхватили мачете и,



перемахнув через изгородь, кинулись вдогонку за негодьями, которые уже тащили деревянного Христа.

— Не троньте его, нечестивцы! — кричал бежавший сзади Макарио.

Застигнутые врасплох воры бросили Христа наземь, обнажили мачете и, прижавшись к стене, стали отступать. Из-за угла выглянуло белое, изрытое оспой лицо звонаря, его фигура в лунном свете была похожа на бутылочное дерево. Он упал в бурьян и пополз к колокольне, волоча за собой ногу. Двое полицейских завернулись в пончо и один за другим удрали, растворились в темноте,

С помощью трех парней Макарио понес Христа в свое ранчо. По дороге к ним присоединились многие жители деревни. Лица у них были заспанные. Никто не сказал ни слова, не задал ни одного вопроса. Пыль поглощала шарканье босых ног. После шума и волнений снова воцарилась удивительная тишина, налитая молочно-белым светом.

Когда они вышли на площадь, нервно кашлянул колокол. Они оглянулись на покосившуюся колокольню и увидели наверху сидевшую на корточках тень. Никому и в голову не пришло, что это

звонарь. Маленькая процессия снова двинулась в путь. Педро Мартир, Тани и Элихио несли на плечах Христа. Они слыли любимыми учениками Гаспара, они похоронили его в лесу, сказав последнее прости, теперь они же несли его последнее творение.

А с колокольни, схватившись за перекладину, звонарь смотрел вслед безмолвному людскому ручейку, уносившему кусок дерева, которому их собрат придал обличье искупителя. Звонарь глядел на него сверху, и искупитель казался ему совсем крохотным, не больше голого новорожденного младенца, белеющего на темных плечах парней.

Звонарь взглянул на свои руки. Подумал, наверное, о том, что они чуть было не сожгли вот «это», нечто куда большее, чем просто кусок дерева.

Кулак, сжимавший перекладину, постепенно разжался. Голова почти скрылась под колоколом; в ушах гудело. Растрепанный конец веревки болтался перед глазами, в которых стояли слезы. Когда звон колокола окончательно затих, убравшись назад в свое медное логово, сквозь стиснутые зубы звонаря прорвались рыдания. Он протянул руку к веревке и несколько минут что-то с ней делал.

Глухо прогудели половицы.

Колокол опять судорожно зазвонил и не унимался до тех пор, пока прямая, как жердь, нога не повисла безжизненно в воздухе. И снова все погрузилось в ночное безмолвие.

## 15

Три дня и три ночи обдумывали они, собираясь возле деревянного Христа, как им быть. Говорили мало.

Кто-то из них, кажется, сам Макарио, вспомнил, что ливень начался как раз в тот момент, когда они проходили мимо холма, напоминавшего Голгофу.

Вот где должен стоять

прокаженный Христос. Открытый всем ветрам, поближе к небу. Это предложение было радостно подхвачено и бурной вестью понеслось по деревне.

В ранчо Макарио круглые сутки толпился и шумел народ. В эти дни нищий старик превратился в настоящего патриарха Итапе — такое ему оказывали уважение. В патриарха-раскольника, в патриарха-бунтаря, которому повиновались решительно все.

Общими усилиями они расчистили холм. Макарио с помощью Педро Мартира, Элихио Брисуэньи и Тани Лопеса сколотил крест и, приклеив искупителю

черные женские волосы, — в суматохе не разобрали, кто их принес, — прибил статую к кресту. Только потом, увидев Марию Росу в рваном платке, наброшенном на остриженную голову, они поняли, что это она отдала Христу свои волосы.

Его водрузили на самой вершине холма. Соорудили навес из болотницы, похожий на хижину Гаспара, в которой появился на свет деревянный искупитель.

Христос вызвал большие волнения в деревне, и им, вероятно, не скоро пришел бы конец, если бы курия не решила пойти на уступки и дать согласие на благословение

деревянного истукана. Более того, курия просто навязала это благословение против воли Макарио.

— Наш Христос не нуждается в их благословении, — ворчал он, но все-таки вынужден был покориться, потому что раскол укоренился в нем недостаточно глубоко.

## 16

На холме Итапе впервые отпраздновали страстную пятницу.

Из Асунсьона на торжественное открытие Голгофы приехал один из лучших проповедников того времени Фидель Маис<sup>[\[18\]](#)</sup>



Вся деревня повалила к холму, чтобы принять участие в священном обряде, который в какой-то мере знаменовал собой победу Макарио и его сторонников.

Проповедник растрогал собравшихся и завоевал их расположение. Голос падре Маиса славился необычайной силой и вместе с тем вкрадчивой мягкостью. Проповедник покорял слушателей еще и тем, что говорил на превосходном гуарани, на котором говорили во времена Монтойи<sup>[19]</sup>

Он без особого труда убедил жителей Итапе, что сын божий в своем безграничном смирении позволил родиться своему лику в

руках прокаженного, так же, как две тысячи лет назад он пожелал родиться в яслях.

— Отныне этот избранный им холм Итапе, — добавил проповедник, — будет называться Тупá-Рапé, ибо стезя господня пролегает по самым смиренным местам и наполняет их благодатью.

Это название — Тупа-Рапе — сохранилось и по сей день; на языке гуарани оно означает «путь бога».

— Я не согласился с проповедником, — рассказывал Макарио. — Зачем понадобилось новое название! Уж если менять, так холм Христа должен называться Куимбаэ-Рапё.

Так он его и называл: «путь человека».

— Потому что человек, дети мои, — говорил Макарио, почти в точности повторяя слова Гаспара, — рождается дважды. Один раз — когда появляется на свет, другой — когда умирает. Он умирает, но остается жить в других, если он делал добро ближнему и при жизни умел забывать о себе. Земля поглотит только его тело, но не память о нем.

Для сына одного из вольноотпущенников повелителя Франсии бессмертие, на которое может надеяться человек, вероятно, в том и заключалось, чтобы отрешиться от себя и продолжать

жить в других. Уж если люди объединены в горькой земной доле, то и надежда на искупление должна служить их объединению.

— Это должно быть общим делом всех людей.

Действительность явно не отвечала его мечтам, вот он их и высказывал вслух.

— Я уже очень стар. Не гожусь ни на что. А вы должны дерзать.

Мы его не понимали, думали, у старика ум за разум зашел.

Потом он быстро стал сдавать. На следующий год, когда праздновали столетие независимости<sup>[20]</sup>, у Макарио уже была катаракта. С каждым днем он

все больше слабел, все ниже клонился к земле. И, может быть, не столько под бременем своих девяноста лет, сколько от горечи недавнего поражения.

Он остался один, потерял зрение, утратил память, впал в самое страшное состояние, когда человеку уже все безразлично. Я помню его в ту пору. Комок высохшей грязи, брошенный мальчишкой, мог убить его наповал.

Железнодорожные рельсы  
убегали все дальше по шпалам,

рассекая красную землю долины. Они огибали холм и сверкали в открытом поле.

Итапе понемногу пробуждалась от многовековой съесты. Но деревне опять суждено будет разделиться на два непримиримых лагеря, так что политический начальник<sup>[21]</sup> и священник без особых усилий укрепят свою ослабевшую власть.

Макарио все еще бродил по дороге, слушал, как гудят шпалы под кирками и лопатами жителей Итапе, нанявшихся на строительство и работавших, как каторжные.

— Прощай, Макарио! —  
неслось вслед старику.

Если он подходил поближе,

люди давали ему что-нибудь поесть из своих скудных запасов: несколько зерен поджаренного майса, кусочек маниоки, — не больше, чем помещается в зобу у маленькой птички.

Однажды зимним утром, заоченевшего, спокойного, в чистом рубище, его нашли у подножия холма. Труп уложили на повозку со строительными инструментами и отвезли в деревню. Громыхающие по новеньким рельсам колеса творили ему зауспокойную молитву. Похоронили старика в детском гробу.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Дерево и плоть

### 1

— Вон Доктор идет!

Так говорят люди ранним утром, когда подернутая росой и пылью деревня Сапукай одну за другой подставляет навстречу восходящему солнцу свои хижины, лепящиеся вокруг захудалой церквушки и разрушенной станции.

Поблескивая на поворотах, тонкие, как рог молодого месяца, рельсы теряются вдаль. Подле



железнодорожного полотна маячат почерневшие кучи строительного мусора, словно гигантские хлопья, за ночь осевшие из густой тьмы. Рабочие постепенно засыпают глубокую, вырытую взрывом воронку, которая кажется бездонной. Кроме земли, она наполнена жертвами взрыва: в ней обрели могилу мужчины, женщины, дети — не меньше двух тысяч человек. Сколько туда ни валят песка и щебня, ее все никак не заполнить до краев.

Всякий раз, когда поезд проходит над этим зияющим кратером, железные десны моста угрожающе дрожат на временных сваях.

Может быть, все, что попадает в воронку, проваливается сквозь глубокие трещины; может быть, придется еще много потрудиться, прежде чем мертвецы, погребенные под путями, успокоятся навсегда.

Всюду видны следы шрапнели, искалеченные вагоны, остатки черной лавы на красной земле — засохшие плевки извержения. Потому что все именно так и произошло, как если бы под ногами людей внезапно разверзлась земля.

Многие стены залатаны необожженным кирпичом, соломенные или цинковые крыши заделаны расколотыми надвое пальмовыми стволами и пучками

травы, которая станет цвета спелого майса, как только взойдет солнце.

По дороге из гончарен Коста-Дульсе, пролегающей через деревню вдоль железнодорожного полотна, идут собака и ее хозяин. Они не помнят о катастрофе. Они безучастны ко всему.

По правде говоря, теперь идет одна собака.

Пастбища дышат влагой, дорога — пылью. Собака бредет потихоньку, не торопясь. Поднимающийся от земли пар лижет ей лапы, прилипает пегими пятнами к шерсти, нагоняет сои. Зажатая в зубах пальмовая корзинка раскачивается при каждом движении лохматой головы.

Появилась собака — деревня знает, что пора вставать.

На горизонте бледнеет сверкающая Венера. Выходят возницы к стоянкам. Лесорубы отправляются в лес, на плечах у них поблескивают топоры, отражая первые лучи солнца. Мужчин в Сапукае мало; те, кто уцелел при взрыве и не был расстрелян, ушли куда глаза глядят. Гончарни Коста-Дульсе совсем опустели. Там никого не осталось. Все присоединились к восставшим крестьянам. И еще много времени спустя никто не хотел резать и обжигать кирпичи для новых построек в этой деревне, которая, едва успев появиться на свет (в тот

год, когда по небу пронеслась комета), казалось, избрала для себя горькую участь.

«Меченая», — говорили о ней жители, вспоминая предзнаменование — комету.

Вот почему в час, когда робко занимается заря, женщины, старики и даже дети тоже уходят на работу: на огороды, плантации, бойни. В этот ранний час деревня кажется особенно безлюдной, почти вымершей. Время от времени скрипнет ворот колодца, в каком-нибудь богатом доме глухо застучит деревянный пестик, толкущий в ступе маис, наверное, для каши или к тушеному мясу. Учащенно бьется это

деревянное сердце; петухи долбят клювами землю — вот и все, что слышится по утрам.

Сапукай просыпается не так шумно, как другие деревни, еще и потому, что железнодорожные мастерские сейчас закрыты. В церкви тоже не звонят. Во время взрыва колокольня взлетела на воздух; колокол все еще лежит среди загаженной голубями крапивы, впившись железными губами в землю.

В этот мертвый час, когда солнце пронзает лучами горы Итакуруби, очерчивая выпуклый, точно фурункул, темный холм Серро-Верде, вдоль путей идет собака. Идет

она, и когда солнце скрыто тучами. Каждый божий день, в хорошую погоду и в ненастье, собака неизменно первой проходит по спускающейся из лесу дороге, где неподалеку от кладбища и гончарен Коста-Дульсе стоит заброшенная хибарка Доктора.

Даже ливень не в силах удержать ее.

— Вон идет Доктор!

Люди не говорят этих слов. Они произносят их мысленно. Без иронии. Они обращаются к тени своего знакомого и — несмотря на случившееся — благодетеля. Потому что в свое время Доктор был другом и покровителем Сапукая.

Он попал сюда в ту пору, когда еще не стерлись следы катастрофы и, возможно, сам того не желая, отвлек внимание жителей деревни, всецело поглощенных бедой, разразившейся над ними более пяти лет назад. Потом, не жалея сил, он бескорыстно помогал бедным и сирым и, наконец, опять-таки безо всякой выгоды для себя, устроил вокруг своего ранчо лепрозорий, который существует и по сей день.

Вот каким человеком был этот Доктор. Людям и поныне мерещится, что он идет вслед за собакой.



Прислонившись к столбу у ранчо, что стоит неподалеку от кладбища, Мария Регалада смотрит на собаку. Мария таращит сонные глаза и о чем-то вспоминает.

Рядом с собакой она видит высокую тонкую тень. Нет, для Марии Регалады это вовсе не тень, как, впрочем, и для собаки. Но тени нет. Есть только собака. Она медленно перебирает лапами и робко вынюхивает давно исчезнувший след. Следа тоже нет, но она его чувствует: запах хозяина преследует ее. Глаза у собаки гноятся, в зубах сломанная, грязная корзинка, по бокам которой стекают две серебряные ниточки слюны. Через кладбище, мимо ранчо

Марии Регалады, она идет от леса до лавки дона Матиаса Сосы и обратно. Всего полторы лиги.

Весной будет как раз полгода, как Доктора нет в Сапукае, и никто не знает, где он. Он исчез как дым, от него осталась лишь тощая собака, которая каждый день ходит с корзинкой в зубах, как и в те времена, когда Доктор отправлялся ранним утром покупать скудную провизию и расплачивался за нее жалкими грошами, полученными от больных.

С удивительной точностью ходит она по той же дороге — маленький лохматый спутник вращается по таинственной орбите,

где так странно переплелись жизнь и смерть. Дойдя до лавки, ставит возле дверей плетеную корзинку и начинает терпеливо искать у себя блох или спокойно сидит, свесив уши. Вокруг нее вьются мухи. Вдруг она с быстротой молнии поворачивает голову и прихлопывает языком какую-нибудь летучую тварь «Отличное попадание» — сказал бы дон Матиас, если б увидел эту охоту. Собака опускает голову, будто стыдится или мучается укорами совести, и опять сидит спокойно, пока лязганье засова и скрип дверей не выведут ее из оцепенения.

— Добрый день, Доктор! — В приветствии лавочника нет ни тени

шутки; он раскланивается по привычке, как если бы возле собаки на самом деле стоял ее молчаливый хозяин. — Мой лучший покупатель меня не забывает! Что будем брать сегодня? Муку и канью? [\[22\]](#) — спрашивает он, ловко воспроизводя иностранный акцент. — Нет муки. Кончилась... Только канья осталась. Неужели? Эге... ни крошки!

Собака смотрит на него кроткими серыми глазами. Шевелит ушами. Вилляет хвостом. Она полна доверия, но держится с достоинством.

— Эх!.. Глупая ты псина, сумасшедшая, как твои хозяин.

Дон Матиас обходится с собакой

то ласково, то грубо, смотря по настроению. Перед ней он не чувствует себя обязанным. Вздумается — швырнет ей в корзинку кость с остатками мяса (кость большая, а мяса чуть-чуть), бросит заплесневелые галеты или обрезок протухшей свиной колбасы, а иной раз наградит пинком. Но чаще всего он просто забывает о ней, и она не получает ничего.

Собака снова берет в зубы корзинку и возвращается той же дорогой, что пришла. Она покорно принимает все: и пинки лавочника, и прилипающие к ее шерсти сгустки смолы, которыми мальчишки, проверяя точность прицела,

стреляют в нее из рогатки, и дохлых змей и жаб, которых ей подбрасывают в корзинку. Она ни на что не обращает внимания и только сосредоточенно нюхает след. Лаять — и то забывает. В темные ночи, когда луна идет на ущерб, прежде чем заснуть, собака протяжно скулит, свернувшись клубком возле пустой хижины.

Мария Регалада всегда поджидает ее на развилке дороги, ведущей к кладбищу, старается приласкать и утешить. Она гладит ее по взъерошенной шерсти, приклеивает слюной разжеванные листья подорожника к ушибленным местам, выбрасывает из корзинки

дохлых тварей, а если корзинка пуста, наполняет ее едой. Потом они идут вместе к осиротевшему жилищу, потому что Мария Регалада, как и собака, верит, что Доктор с ними, что он с минуты на минуту вернется. Обе живут надеждой. Она роднит девушку и собаку, сближает их в этой вере, которая очень напоминает одержимость, а на самом деле, видно, не что иное, как способность молча и самоотверженно принимать действительность такой, как она есть, не отказываясь от своих надежд.

Мария Регалада беременна, но, несмотря на это, продолжает выполнять все обязанности, которые

она сама на себя возложила: убирает ранчо, готовит еду прокаженным, работает в огороде, где растут красные, величиной с кулак помидоры и где под тяжестью стеблей, увешанных толстыми, скрюченными, как подагрические пальцы, стручками фасоли, клонится к земле тростниковая стена, сплетенная самой Марией еще при Докторе.

И только среди обезглавленных деревянных статуй девушка не может навести порядок.

Она не решается дотронуться до них, не смеет коснуться их даже ветками каабы, которые служат ей метлой. Мария боится пошевелить



деревянные тела: как бы из них не хлынула черная кровь, проклятая богом, отравленная кровь.

### 3

— Вон идет Доктор!

Жители деревни думают, что знают его хорошо. Но на самом деле они знают о нем не больше, чем в тот день, когда он пришел в деревню. Случилось это через несколько лет после того, как восстание было подавлено и многие нашли свою могилу в вырытой взрывом воронке.

Под крики пассажиров и брань проводников Доктора насильно

вытолкали из вагона.

На станции пронесся слух, будто он в приступе гнева или безумия хотел не то украсть ребенка у какой-то женщины, не то выбросить его в окно. Не было никаких фактов, позволявших начать судебный процесс. Только слухи, домыслы, болтовня торговков лепешками и солдат, оказавшихся в тот момент на станции.

В полицейском участке его швырнули на земляной пол и продержали дня два-три. Он отмалчивался, не отвечал даже на допросах. Может, не знал испанского языка, и уж тем более гуарани, может, просто не хотел разговаривать

и оправдываться. Может, его не заботило, что о нем подумают другие, раз он сам знал, что не виноват.

Наконец его выпустили, но из деревни он не ушел. Ему, видно, было все равно, где оставаться.

Долгое время он слонялся по деревне. Его одежда и сапоги с подрезанными голенищами износились вконец.

Он снял комнату на постоялом дворе нья [\[23\]](#) Лоле Чаморро в полуразрушенном доме на краю деревни. Там останавливались ночевать по дороге в Мисьонес пастухи из Парагуари и сборщики податей. Они иногда развлекались с

девушками, нанятыми нья Лоле «для всяких услуг».

Чужеземец ни с кем не разговаривал, даже со старой, толстой, как бочка, плутовкой-хозяйкой. Он проводил все время в затхлой каморке, не более просторной и удобной, чем одиночная камера в полицейском участке.

Выходил только в лавку.

#### 4

Увидев его в первый раз, дон Матиас шепнул своим завсегдатаям:

— Этому гринго [\[24\]](#), видать,

воздуха маловато.

— Воздуха? Каньи ему маловато, вот чего! — сказал Дехесус Альтамирано, секретарь управления.

Он много пил в лавке дона Матиаса и жил на взятки, которые ему давали владельцы подпольных перегонных кубов.

Чужеземец подошел к прилавку.

— Что прикажете, сеньор? — спросил любезно лавочник не столько из желания общипать иностранца, сколько из любопытства.

— Каньи, — только и ответил тот.

Не поздоровался, не попытался снискать дружбу или хотя бы

симпатию окружающих, как это делает всякий человек, оказавшийся в затруднительном положении, независимо от языка и национальности, независимо от того, какая с ним стряслась беда.

Выпил, расплатился и ушел.

— Посмотрим, чем он дышит, — сказал дон Матиас Соса.

— И смотреть нечего, — отозвался Альтамирано. — Козу тянет в горы, а свинья себе всегда грязи найдет.

— Он не коза и не свинья, — возразил лавочник. — Это вам не какой-нибудь бродяга. Чует мое сердце, что он человек знатный, эмигрант, бежавший откуда-то из

Европы. Меня не проведешь. Пускай малость пообвыкнет. Уж я ему развяжу язык. Он у меня заговорит. Не может христианин долго скрывать, что у него на душе.

— Если только он христианин, — заметил Дехесус Альтамирано.

— Я его заставлю заговорить.

— Самой нья Лоле это не удалось — значит, дело нелегкое.

— Да тут дело-то особое. Ей не по зубам.

— Поживем — увидим...

Но немного им довелось увидеть, точнее — ничего они не увидели, кроме того, что иностранец по-прежнему бродил как

неприкаянный. Вероятно, он решил остаться в деревне. Он часто заглядывал в лавку и неизменно просил каню. Был всегда замкнут, но не из высокомерия. Причиной замкнутости, видимо, было уныние, а не гордость. Вечно один на один со своим молчанием. Оно составляло все его богатство. Собака и корзинка появилась позже. Как и остальное.

## 5

В те дни начали строить новую станцию и опять открыли железнодорожные мастерские. Под вновь проложенными путями, в



глубокой воронке продолжали гнить человеческие кости. Всюду еще виднелись следы катастрофы, но деревня уже стремилась приобщиться к благам цивилизации, старалась сбросить с себя тягостное оцепенение, в котором пребывала более пяти лет.

Церковной общине во главе со священником удалось начать восстановление разрушенной колокольни. При помощи сложной системы блоков подняли колокол, и даже часы привезли из Асунсьона. Только эти часы показывали время наоборот; каменщик вделал их в стену вверх ногами. Так что строителям станции было чем

поразвлечься и позабавиться. Об иностранце забыли. Он съехал с постоянного двора. Перестал ходить в лавку: вероятно, кончились деньги. Спал под деревьями, а в дождь— на паперти. Он наладил часы, и отец Бенитес не возражал против его ночевок, хотя дамы из церковной общины неприязненно косились на бродягу и выражали крайнее недовольство: иностранец смотрел на них как на пустое место.

Сквозь прорехи рубашки проглядывало тело. Непривычная к загару кожа была сожжена солнцем до волдырей. Он худел с каждым днем. Отросла борода, из-под соломенной шляпы спускались до

плеч светлые вьющиеся волосы. Старая фетровая шляпа изодралась в клочья. Она служила еще и подушкой и не выдержала долгого общения с колючками и бурьяном. Тогда Доктор заменил ее соломенной.

На смену износившимся сапогам пришли альпаргаты<sup>[25]</sup>, купленные вместе со шляпой и пончо в лавке дона Матиаса. Видимо, после этой покупки кошелек иностранца опустел окончательно. Даже сдачу — и ту оставил на прилавке. Прошло немало времени, прежде чем он вернулся к дону Матиасу.

В нем произошли разительные перемены. И только голубые глаза с

покрасневшими белками остались прежними. Непроницаемый, пристальный взгляд, как у слепого.

## 6

Кое-что все-таки удалось разузнать об иностранце.

На постоялом дворе и в лавке устраивались пирушки. В них принимали участие няя Лоле, дон Матиас, политический начальник Атанасио Гальван и Альтамирано. Там много судачили о пришельце, высказывали различные предположения, обменивались впечатлениями. Несмотря на

сумбурность этих толков, под конец все же выяснилось, что он русский эмигрант.

Больше всех знал Атанасио Гальван, бывший телеграфист, который получил повышение и был облечен верховной властью в деревне за то, что донес на повстанцев. Он был связан с министерством внутренних дел.

— Я видел паспорт, — сказал он, машинально выстукивая пальцами по столу текст своего доноса. Он так часто его выстукивал, что эта привычка перешла а нервный тик. — Паспорт в порядке, завизирован русским консулом в Буэнос-Айресе, а зовут его Алексис

Дубровский, — по складам  
выговаривал он. — Да,  
неразговорчивый гринго! Слова из  
него не вытянешь. Я уж ему и  
хлыстом грозил.

А одна из «цыпочек» нья Лоле  
рылась в бумагах Доктора, пока тот  
ходил в лавку, и нашла фотографию.  
Показала ее хозяйке, а потом  
положила на место.

— На фотографии снят он, это  
точно, — выпучив глаза, тарахтела  
приземистая толстуха нья Лоле. —  
Без бороды, гораздо моложе, только  
все равно он. В парадной форме и  
похож на полковника Альбино Хару.  
Тот был красавчик, а этот еще лучше.  
Помните полковника, когда он

приезжал в Каи-Пуэнте на торжественное открытие железной дороги? Красивый такой, разодетый. Сошел на перрон, где стояли важные сеньоры. Ни дать ни взять — архангел Гавриил, только с черными усиками. Все наши девицы так и обмерли. Даже у меня дух захватило. Чего уж больше...

Она остановилась и передохнула.

— К чему ты все это говоришь? — спросил Альтамирано.

— А к тому, что он похож на полковника Хару. Но блондин. Тамошние девицы, наверно, тоже вздыхали по нему. А он женат. На фотографии рядом с ним молодая

сеньора, не женщина — загляденье, на руках ребеночка держит.

— Что ему здесь нужно? — сказал мировой судья Климако Кабаньяс.

— Видно, удрал от большевистской революции, — ответил отец Бенитес. — Там аристократам головы рубят.

Он рассказывал о царе всея Руси, которого расстреляли вместе со всей его царской фамилией на крыше какого-то дома.

— Почему на крыше? — спросил секретарь управления.

— А чтобы было поближе к небесам, — отозвался дон Матиас из-за прилавка. — Нельзя же самого



царя да где-нибудь в канаве и расстрелять, дружище. Верно, дон Климако?

— Там победили революционеры, вот в чем беда, — озабоченно пробормотал судья, подвигаясь на самый краешек стула.,

— Ну, то там... — презрительно сказал бывший телеграфист, выбившийся в политические начальники. — Мы-то здесь знаем, что делать с революционерами, которые хотят восстать против конституционной власти. Помните, как мы с ними расправились?

Никто не нуждался в напоминаниях доносчика.

Каждый старался не глядеть на

собеседника, думая о восстании крестьян. Прошли годы, деревня вновь отстраивалась, воронку наконец зарыли, и все равно следы этого трагического события остались и поныне. Особенно в памяти.

В ту скорбную ночь десятого марта 1912 года над Сапукаем взметнулся огненный гребень гигантского взрыва и, точно магниевая вспышка, озарил все вокруг. В сознании, как на моментальной фотографии, осталась эта картина. Вот эшелон, на скорую руку приведенный в боевую готовность. Вот повстанцы во главе с Элисардо Диасом. Они собираются неожиданно напасть на столицу. У

них две тысячи опытных солдат регулярной армии и крестьян. У них даже два семидесятипятимиллиметровых орудия. Это последний оплот революции. Как знать, может, и удалось бы свергнуть власть в столице — дело случая! Но телеграфист Атанасио Гальван предупредил обо всем военные власти Парагуари, сообщил им азбукой Морзе о планах повстанцев.

— Я их уничтожил! — частенько похвалялся он. — А все моя преданность партии!

Командующий из Парагуари выслал навстречу восставшим войскам груженный бомбами и

снарядами паровоз. Однако взрыв произошел не в открытом поле, как было задумано. У повстанцев сбежал машинист, и они выехали не в тот час, который указал Атанасио Гальван. Гигантская торпеда на колесах, начиненная полуторатысячью немецких снарядов, взорвалась на станции Сапукай и уничтожила сотни людей, собравшихся проводить революционеров. Потом начались преследования и методическое истребление тех, кто уцелел при взрыве. Телеграфист, успевший к тому времени стать политическим начальником за «героический поступок, способствовавший защите

порядка и конституционных властей» — так он нередко с гордостью объяснял причину своего повышения, — возглавил последние массовые расстрелы, руководил ликвидацией смуты, а через два года — работами по восстановлению деревни Сапукай.

Все гости, кроме политического начальника, вспоминали об этих событиях безо всякого удовольствия. Да и у него, конечно, совесть была неспокойна, недаром он барабанил пальцами по столу — нервный тик появился неспроста.

Как-то вечером зашла речь о чужестранце.

— А вдруг гринго

международный преступник. Может, лучше вовремя выдворить его отсюда? — сказал Альтамирано.

— Так он же ничего худого не сделал, — заметил мировой судья. — Ты что, конституции не знаешь?

— Я говорю только, — продолжал, сбавив тон, секретарь, — что он заодно с революционерами.

— С тамошними? — спросил пренебрежительно Гальван.

— Нет, со здешними.

— Это я беру на себя, — заверил политический начальник, выпятив грудь колесом. — Если этот тип — шпион, я его быстро распознаю по повадкам. Тогда он у меня получит сполна. Я не стану его расстреливать

на крыше... — И он захохотал.

Вот и все, что они тогда о нем знали. Собственно говоря, ничего, кроме имени, которое они и выговорить-то как следует не могли. Судьба раздавила человека, осталась лишь тень. Она и была перед ними, раздражая, как соринка в глазу. Все остальное — слухи, домыслы.

Больше его в деревне не видали.

## 7

Спустя некоторое время кто-то сообщил, что гринго построил себе ранчо в лесу, возле Коста-Дульсе, над Кааньябё, между кладбищем и

заброшенными гончарнями. Какое-то круглое ранчо, не похожее на остальные. Поведение иностранца по-прежнему было непонятно. Питался он, видимо, дикими апельсинами, которые там росли в изобилии, а кроме того, охотился на броненосцев и водившихся на болоте коричневых нутрий; потом он поджаривал их на вертеле.

Это уже не были пустые домыслы.

Человек, которому политический начальник велел следить за гринго, рассказал, что чужестранец все время ловит рыбу на берегу речки или лежит на полу в своей халупе. Ему тоже не удалось



вытянуть из гринго ни слова.

— Как бы то ни было, — сказал священник тем вечером в перерыве между двумя партиями на бильярде, — этот человек отказался от света, от мирских удовольствий...

— Но не от каньи, — перебил его взяточник, разжившийся на подпольных перегонных кубах.

—..как древние отшельники, — поспешил закончить свою фразу священник.

— А что, разве они закладывали за галстук? — съязвил Альтамирано.

Когда смех утих, мировой судья подвинулся на краешек стула (он это делал всякий раз, когда его мучил геморрой) и сказал нравоучительным

ТОНОМ:

— Может, вы правы, отец. Но такие люди, как он, крепко цепляются за жизнь. Он еще молод. Я, конечно, не знаю его прошлого, но, мне кажется, этот не из отшельников. Можно посыпать поле солью, и на нем ничего не вырастет, даже бурьян. Но трудно убить саму землю. Знаете ли, старые семена снова всходят, пробиваются сквозь отверстия, сделанные дождем или червями, и зацветают пышным цветом. Так и человек.

— Ну и подвешен язык у нашего дона Климако, — сказал секретарь не то с восхищением, не то с иронией.

— Так я же правду говорю, — возразил мировой судья, делая вид, что не уловил насмешки в реплике секретаря. — Вы и сами это знаете лучше нас. Бесполезно человеку посыпать голову пеплом, когда в нем еще кровь играет. Посмотрим, сколько он так выдержит...

## 8

А потом произошли события, благодаря которым положение гринго в деревне изменилось и он получил новое прозвище. Стало ясно, что, в общем, священник был прав.

Однажды вечером, проходя по

кладбищу, чужестранец увидел, что Мария Регалада катается по земле среди могил, стонет от боли, а ее отец только беспомощно смотрит на нее. Гринго подбежал, осмотрел больную, взял на руки и перенес в дом могильщика. Сам поставил кипятить воду, взял ножик и, не говоря ни слова, стал точить о камень. Могильщик не осмеливался прервать его быстрые и четкие действия. Один раз он, правда, спросил:

— Что вы собираетесь делать, сеньор?

Поскольку сеньор даже бровью не повел в его сторону, бедный Тани Касерé замолчал и только

тревожным взглядом следил за хлопотами иностранца.

Мария Регалада лежала неподвижно, дыхание совсем ослабело. Иностранец переложил ее на стол, разорвал на ней одежду, затем тщательно вымыл руки и то место, где собирался сделать разрез. Вытащил ножик из кипящей воды и вскрыл смуглый живот. Под лучами солнца, просачивавшимися сквозь виноградные ветви, пульсировали внутренности.

Свершилось невероятное. Тани Касере захлеб рассказывал о странных действиях гринго от самого начала до того момента, когда иностранец зашил вскрытый живот

его дочери.

Никто не хотел верить. А между тем что там ни говори, а Мария Регалада выздоровела. Женщины сами видели рану, которая начинала рубцеваться. По обе стороны от шва отходили шесть маленьких лучей. Даже няня Лоле Чаморро не удержалась — прикатила из деревни в повозке посмотреть на чудо. И прямо от могильщика отправилась в хижину гринго показать ему свой жировик на затылке.

Через несколько дней Мария

Регалада смогла вернуться к своей обычной работе, которая ей доставляла только удовольствие.

В то время девушке было пятнадцать лет. Пока отец рыл новые могилы, она носилась среди кладбищенских склепов, выпалывала сорную траву вокруг деревянных крестов, приводила в порядок и штопала траурные ленты на венках, обрывала увядшие цветы. Это была почти такая же работа, как на огороде. Мария охотно выполняла ее. Она знала все кресты наперечет. Здесь были могилы ее матери, дедушки Хосе дель Росарио, родственников и друзей. В центре кладбища теснились бесчисленные

кресты над большой братской могилой, куда сложили трупы тех, кто не попал в воронку от взрыва.

Для Марии Регалады все мертвецы были одинаковы. Все равноправные обитатели ее владений. Она оберегала их сон под землей. Уважала их, но не боялась. Смерть для нее была не более чем обратная сторона жизни, — время отдыха. Место могильщика в Сапукае всегда было почетным и желанным.

Великая война усеяла могилами эти голубые долины. Три столетия назад поместья иезуитов простирались здесь до холма Парагуари. Священники



распространили легенду о появлении на этом холме святого Фомы, как всегда, хитроумно сплели ее с мифом индейцев о Сумё, который тоже появился здесь еще в те времена, когда солнце было меньшим божеством, чем луна. Индейцы прикинулись, будто верят священникам. Но сейчас это уже не имело значения ни для кого.

В горной пещере на базальтовом уступе видны следы ног этого покровителя мате, а когда дует ветер, слышится его голос, которому сердито вторит эхо под нависшими сводами.

В этих краях, особенно над долинами Парагуари, Пирайю и

Сапукай, в темные ночи над самой землей обычно маячат яркие пятна фосфоресцирующих бабочек. И по сей день, когда копают новую могилу, часто находят то кувшин, доверху набитый серебряными и золотыми монетами конца Великой войны, то деревянную статую эпохи иезуитов.

Должность могильщика в Сапукае приравнивается чуть ли не к благородному званию. Со времен Великой войны из поколения в поколение ее занимают мужчины рода Касере, самой бедной и неграмотной семьи в деревне, как занимают трон представители одной династии. Никто не оспаривает у Касере этого права.

Словом, кладбище намного старше деревни, появившейся в сиянии огненной кометы в год празднования столетия со дня провозглашения независимости. Возможно, в Парагвае есть и другие деревни, выстроенные недавно возле кладбищ вековой давности.

Хосе дель Росарио, дедушка Марии Регалады, роя очередную могилу под старым кладбищенским лавром, нашел деревянное изображение святого Игнатия. Его-то и принес чужеземцу Тани Касере в благодарность за спасение дочери. Иностранец отказывался от подарка, жестами объяснял, что не хочет ничего брать, но Тани оказался

упрямой его.

— Вы излечили мою дочку, — сказал он на гуарани. — Денег у меня нет, а ждать, пока вы умрете, чтоб отблагодарить вас работой, я не хочу. Святой ваш, и все тут.

Он прислонил статую к стене хижины и ушел.

## *10*

В деревне только и было разговоров, что о «легкой руке» иностранца.

Спустя некоторое время он удалил нья Лоле жировую опухоль на затылке. Потом вылечил пастуха,

знакомому ему по постоянному двору. Этот пастух вместе с разгоряченными весенним воздухом «цыпочками» всегда отпускал едкие шутки в адрес иностранца.

Пастух подъехал к хижине на лошади, задыхаясь от кашля. У него оказалось крупозное воспаление легких. И не миновать бы Тани Касере рыть ему могилу, но гринго спас пастуха и ничего не захотел взять от благодарного пациента: ни денег, ни револьвера, ни лошади. Он принял от него только собаку, которая за три дня успела привязаться к своему новому молчаливому хозяину.

Затем он вылечил жену

Атанасио Гальвана от астмы, а его самого еще от какой-то болезни, потребовавшей длительного лечения кровоочистительными микстурами. Мировому судье он облегчил мучительные боли, вызванные геморроем. Несчастный вечно сидел, наклонившись вперед, на самом краешке стула. Даже священнику с его больной печенью помогли средства, предписанные иностранцем. Он обнаружил блестящие познания в лекарственных травах. Гринго уходил в глубь леса и возвращался с целым ворохом целебных растений. Его знаменитые настои действовали безотказно. С тех пор его и прозвали «Доктор».

Бывший телеграфист, употребив все свое влияние, прекратил поток доносов, сыпавшихся от медиков Асунсьона и Вильярики, в которых изобличалась противозаконная врачебная практика иностранца.

На смену недоверию, насмешкам, злomu шушуканью пришли уважение и даже восхищение. Никто уже не говорил худо о Докторе. Он уже перестал быть гринго, но еще не стал еретиком.

С каждым днем все больше и

больше народу толпилось около круглой хижины. В повозках, пешком, на лошадях, из соседних деревень и самых дальних приезжали, приходили, кое-как добирались больные и калеки в надежде облегчить свои страдания. Приходили и прокаженные. Доктор принимал всех по очереди, молча, терпеливо выслушивал, никому не отдавая предпочтения, с бедных денег не брал, и те приносили ему кто курицу, кто яйца или еще какую-нибудь снедь, а некоторые приходили с материей, чтобы Доктор сшил себе новую одежду.

Он соорудил примитивный перегонный куб, дистиллировал в



нем вытяжку из апельсиновых листьев и целебный бальзам для прокаженных, который заменял чаульмугровое масло.

Почти все дамы из церковной общины добивались приема у того самого Доктора, которому они в былые времена хотели запретить ночевать на паперти.

Тогда же он вылечил от тропической лихорадки одного помешанного. Больного звали Касиано Амойте. Он жил с женой и малолетним сыном в старом вагоне, поврежденном во время взрыва... Когда после долгого отсутствия Касиано Амойте вернулся в Сапукай, немногие узнали в нем Касиано

Хару, одного из зачинщиков восстания в гончарнях Коста-Дульсе.

Жилищем ему служил тот самый вагон, о котором впоследствии говорили, что он каким-то чудом катится по полю на горящих колесах.

Очередной слух, конечно. Из числа тех, что постоянно ходят среди бедных людей, суеверных из-за вечных невзгод.

## 12

После выздоровления Мария Регалада стала приходить к деревянной хижине и приносить Доктору тушеные овощи с мясом,

которыми тот делился с собакой, пахучие парагвайские супы и маниоковые лепешки.

Доктор ни разу не поблагодарил ее за внимание, не заговорил с ней даже после смерти ее отца, которого ему не удалось спасти, несмотря на все старания. Желтая лихорадка за несколько дней свела Тани Касере в могилу, в одну из тех, что он обычно выкапывал заранее, «чтобы не свалилось на голову много работы сразу», как он говаривал. Теперь на него свалилось не много работы, а много земли. Кто-то злобно прошипел сквозь зубы, что Доктор нарочно дал могильщику умереть.

Мария Регалада заняла место

своего отца, принадлежавшее ей по праву наследования. Так впервые за многие поколения должность могильщика перешла к женщине. Мария по-прежнему продолжала ходить в лес к хижине, тем более что ее обитатель этому не противился.

— Она голову из-за него потеряла, — говорила ня Лоле своим постояльцам — пастухам и инспекторам, взимавшим налог с изготовителей алкогольных напитков. Эти люди иногда еще интересовались могильщицей, так как считали ее обладательницей «кладбищенских кувшинов».

— А он что?

— Ничего. Даже не

разговаривает с ней. Ему, видно, собака больше по душе. А Мария Регалада мучается...

— Да наверняка они уже столковались между собой.

— Нет. Я бы знала. От меня ничего не утаится.

— Может, они поженятся.

— Доктор женат.

— Э, да разве этих гринго разберешь! Кружить нашим девкам головы — это они умеют.

— Тогда что же о вас говорить, старые мошенники? Бесстыжие рожи, вы всю жизнь обманываете своих жен!

Посетители смеялись.  
Толстобрюхая хозяйка постоянного

двора умела и поддеть и подольститься. Многие ее «цыпочки» были любовницами постояльцев. А одной из них удалось так хорошо пристроиться, что она каждый год слала своей бывшей хозяйке подарки к празднику скорбящей девы, который совпадал с днем рождения няня Лоле.

— Доктор неплохой человек.

В ее низком голосе проскальзывали нотки благодарности: Доктор не только удалил ей жировик, но и вылечил от воспаления легких.

Мария Регалада избавилась от сплетен, а заодно и от ухаживаний проезжих мужчин, которые зарились

не столько на ее зеленоватые, как древние монеты, глаза, сколько на древние монеты в кувшинах без ручек, принадлежавших семье Касере.

Мария продолжала заботиться о могилах, обрабатывала огород, убирала двор, варила похлебку для двадцати прокаженных и вместе с ними ждала возвращения Доктора.

Она не осмеливалась войти в его ранчо. Может, чувствовала, что там, в этом покинутом жилище, полном знакомых ей обезглавленных статуй, Доктор был от нее дальше, чем мертвецы на кладбище, чем эти обреченные на гибель больные. С

мертвыми, с крестами над их могилами она могла, по крайней мере, поделиться своей болью, поговорить, не стыдясь, о Докторе.

Вагон, в котором жила семья Амойте, продолжал незаметно удаляться. Может быть, прокаженные помогали трем его обитателям катить это странное жилище на колесах.

К тому времени, когда начали расследовать это дело, приобщившийся святых тайн политический начальник уже испустил дух.

Кроме его жены и отца Бенитеса, отслужившего молебен по усопшему, на похоронах были только полицейские. Нещадно палило



солнце, и они, петляя между деревьями, по очереди несли черный гроб.

Несмотря на протесты священника и глухие стоны жены, могильщица отвела политическому начальнику самый запущенный участок на кладбище, почти пустырь. Но жена все же была довольна, что ей представилась возможность оплакать любимого супруга.

Это была единственная могила, густо заросшая бурьяном.

Как-то вечером Мария Регалада

поливала огород. Она заперла кладбищенскую калитку и, как всегда, крадучись прошла короткой лесной тропинкой к ранчо.

Вдруг она услышала глухой шум, словно наземь что-то рухнуло. От дурного предчувствия сжалось сердце, она выпрямилась и стала вслушиваться в тишину. Затем осторожно начала подкрадываться к ранчо, пока не разглядела сквозь заросли кустарника темную фигуру на полу. Но это был не Доктор.

Прячась за ветки, Мария подошла ближе. То, что она увидела, показалось ей сном.

Доктор стоял на коленях. Из его рук сплошным потоком сыпались

серебряные и золотые монеты, блестящие в лучах заходящего солнца. На полу у его ног росла сверкающая горка. Мария увидела искаженное лицо Доктора. Голубые глаза помутнели и выражали душевное смятение, совсем как в тот момент, когда Доктор не мог победить смерть, не мог спасти ее отца.

Он наклонял голову, и светлые волосы, закрывая ему лицо, почти касались кучи монет. Девушке показалось, что она слышит звук, похожий на стон. Прошло немало времени, прежде чем она увидела, как Доктор поднялся с колен и скрюченными пальцами начал

сгребать монеты, с отчаянной торопливостью запихивая их в старое тряпье.

Возле него валялась статуя святого Игнатия.

## 14

Никто не узнал об этом, потому что тростниковая дверь с тех пор не открывалась ни для кого, даже для Марии Регалады. Доктор выходил из хижины возбужденный, глаза его светились таким нездоровым блеском, словно ему действительно не хватало воздуха. Он отгородил заднюю часть ранчо и принимал

больных только в этом закутке.

Никто не мог понять, почему Доктор перестал брать от бедняков приношения или деньги от более зажиточных, почему он, лихорадочно жестикулируя, объяснял, что просит за лечение старые деревянные фигуры, самые древние, какие только его пациенты смогут раздобыть.

Народ в Сапукае решил, что Доктор вдруг стал благочестивым и поверил в загробный мир; и все сразу же нашли, что с длинными космами, палкой и пальмовой корзинкой в руках, в рваных альпаргатах и с собакой он вполне сойдет за святого.

— Он все больше и больше становится похож на святого Роха<sup>[26]</sup>,

— шептала нья Лоле при виде Доктора.

Ее тоже захлестнула волна преклонения перед чужестранцем.

Но облик новоявленного святого не вязался с его странным поведением.

Он снова начал ходить в лавку и мертвецки напиваться.

Теперь он принимал только тех, кто притаскивал на плече какую-нибудь старую скульптуру. Он жадно прикидывал ее на вес, взглядом маниака выискивал трещины, затем присоединял к своей коллекции, и на его бледном, осунувшемся лице появлялось разочарование. Потом он смотрел своим пациентам в глаза, но

в его взгляде уже не чувствовалось прежней доброй ясности, ее сменило выражение полной отчужденности и апатии.

Так прошло еще несколько месяцев, в течение которых он не переставая пил. Он совсем замкнулся в себе, все время молчал и окончательно стал походить на безумца.

Наконец он исчез.

## 15

Мария Регалада первая обнаружила обезглавленные фигурки. Она не осмеливалась

притронуться к ним, боясь, что из ран брызнет кровь, которую гнев божий окрасил в черный цвет.

Она и теперь не знает, почему Доктору вздумалось отрубить им головы топором, как не знала этого в канун исчезновения Доктора, когда впервые увидела их обезображенными. Доктор так же загадочно исчез, как и появился. В тот вечер он был в стельку пьян и все время бормотал что-то на своем непонятном языке. Он удержал Марию и, как дикарь, грубо овладел ею среди обезглавленных статуй.

Единственный раз Мария побывала у Доктора в ранчо — и это было в последний вечер его



пребывания в деревне.

Она не знает, почему все это случилось. И тогда не знала и, видно, никогда не узнает.

Из всей коллекции Доктора уцелела только фигура святого Игнатия. Когда она упала со скамейки, у нее вылетело дно, в образовавшемся отверстии зияла черная пустота. Судя по весу статуи, Марии Регаладе всегда казалось, что она была вырезана из целого куска дерева. Впрочем, теперь ей это было безразлично. Ее все время мучил один вопрос: почему Доктор пощадил святого Игнатия, порушив остальные скульптуры? Все это было загадкой. Впрочем, она и не хотела ее

разгадывать. Она хотела жить в состоянии дурмана, завладевшего ее умом и сердцем, но не притуплявшего надежды на возвращение Доктора.

## 16

На следующий день после бегства Доктора Мария Регалада снова пришла в его ранчо и в одной из щелей в полу нашла перепачканную землей золотую монету. Ей показалось, что человек, изображенный в профиль на монете, похож на Доктора, только с бородой. Мария оттирала монету до тех пор,

пока та не засверкала на солнце, а потом спрятала ее у себя на груди.

Первыми, кто стал сокрушаться по поводу исчезновения Доктора, были прокаженные.

Вскоре вся деревня перебивала у него в хижине, и все воочию увидели учиненный им разгром.

И вот тогда Доктора объявили еретиком, который поснимал головы святым в припадке гнева или безумия, сродни тому, которое охватило его в поезде, когда он решил выбросить из окна ребенка.

Никто, однако, не смел худо отзываться о Докторе.

— Я говорил, что он не выдержит... — замечал судья, когда

собиралась поредевшая к тому времени компания его приятелей.

Во всей этой истории скрывалось нечто непонятное. Народ в Сапукае по-прежнему считал Доктора неплохим человеком. Его облик еще не изгладился из памяти, люди помнили то хорошее, что он им сделал, но и не могли забыть о его безумстве в последние дни. Это безумство, наверное, и переселилось в собаку и в Марию Регаладу, но в девушку — на особый лад. Мария ни с кем не разговаривает, посвящает в свои дела одних мертвецов да собаку, когда в утренней дымке та возвращается от дона Сосы с корзинкой в зубах.

Вокруг покинутой хижины Доктора толпятся прокаженные. Они идут к ручью напиться холодной воды. Кроме них, никто не нарушает безжизненного покоя, застывшего над черной землей Коста-Дульсе.

И только разбитый вагон продолжает двигаться все дальше и дальше. Совершенно непонятно, как это он без рельсов катится по растрескавшейся, умирающей от жажды равнине. Может, это и есть тот самый вагон, из которого несколько лет назад силой высадили Доктора на красный перрон Сапукая и бросили среди развалин?

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## Станции

### *1*

Целое утро я, обливаясь потом, старался втиснуть ноги в башмаки. В те долгие дни, когда я был свободен как ветер, камни набивали мне мозоли на пятках, колючки в лесу расцарапывали колени в кровь, корневища, плавающие по реке, сдирали кожу, — все снесли мои бедные ноги. Теперь вольные дни подходили к концу (всему на свете приходит конец), и я не знал,

радоваться этому или печалиться.

Я надел носки. Снова их снял. Все равно ноги были больше новых башмаков. Собственно, «новых» только для меня, потому что купили их на распродаже подержанных вещей, но они были первыми башмаками в моей жизни и противились мне так, словно их сшили из кожи норовистого буланого скакуна. Я выбивался из сил, а они по-прежнему капризничали и не поддавались. Нужно было только послушать, как они жалобно скрипели, понюхать, как от них разило танином, посмотреть, как они отвергали мои ноги, которые я трижды мыл на кухне золистой

пенной и водой, настоянной на ветках акации. Я тер ноги чуть не до колен. Но ни черный гуаякан, ни жавель не свели покрывавшую их кору. Пятки я даже скреб точильным камнем. Оставалось только обрубить пальцы. Вообще-то, ноги уже стали белее и даже поменьше, но все еще не помещались в башмаках. Тогда пришла Руфина и вымыла их водой с крахмалом, после чего они наконец влезли в ботинки, и те перестали жалобно поскрипывать.

Днем все отправились на станцию. Я шел впереди, высоко поднимая ноги, чтобы больше блестели башмаки, а я меньше думал о горькой разлуке с теми, кто молча



шествовал позади меня — с папой, мамой, сестрами, со старым Донато, который нес на плече кожаный чемоданчик, и Руфой, державшей в руке корзинку с продуктами. Она сама зажарила мне курицу.

Работы по восстановлению завода прекратили. Не удавалось раздобыть оборудование, так как мировая война разорила и заморские края, хотя некоторые и говорили, что она кончилась. Стояла гнетущая тишина, и потому окружающие предметы казались больше, а переживания — глубже. Я шел по насыпи и думал, что приятно щеголять в новых ботинках, несмотря ни на что. Беда заключалась лишь в

том, что впереди меня ждала столичная школа, куда каждый день нужно будет ходить обутым и причесанным.

— Хочешь поступить в военное училище, — говорил мне папа, — нужно окончить шесть классов. Даже чтобы стать военным, нужно учиться.

У нас в Итапе было только три начальных класса. Собственно, это была та самая деревенская школа, которую выстроил еще Гаспар Мора: небольшой домик с двускатной крышей и резными подпорками.

Мое непоколебимое желание любой ценой стать кадетом очень огорчало маму.

— Оставь его, — ворчливо

замечал папа, словно хотел сказать: «Пусть испытает солдатчину на своей шкуре». — Страна — это большая казарма, военным в ней живется лучше, чем остальным.

— Да, но ведь каждые два года революция! — сетовала мама и смотрела на меня так, будто я уже стоял под ружьем.

— В каждой революции погибает больше штатских, чем военных. В конце концов не понравится — бросит. Учился же я в духовной семинарии. Сдуру, конечно, поступил туда, но разве тонзура помешала мне быть хорошим земледельцем? Надо смотреть на вещи здраво. Там видно будет. Пусть

поступает как хочет.

Я украдкой прислушивался к их спорам. Но кадетский мундир — голубой с золотыми галунами, форменная фуражка и маленькая шпага затмевали собой все на свете. Чтобы получить их, надо было преодолеть трудный путь: поступить в школу, уехать в незнакомый город по железной дороге, по тем самым путям, которые на моих глазах, шпала за шпалой, прокладывались вдоль деревни. Как раз на открытие этой дороги и прибыли кадеты из военного училища. Они эскортировали президента и его свиту. Поезд был украшен знаменами, венками из пальмовых

ветвей. Вытянувшись по команде «смирно» и выпятив грудь колесом, стояли на платформах щеголеватые молодые люди. Им аплодировали больше, чем самому президенту. Та же сцена повторилась по возвращении президента из Вилья-Энкарнасьон.

С тех пор я не мог забыть эти красивые мужественные лица.

Обо всем этом я размышлял, идя по насыпи. А еще я думал о моей соседке по парте, Лагриме Гонсалес, которая была постарше меня. Она колотила в рельс, оповещая о начале и конце урока. А потом на выпускном школьном вечере мы стояли с ней среди деревьев, и пока

остальные пели гимн, она меня поцеловала. Я вспомнил вкус ее теплых губ, снова ощутил прикосновение маленьких упругих грудей, и по спине у меня пробежали мурашки; я стал размышлять о предстоящей утрате, горькой и сладостной, как всякая невозвратимая утрата чего-то дорогого.

## 2

На перроне нас уже ждала Дамиана Дáвалос с младенцем на руках. Я увидел ее в толпе, собравшейся к приходу поезда.

Торговки лепешками с полными

корзинами прохаживались по перрону. Под тентами сидели на корточках торговцы алохой, курили сигары и предлагали на ломаном испанском языке напитков, стоявший перед ними в кувшинах и жестянках, облепленных мухами.

Сумасшедшая Мария Роса, торговка лепешками с Каровени, тоже бродила здесь, глядя на всех безумными глазами. На голове она держала пустую корзину, тень от которой падала на дочку, примостившуюся у нее на плече.

Близнецы Гойбуру украдкой поглядывали на мои новые башмаки. Они шушукались между собой, пересмеивались и отпускали

ядовитые шуточки, которые подхватывали остальные. Я слышал, как эти завзятые насмешники хохотали и свистели мне вслед, но притворялся, что ничего не замечаю, и всем своим щеголеватым видом выражал презрительное равнодушие. Хотя в глубине души я им завидовал. С каким удовольствием я сбросил бы куртку и новые башмаки, нелепо сверкающие на перроне, и вернулся бы к ним. Играл бы в кегли или в мяч, крутил бы волчок или дрался на паперти под зеленым навесом из плюща и других вьющихся растений. А так — кто я? Дезертир. Мне было больно и стыдно сознавать это. Не помогали ни чудесные башмаки, ни



новая одежда, ни предстоящая поездка, ни далекая школа, ни будущая слава кадета, которая, вообще-то говоря, была еще за горами.

Тут как раз появилась Лагрима Гонсалес под ручку с сестрой близнецов Эсперанситой Гойбуру. Я горделиво приосанился и, разом забыв о грустных размышлениях, отвернулся от девочек, хотя никогда еще они не казались мне такими хорошенькими. Лагрима была просто красоткой: длиннющие ресницы, смуглое, прелестное лицо. Когда она улыбалась, ее белые зубы сверкали, а на щеках появлялись ямочки. Я сделал несколько шагов, постукивая

каблуками так, будто над ними уже блестели шпоры, — словом, прошелся по плитам перрона, точь-в-точь как политический начальник Оруэ.

Из ущелья Эрнандариас вынырнул поезд, медленно поднялся вверх по холму, становясь все больше и больше, и скоро его тень накрыла перрон, станцию, людей. Стоял оглушительный грохот. Паровоз упирался в небо султаном дыма, извергнутого из его железного чрева.

Мы бросились к вагонам второго класса.

— Присматривай за ним хорошенько, Дамиана, — сказала мама.

— Да, сеньора.

Дамиана вошла в вагон и устроилась на одной из скамеек. Бедная Дамиана Давалос! Волнения перед дорогой, болезнь ребенка, усталость и бессонные ночи совсем доконали ее. В суতোлке отец передал ей мой чемоданчик, корзинку с жареной курицей, узелок с бельем и продуктами, который она везла с собой. У нее на коленях лежал укутанный младенец и спокойно поглядывал на окружающую суету. Отец вырвал меня из объятий родственников и подтолкнул к вагону.

— Прощайте, Эдельмира, Кока! — крикнул я своим сестрам, пытаясь проглотить комок,

подкативший к горлу, но смотрел я туда, где стояли Лагрима и Эсперансита. Дерзкие девчонки засмеялись.

Вдруг паровозный свисток перекрыл общий шум, в шипении пара утонули все крики и разговоры. Лица и силуэты поплыли назад, сливаясь в темное пятно, которое ранило мою душу. Пых... Пых... Пых... Поезд понемногу набирал скорость.

Ошеломленный, я не отрывал взгляда от окна. Станция убегала вдаль. Все мчалось вдаль, стремительно и беспорядочно. Темное пятно на платформе линяло и уменьшалось. Скоро оно стало не

больше выцветшего на солнце серого муравейника.

Мимо окон неслись телеграфные столбы, а чуть поодаль, менее прытко, бежали дома, ранчо, деревья, пасущийся на окраине деревни скот, птичий двор, кладбище. Все они безудержно мчались обратно, к станции, но никак не могли настигнуть друг друга. Потом они круто свернули в сторону, словно земля вертелась вокруг поезда. Позади лесов Тебикуари деревня зарылась в поля.

Я послунил пальцы и, нагнувшись, обтер башмаки. Когда я распрямился, то увидел совсем рядом, на повороте, небольшой холм.

На вершине холма из-под навеса из болотницы на нас глядел прокаженный Христос, распятый на черном кресте. Горячий ветер шевелил на его голове волосы Марии Росы; казалось, он ожил среди летающих над родником бабочек, которые трепетали на солнце желтыми крылышками.

Прогремел глухой раскатистый гром. Колеса простучали по мосту над речкой. Дамиана, не спуская глаз с Христа, перекрестилась. Остальные женщины тоже осенили себя крестным знамением. Раскат грома побежал к последнему вагону и там замер. Пассажиры вернулись к прерванной беседе.

Последнее, что я увидел, был крест над могилой Макарио Франсии, вырытой на склоне холма среди колючих ветвей, изогнутых оленьими рогами, — вот и все, что осталось от вольноотпущенного раба, который освободил деревянного Христа из лесу, а теперь покоился в детском гробике не на кладбище, а у подножья новоявленной Голгофы — Итапе.

Сквозь стук колес мне снова слышатся слова Макарио: «Человек, дети мои, рождается дважды: первый раз, когда появляется на свет, второй — когда умирает».

Холм исчез. «Мчится холм в лихом галопе, унося с собой

Христа», — промелькнуло у меня в голове. Его уже не разглядеть за зеленой громадой, которая вращается, как гигантский волчок, приводимый в движение длинными нитками железнодорожных путей.

И тут только я обратил внимание на человека, который сидел на противоположной скамье и дремал. Сначала мне никак не удавалось разглядеть его. Мешали потоки пыльных лучей, хлеставших в окна, но по другую сторону солнечного снопа силуэт вырисовывался довольно четко. Это был иностранец. Очень худой. Его нельзя было принять ни за поляка, ни за немца, из тех, что приехали



строить завод и снова уехали на войну. Но что он иностранец — сразу бросалось в глаза. Длинные ноги мешали ему удобно расположиться, он сидел как-то съежившись, на твердой деревянной лавке. Его колени почти касались нашей скамьи, и Дамиана не могла приблизиться к окну. Из-под фетровой шляпы виднелись короткие пряди очень светлых волос, цвета засохших листьев на майсовых початках. Брюки и сапоги были сильно поношены. На острых коленях лежал вывернутый наизнанку пиджак. Из мешка выглядывал потрепанный корешок синей книжечки с непонятными

золотыми буквами. Рубашка прилипла к телу, обрисовывая торчащие ребра. Когда, стараясь усесться поудобнее, он начинал ерзать, в щелках между припухшими от усталости веками сверкали голубые глаза. Солнечный свет мешал ему. Он опустил законопаченные пылью жалюзи и снова забился в свой угол. На него легла теневая решетка, и тут я заметил, что он тоже смотрит на Христа. Мне даже помнится, вроде бы он перекрестился. А может, я ошибаюсь — я плохо его видел. Может, он и не шелохнулся. Сквозь решетку, сплетенную из пыльных лучей света и полосок тени,

лихорадочно блестели голубые глаза.

Дамиана с опаской поглядывала на него.

Рядом с нами на других скамейках пассажиры тоже говорили о Христе. Беседу вели трое поджарых мужчин и толстяк, видно, помещик. Последний рассказывал историю Христа, копаясь в ней с такой дотошностью, словно разыскивал конец порвавшейся нити в натянутой на ткацкий станок основе. Он либо сам плохо знал эту историю, либо нарочно ее искажал, чтобы сбить с толку своих слушателей.

— Жители Итапе гордятся им, говорят, что он творит чудеса.

— Ясно, — сказал один из

собеседников. — Где вера, там и чудеса.

— Если бы это было так, Нуньес, — возразил ему другой, и в его голосе почувствовалось раздражение, — тогда Итапе, Каакупё, Тобати, Каасанá — все деревни со святыми чудотворцами были бы самыми процветающими в республике.

— Знаем, знаем, — сказал первый. — Вера мешает прогрессу. Это нам известно.

— Вы видели Итапе? — настаивал другой. — Там ничего не изменилось, все как сто лет назад, до Тройственного союза, будто революций и не было.

— Там сахарный завод  
выстроили, — сказал помещик.

— Уж никак не стараниями  
Христа.

— Тут особое дело, — снова  
сказал помещик, проводя платком по  
широкому потному лицу. На среднем  
пальце у него сверкал массивный  
перстень.

— Особое? В чем его  
особенность? — снова прозвучал  
голос, в котором слышалось  
раздражение.

— Христос из Итапе поначалу  
был еретиком.

Собеседники засмеялись,  
словно помещик удачно сострил, и  
даже мужчина, плохо скрывавший

свое раздражение, тоже засмеялся. А живот помещика, украшенный серебряной цепочкой, затрясся от смеха, который, не добравшись до лица, так в животе и остался. И почему только этот помещик ехал вторым классом, вместе с нами?

— А правда, что его сделал прокаженный? — спросил один из поджарых. — Какой-то Гаспар Мора. Музыкант, кажется, или мастер музыкальных инструментов.

— Очередная басня, придуманная жителями Итапе, — съехидничал толстяк.

Меня так и подмывало расцарапать обеими руками его поганую рожу, но мой гнев

смягчался, стоило только мне взглянуть на голубые глаза, поблескивавшие в тени. Кроме того, мой гнев умерялся восхищением, которое вызывали во мне перстень помещика, роскошный пояс и выглядывавший из кобуры пистолет с перламутровой рукояткой, пожелтевшей по краям от табачного дыма.

Я подумал: «Жаль, что нет старика Макарио, он бы ему не дал врать». И от этой мысли мне стало грустно.

— Вы откуда едете? — спросил помещик.

— Из ссылки.

— А, последняя революция?

— Вроде бы.

— Хорошо еще, что

цивилисты<sup>[27]</sup> разрешили вам так скоро вернуться, — проворчал толстяк.

— Мы не имели к революции прямого касательства, — возразил пассажир, которого звали Осуна. — Я хочу сказать, не участвовали в восстании.

— Ну, ясное дело, вас рикошетом ударило!

— Нуньес и я собирались стать адвокатами. Куэльяр работал в газете «Патриа».

— Рыл траншеи в бумагах, — сказал Куэльяр без улыбки.

— Мы познакомились на барже,



когда нас отправляли в ссылку.

— А теперь все втроем возвращаемся, — сказал Нуньес.

— А я — цивилист, мое поместье в Каасапа. Я и подавно не участвовал в восстании. У меня у самого съели коров. Так что...

— Революции пожирают все, что попадется им на пути, — вмешался Нуньес. Его голос скрипел, словно царапался о хрящик крючковатого носа.

—..я еду в Асунсьон требовать у правительства возмещения убытков. Теперь у власти как раз моя партия.

— Вам повезло. Хоть у вас и съели коров, но вы можете просить компенсацию. А каково тем, кто

погиб?

— Тем уже ничего не нужно, — сказал помещик.

— Конечно, — отозвался Осуна. — Их самих ест земля.

— Ладно, будет, — сказал помещик примирительно. — Нечего себе портить нервы. «От судьбы не уйдешь», — квакнула лягушка из клюва аиста. — Живот толстяка снова затрясся от прятавшегося в нем смеха. — Давайте и мы поедим. Скоро Борха. Лепешки там хорошие.

Поезд остановился. Все было

как в Итапе. Пассажиры входили, выходили, шумели.

По ту сторону путей, на перроне, торговли громко расхваливали свой товар. Лица землистого цвета, на головах корзины с провизией, во рту дымящиеся окурки сигар, голоса пронзительные, как у крикливых птиц.

Все то же самое.

Толстяк высунулся в окно и загородил его своей тушей. Он отвел руку назад, запустил ее в маленькое отделение кобуры, украшенной серебряными кольцами, вытащил пригоршню мелких монет и накупил лепешек и бананов. Солнечный

зайчик от перстня прыгнул на смуглое лицо торговки. Помещик попросил еще кувшин алохи и осушил его залпом вместе со всем, что там плавало: с веточками, шелухой и дохлыми мошками.

Я умирал от жажды.

Стук колес спугнул окружающие предметы, и они опять стремительно понеслись назад. Снова завертелся гигантский зеленый волчок. Закружились дома, поля, стада, дальние лесные урочища.

— Закусим, сеньоры!

Помещик разделил между своими попутчиками лепешки и плотные гроздья золотых бананов. Все четверо жадно ели, в лад работая

челюстями.

Дамиана сидела усталая, растерянная, ее клонило ко сну. Она начисто забыла о нашей корзинке с едой, а у меня текли слюнки. Но я не выдавал себя ни взглядом, ни жестом. Мне хотелось показать ей, что я настоящий мужчина, что это я ее сопровождаю, а не она опекает меня. Она, наверно, думала о своем муже, который сидел в асунсьонской тюрьме. Бывало, стирая на реке, она мне о нем рассказывала. Тогда милостивое лицо Дамианы становилось грустным, озабоченным. Ее молодая складная фигура застывала над водой, и я видел ее тень на песчаном дне, где егозили

крохотные рыбешки, приплывавшие поклевать мыльную пену. Теперь же серое от пыли лицо Дамианы казалось постаревшим.

Иностранец по-прежнему дремал. Иногда он стряхивал с ресниц сон и глядел так, будто рассматривал нас из прекрасного далека своей родины. Вот только я не мог угадать, где она находится.

Младенец заплакал и задергался, как лягушонок. Дамиана накинула плащ и принялась кормить ребенка. Вдруг порыв ветра надул плащ и приоткрыл розовую, в голубых прожилках грудь, по которой текло молоко. Рот у меня наполнился слюной. Я даже разозлился на

больного младенца, транжирившего такое богатство.

— Что с твоим сыном?

Дамиана заморгала от неожиданности. Рядом с ней сидела старуха и обмахивалась ивовым веером с вышивкой, изображавшей сердце Иисуса.

— Что с ним?

— Не знаю, — ответила неохотно Дамиана. — Везу его к доктору. В Асунсьон.

— Господи, в этакую даль! — закудаhtала старуха. — Может, пустяк какой. Будто уж травами и вылечить нельзя.

— Все перепробовала. Но припадki все повторяются.

— А что за припадки?

— Как они начинаются, так ему все косточки распирает, и пена изо рта идет.

— Ясно. *Пилепсией* зовется. Значит, смерть подстерегает. Я знаю, как это лечить. Стебли руты, анис и укроп опустить в кипящую воду. Потом отвар остудить.

— Пробовала.

Старуха, прищурясь, глядела на младенца. Ее курносое лицо сморщилось. Она зашлепала губами, стараясь поправить во рту сигару, и над верхней губой шевельнулась мясистая родинка с одним-единственным длинным седым волоском. Сердце Иисуса, натянутое



на ивовые планочки веера, замерло.

— Нужно дать ему натошак  
молоко ослицы.

Старуха, видимо, решила не  
отступать.

— Мы давали ему козье молоко.

— А нужно от ослицы. Это  
разные вещи. У животных тоже есть  
свои меты, как и у людей. Я б его  
вылечила. Жалко малыша. Разве есть  
кто лучше невинных младенцев! Дай  
бог, чтоб выздоровел. Да уж больно  
обирают доктора в Асунсьоне.  
Только и умеют, что денежки  
лопатой грести. И для чего тебе ехать  
с ним в такую даль? Если ты только  
за этим, так в Вильярике тоже есть  
хорошие врачи.

— Не только за этим. Хочу еще повидать мужа.

— Он там работает?

— В тюрьме сидит.

— Ау, juepete! [\[28\]](#) Не угодил кому?

— Нет, его посадили цивилисты в последнюю революцию.

— Бедняга! Эх-эх-эх... политика! — буркнула старуха, ожесточенно обмахиваясь сердцем Иисуса. — И когда только научатся наши мужья не совать свой нос куда не следует!

— Сирило посадили за зря. Он еще своего сына не видел. Оттого и везу, чтоб поглядел на него.

— Тогда конечно...

Иностранец не то действительно слушал негромкий диалог, не то делал вид, что слушает. А старуха упорно поддерживала разговор, не выпуская из рук разукрашенный веер.

#### 4

В Борхе к нам в вагон зашел старик с гитарой. Маленький оборванец вел его на цепочке.

Сломленный годами, худой как скелет, старик уселся на краешек скамьи и стал понуро перебирать струны. За окном среди замшелых, облепленных испанской мушкой

деревьев мелькали развалины  
монастырей. Я сразу же подумал о  
Гаспаре Море и Макарио Франсии.

Назойливый звон разбитой  
гитары поднимался над нами,  
лохматая побелевшая голова  
музыканта раскачивалась над  
инструментом в такт какому-то  
ритму, который чувствовал лишь  
старик. Пока он играл, мальчишка  
смачивал языком никелевые монетки  
и тер их о свои лохмотья.

— Мыкаются по свету,  
бедняги! — сказал Куэльяр.

— И не говорите, просто нельзя  
спокойно ездить, — пожаловался  
помещик из Каасапа. — Поезда так и  
кишат бродягами да ворами, —

сетовал он, пуская перстнем зайчики пассажирам в глаза.

— Воры есть повсюду, — ехидно произнес Осуна.

— Да, — поддержал своего товарища Нуньес. — Без них, видно, не обойтись. Особенно без крупных воров и преступников. Тех, что у кормила власти.

Толстяк недовольно поморщился, хотел было что-то ответить, но промолчал.

— Я знаю, откуда этот старик, — сказал Куэльяр, переводя разговор на другую тему.

— Вы с ним знакомы?

—Het.

— Откуда же вы знаете? —

удивился помещик.

— Слышите, что он играет? Отрывок из гавота Со-сы Эскалада, а это говорит само за себя.

— Я и польку-то с трудом узнаю, — сказал цивилист. — Самое большое, что мне доступно, — это марш моей партии.

Приглушенно звенела гитара. Старик сидел в глубине вагона, и мы видели склоненную на грудь голову и длинную цепочку, привязанную проволокой к гитаре.

— Все так кончают. Великие гитаристы Парагвая, — сказал Куэльяр, — либо умерли, либо пошли по миру. Некоторые спились, потому что не в силах были бороться с

нищетою и одиночеством. Гаспар Мора, тот, что оставил после себя деревянного Христа, заболел проказой и поселился в лесу. Агустин Барриос дал последний концерт на площади и скрылся. Никто не знает, где он. То же самое с Ампелио Вильягрой. Говорят, что он играет по кабачкам в Буэнос-Айресе и что ему отрезали язык. Марсиал Талавера застрелился. Надел воскресный костюм, улегся на кровать, вложил дуло револьвера в рот, посмотрел на небо сквозь виноградные лозы и замолк навсегда. Я написал статью о том, в каких невыносимых условиях живут наши артисты. Вот меня и посадили.

— Не только артисты, — сказал Нуньес. — Наша страна — это земля без людей и люди без земли. Не помню, чьи это слова.

— Да, но положение музыкантов наиболее плачевное, — добавил Куэльяр. — Последним исчез Габриэль Бермехо. Мне говорили, что он уже несколько лет бродит слепой по деревням, спивается.

— И вы полагаете, что этот?.. — цивилист показал глазами на старика.

— Не знаю... Кто его разберет.

Старик перестал играть. Мальчик взял гитару чуть ли не с него величиной и дернул за цепочку,



которой она была привязана к поясу старика. Тот поднялся и, слегка пошатываясь, пошел вдоль прохода за поводырем, который одной рукой поддерживал гитару, а другой протягивал пассажирам соломенное сомбреро. Когда они проходили мимо нас, Куэльяр тронул старика за плечо.

— Вы случайно не Габриэль Бермехо?

Гитарист посмотрел на него невидящими глазами.

Беззубый рот приоткрылся, губы вытянулись трубочкой, словно старик насвистывал про себя какую-то мелодию. Но он ничем не обнаружил, что понял обращенные к нему слова. Цепочка тихо

позвякивала о край скамьи. Мальчик тоже остановился, наострил уши.

— Дед глухой и слепой. Ничего не видит, ничего не слышит.

Тот, что был сослан в свое время за «рытье траншей в бумагах», как он выражался, вынул кредитный билет и протянул его мальчишке, но оборвыш недоверчиво отстранился. Бывший ссыльный не сообразил, что его щедрость может быть принята за издевку.

— Нет, бумажки ты оставь себе, а мне дай никелевые, хозяин.

Слова мальчика всех развеселили. Апельсиновый сок, смешанный с грязью, засох у него на руках, словно темные вздувшиеся

вены. Руки казались старческими, а глаза ребячьи, зоркие, как у орленка.

Все бросили ему в сомбреро мелкие монетки. Даже помещик. Правда, не очень охотно, да уж неловко было от других отстать. Я спрятал ноги в новых башмаках под скамейку.

Старик с поводырем прошли в другой вагон. К грохоту колес примешивалось позвякивание цепочки.

## 5

— Когда он заболел?

— Почти сразу как родился.

— Тогда, может, болезнь к нему от отца перешла — к мужчинам скорее пристает всякая хворь.

Дамиана хотела возразить, но не знала как. Я видел, что она очень сердита на свою спутницу. У нее даже руки дрожали. Старуха во все совала свой нос, приставала с расспросами, копалась в чужой жизни, как курица в навозной куче, и тяжело дышала прямо в лицо Дамиане. Та чуть не падала, так хотела спать. Только раздражение да этот противный жужжащий, как овод в жестянке, голос не давали ей вздремнуть.

Чтобы как-нибудь заставить старуху замолчать, Дамиана достала

из-под скамьи корзинку с провизией и отдала ей. Вместе с жареной курицей. Я это видел, но не хотел перечить.

— Я выхожу в Вильярике, — сказала старуха, пряча угощение.

Дамиана облегченно вздохнула. Наплевать ей было на еду. А мне тем более. Только бы старуха оставила нас в покое. Меня занимал разговор остальных пассажиров, который они вели, посмеиваясь и перебрасываясь шуточками, но из-за старухиной трескотни я не мог разобрать ни слова.

— Еду к невестке. Она на сносях. Ей без моей помощи не разродиться. Я ей уже помогла

родить трех сыновей. Теперь четвертый будет. У меня на это легкая рука. А зовут меня Иносенсия Ромеро. До свидания, милая!

## 6

Станция за станцией, станция за станцией, похожие друг на друга как две капли воды. Одинаковые люди, одинаковые перроны. Лица цвета пересохшей земли. Бегут назад дома, поля. Везде то же самое, словно время остановилось над огромным, медленно вращающимся волчком.

На одной из станций в вагон вошла парочка. Совсем молоденькие.

Наверное, недавно поженились. Они забрались поглубже в вагон, уселись, обнялись и стали поминутно целоваться.

Тягостная дрема, зной, пыль придавили нас. Временами я засыпал. Младенец снова принялся кричать. Дамиана прикрылась плащом, но сосать ребенок не хотел. Я разозлился на него, и опять у меня потекли слюнки. Измученный голодом и жаждой, я заснул. Из груди Дамианы, как из детской соски, в рот капал сладостный сок. Я жадно кусал грудь. Проснулся я в смущении, хотя понимал, что Дамиана не могла догадаться о моем сне.

Я взглянул на иностранца. Он

что-то сказал на непонятном мне языке. Затем стал медленно раскачиваться, сложив ладони лодочкой, словно просил что-то.

Дамиана плотнее прижалась к твердой спинке скамьи. Тогда иностранец наклонился и погладил ребенка по голове. Малыш сразу перестал плакать, распрямился на материнских коленях и спокойно уставился на иностранца. Тот тоже смотрел на малыша. Какое-то подобие улыбки блуждало на его лице и тонких губах, голубые глаза блестели, а ноздри жадно втягивали загустевший от пыли и табачного дыма воздух.

Я украдкой посмотрел на



Дамиану. Она была испуганна, растерянна и, как я догадывался, уже жалела, что рядом с ней нет старухи. Молчание иностранца ее подавляло больше, чем болтовня повивальной бабки.

Я прижался к ней — пусть почувствует, что я не дам ее в обиду.

Вдруг я представил себе Дамиану на реке, вспомнил, как она стирала белье и ее тень ложилась на песчаное дно, где капельками крови поблескивали плавники и жабры мелких рыбешек, клевавших мыльную пену. Улегшись рядом с младенцем, я разглядывал его мать и чувствовал легкое смущение, словно делал что-то заведомо

предосудительное. Внезапно  
Дамиана превратилась в Лагриму  
Гонсалес. Я отпрянул в сторону.  
Лагрима перестала стирать,  
сбросила платье и, нагая, прыгнула в  
воду.

## 7

Поезд подходил к Сапукаю.  
Вечерело.

Издали мы увидели  
разрушенные бомбами дома,  
станцию, развороченные пути и  
огромную, величиной с площадь,  
яму.

— Следы революции, —

проворчал помещик и указал в окно.

Я окончательно проснулся.

Помещик рассказывал о мятежном эшелоне, который собирался, неожиданно атаковав столицу, захватить ее, о том, как власти выслали из Парагуари навстречу мятежникам паровоз с бомбами и эшелон взлетел на воздух.

История эта была всем знакома, но помещику, видимо, доставляло удовольствие смаковать ее.

— Теперь мы застрянем в Сапукае. До рассвета отсюда не выбраться. Не понимаю, почему не делают пересадку сразу же по прибытии поезда? И когда они закончат эти восстановительные

работы! Дело-то пустяковое, черт их задери! Больше пяти лет тянется канитель! С тех самых пор, как появилась воронка. Просто терпение лопается!

— Вы бы так и заявили правительству, — посоветовал ему Осуна. — Там же сидят люди из вашей партии.

Помещик пропустил шпильку мимо ушей.

— По сей день еще, — сказал он, — выкапывают человеческие кости из этой ямы.

Но тут я услышал вопли Дамианы. Высунувшись по пояс в окно, она кричала как безумная. Ветер трепал ее волосы.

— Он украл у меня сына...  
Украл сына!

Шум колес и ветра заглушал ее крики. Пассажиры засуетились. Никто не понимал, что случилось.

В разгар суматохи в вагоне снова появился усталый иностранец с ребенком на руках. Он шел спокойно, словно его несло течением. На волнах всеобщего гнева плыли два островка кротости — голубые глаза иностранца.

Дамиана ринулась к нему, сверкая расширенными от ужаса глазами, и вырвала у него из рук ребенка. Мужчины набросились на иностранца. Тот хотел было что-то объяснить, но ему и рта раскрыть не

дали. Толпа не желала, да и не могла его выслушать. Помещик из Каасапа выбежал в проход, выхватил пистолет и одним ударом рукоятки сбил иностранца с ног.

Когда поезд остановился перед разрушенной станцией, незнакомца вытолкали из вагона. Он ударился коленями о перрон. Из носа и изо рта текла кровь, рубашка была разорвана, лицо в синяках. Кто-то выбросил ему пиджак и синюю книжечку. Он вслепую нащупал их, подобрал, поднялся и сделал несколько шагов, пошатываясь, как пьяный. Его снова ударили. Он упал ничком и застыл на окровавленной земле. Вскоре пришли полицейские и хлыстом

связали ему руки.

Через головы прилипших к окнам пассажиров и поверх собравшейся на перроне толпы мы смотрели, как его уводили полицейские. Он понуро шел между ними — высокий, со связанными за спиной руками.

Дамиана даже не глядела в его сторону. Она все еще не могла прийти в себя и поглаживала спавшего на руках ребенка. Пассажиры выходили из вагона. Какие-то женщины, сгрудившись вокруг Дамианы, ахали, охали, тараторили все разом.

Меня радовало, что мы заночуем в Сапукае. Я своими глазами увижу

деревню, так сильно пострадавшую во время этих ужасных событий, о которых столько говорили мои попутчики.

Пассажиры слонялись, с любопытством глаза на развалины. Я тоже вышел на перрон и затесался между гуляющими. Мы разглядывали искалеченные вагоны. Один из них отшвырнуло от станции чуть ли не на несколько лиг. Он словно перелетел это расстояние по воздуху и опустился на запасной путь почти невредимым. Жители деревни бродили как неживые. По крайней мере, мне так показалось. Когда я вернулся, помещик уговаривал Дамиану пойти с ним ночевать на



постоялый двор. Я остановился поодаль, слушая, как он ее уламывает.

— Такая красивая молодая женщина. Без попутчика вам не обойтись.

— Спасибо, у меня есть попутчик.

— Кто же? Уж не мальчишка ли, что тут все вертелся?

Его живот затрясся от смеха, которому так ни разу и не удалось вырваться из этого жирного мешка и появиться на потном лице. Толстяк достал из кобуры деньги, надеясь придать увещеваниям большую убедительность, но Дамиана повернулась к нему спиной. Тут она увидела меня и, подойдя, сказала:

— Нужно вынести вещи.

8

Пассажиры второго класса устроились на ночевку среди развалин.

Было жарко. Мы разложили наш скудный багаж и улеглись на плаще, который Дамиана достала из узелка. Неподалеку от нас за обломком стены устроились молодожены.

Ночь спустилась на деревню сразу.

Мне все казалось, что я слышу запах пороха, вьевшегося в траву, в кирпичи, в землю. Рядом,

спрятавшись за полуразрушенной стеной, ворковала и целовалась парочка. Время от времени до меня доносились тихие стоны молодой женщины, как будто ее муж нечаянно причинял ей боль; порой долетал их смех, словом, они мне мешали заснуть.

А тут еще с другого боку слышался дрожащий голос старика, очевидно местного жителя, который бесконечно долго рассказывал кому-то из пассажиров подробности катастрофы.

Не успел я сомкнуть глаза, как мне приснился взрыв. Я слышал грохот, видел вспышки. По залитой кровью канаве бежали

обезглавленные люди в пылающей одежде. Я в страхе проснулся и увидел, что лежу, тесно прижавшись к Дамиане. Меня снова начал мучить голод. Он превратился в настоящую пытку, когда я увидел, что Дамиана опять тщетно пытается накормить ребенка грудью.

Я постарался заснуть и впал в какое-то странное забытие. В голове все перепуталось и смешалось. Дамиана лежала не шевелясь, очевидно, спала. Когда я опомнился, то понял, что ловлю ртом ее влажный сосок и вбираю в себя сладковатое густое молоко. Мой недавний сон обернулся явью. Робко и настороженно я прикасался к ее

груди губами, боясь, как бы Дамиана не вынула у меня изо рта этот круглый мягкий бугорок. Но она даже не шелохнулась. Видеть нас никто не мог, — никто не сможет и смеяться над тем, что я, будто новорожденный, сосал ночью женскую грудь. Не знаю почему, в этот момент я снова вспомнил о Лагриме Гонсалес. Мне вовсе не хотелось думать о ней. И тут я принялся сосать изо всех сил, помогая руками, и высосал все до последней капли. Дамиана с легким вздохом перевернулась на другой бок.

Я уснул и больше не видел никаких снов.

На заре нас разбудили свистки маневрирующего паровоза. Скоро начнется посадка. Люди, похожие на розоватые тени, сновали по краю платформы, собираясь войти в вагоны, которые уже стояли на другом пути. Я не мог отыскать свой башмак. Видно, какой-то голодный пес утащил его. Теперь мне предстояло воевать только с одной ногой, то есть приложить лишь половину тех усилий, которые я затратил накануне, чтобы запихать в ботинки обе ноги. Дамиана тоже шарила в траве, держа на руках ребенка, но паровоз уже выпустил пары, и мы, прыгая по грудам камней и щебня, бросились к поезду. Я

бежал сзади с моим чемоданчиком и узелком Дамианы.

Разутой ногой я касался  
злосчастной земли, вынесшей  
столько ударов судьбы.

## 10

Из всей поездки и дорожных перипетий, из всех событий того времени мне особенно ярко запомнился приезд в Асунсьон.

Пассажиры толкались среди высоких колонн. Вконец растерявшаяся Дамиана держала меня за руку.

Мы с трудом добрались до

галереи. Там колонны были еще выше и толще, они поддерживали поврежденные снарядами арки. На крыше огромного белого вокзала, украшенного, как кружевами, гирляндами цветов, был разбит сад. Ароматом жасмина, перебивающим запах гари, пахнуло мне в лицо.

Перед нами тянулись к небу высокие дома, разбегались бесконечные улицы, проезжали экипажи, конки, упряжки мулов одинаковой масти, кричали кондукторы.

На площади росли деревья, и какие-то оросительные сооружения выбрасывали в воздух каскады воды. Я оставил Дамиану и побежал между



клумбами. Меня одолевала жажда. Я наклонил голову, подставил рот под бьющую струю и стал пить. Вдруг я заметил нечто столь невероятное, что даже поперхнулся. Неподалеку от меня среди деревьев на очень красивой лестнице стояла высокая белая женщина и, не шевелясь, ела птиц. Они порхали вокруг и сами весело влетали к ней в рот. Мне даже показалось, что я слышу хруст их косточек.

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## Исход

### *1*

Они медленно идут сквозь лесную чащу. Быстрее идти они не могут. Гонимые бедой, животным страхом, они из последних сил продираются сквозь ветви. Иногда совсем вслепую. Тогда чаща отбрасывает их назад, а отчаяние толкает вперед. Мужчина яростно размахивает мачете, чтобы разрушить преграду, чтобы доказать самому себе, что они еще не умерли,

чтобы пробить брешь в колючей решетке ветвей, которая впивается в истощенные, призрачные тела и не пропускает их, как сито не пропускает комки крахмала.

Женщина несет новорожденного. Она склонила голову набок, стараясь уравновесить тяжесть ноши, всклокоченные волосы разметались, ее подкашивает необоримая усталость. Руки, несущие детское трепещущее тельце, одеревенели, она их больше не чувствует.

Так бредут эти двое, полунагие, перепачканные черной глиной; не люди, а пугала из запекшейся на солнце грязи движутся среди листвы.

Потные тела покрыты  
растрескавшейся коркой. Влажное  
пекло леса готово высосать  
последние соки из беглецов.

Солнце постепенно клонится к  
западу. Чаща редет, неистовые  
зеленые краски блекнут, уступая  
место малиновым тонам. Наконец  
люди выбирают на старую, давно  
не хоженную тропу и идут, пока до  
них не доносится приглушенный шум  
реки. На землисто-сером лице  
мужчины появляется выражение  
растерянности. Он замирает на  
месте и поворачивается к женщине.  
В первый раз, бог весть за сколько  
часов дороги, он нарушает молчание.

— Слышишь, Нати? —

вырывается из пересохшего от жажды горла надтреснутый голос.

— Да, — шепчет в ответ застывшая маска, на которой двигаются только блестящие шарики глаз.

— Может, это Мондай?

— Может быть... Тамó-ra'é! [\[29\]](#)

— Порядочно мы прошли, — хрипит мужчина; в его голосе сквозит гордость, которая на мгновение притупляет и побеждает страх. — Еще немного — и мы спасены, — добавляет он.

Собрав последние силы, они продолжают идти в глубь леса по совсем заросшей тропе, но вскоре женщина вскрикивает:

— Слышишь, Касиано?

Они снова останавливаются. Сзади, перекрывая шум воды, доносится отдаленный лошадиный топот.

— Господи, нас догоняют! — стонет женщина.

Лицо мужчины, изрезанное морщинами, бледнеет.

— В лес! Скорее в лес! Спрячемся!

Они бегут в непроходимую чащу.

— Я знал, что нас схватят, — бормочет мужчина сквозь зубы, но женщина не слышит его.

Пригибаясь к земле, подгоняемые гнетущим страхом, который оставил было ненадолго их

души, они продираются сквозь сельву. Мужчина ступает по черной жидкой грязи. Женщина едва поспевает за ним, наклонив голову над ребенком. Они снова превратились в затравленных животных, попавших в западню, из которой нет спасения.

## 2

Ни одному беглецу не удавалось удрать живым с плантаций мате в Такуру-Пуку.

Уверенность в этом, эта легенда, впитанная с молоком матери, дурманила менсу [\[30\]](#), ядовитым

болотным смрадом окутывала тех, кто мечтал о побеге, и убивала их надежды. Так что мечтали об этом немногие. А если кто и отваживался на подобное безумство, то его возвращали с полдороги. И тогда в легенду входил новый персонаж — еще один беглец, она обрастала новыми подробностями о безошибочном нюхе злых собак, о меткости винчестеров.

Никому не удавалось бежать.

Иногда полумертвого смельчака пригоняли обратно под неистовый лай собак и топот лошадей и в назидание остальным распинали на самом солнцепеке, на глазах у бессильной, повергнутой в ужас



толпы.

Даже детей не щадили пуля, нож и лассо.

Такуру-Пуку было воистину местом самого разнузданного произвола. Оно таилось среди дремучих лесов Альто-Параны, пряталось в глубоких оврагах, его сжимало кольцо болот, где кишели змеи и дикие звери, опоясывала широкая бурная река, хлестали внезапные ливни, мгновенно затоплявшие лес и сбегавшие красными, как кровь, потоками на сырые низины. Но надежнее всего охраняло Такуру-Пуку безнаказанное своеволие управляющих. Для того они там и находились. Им

разрешалось все, только бы они неукоснительно блюли интересы компаний, опиравшихся на закон, изданный почти сразу же после Великой войны президентом Риваролой, на закон, который был направлен на «преуспевание и всемерную поддержку предпринимателей, культивирующих мате и другое сырье национальной промышленности». Таким образом, управляющие действовали в полном согласии с законом, не выходя за рамки того зла, которое заключалось в самой букве этого закона. Параграф третий дословно гласил следующее: «Пеон, бросающий работу без разрешения, засвидетельствованного

подписью                      хозяина                      или  
управляющего, в случае если хозяин  
или управляющий того потребуют,  
будет возврат щен на плантацию в  
принудительном порядке. Расходы по  
доставке педона на плантацию, равно  
как и другие издержки, связанные с  
его уходом, будут отнесены на счет  
педона».

Не многие рисковали брать на себя «расходы по доставке».

Самое большее, что удавалось беглецу, — это найти себе могилу тут же, на плантации. Кто-то сложил песню на двух языках — на испанском и гуарани, в которой рассказывалось о тружениках-пеонах. Песня исполнялась под

гитару. В ней говорилось о том, как мытарится поденщик, как круглый год гнет спину под бичом надсмотрщика, а отдыхает только в страстную пятницу, словно и его в этот день снимают с креста. Разница заключалась лишь в том, что после смерти несчастные не обретали славу в веках, как обрел ее искупитель, потому что эти босые, темнокожие Иисусы умирали, но не воскресали, и о них забывали навсегда. Так было не только на плантациях мате, принадлежащих английской компании «Ла Индустриаль пара-гуайа», но и на плантациях других компаний, раковой опухолью проросших в

самую глубь страны. Триста лет тому назад эти земли принадлежали миссионерам-иезуитам, и теперь о тех смутных временах вспоминали как об идиллических и патриархальных.

Anivé angana, che  
compañero,  
ore korazó reikyti asy... [\[31\]](#)

—

выпевал в песне свои жалобы пёон.

Ни собаки, ни охранники, ни леса, ни болота не могли задержать «Песню менсу».

Только ей удавалось вырваться на волю с плантаций мате. Других беглых не было.

### 3

Вскоре после подавления крестьянского восстания 1912 года Касиано Хара и его жена Нативидад приехали в Такуру-Пуку вместе с очередной партией дешевой рабочей силы, завербованной агентами «Ла Индустриаль парагуайа». Воспользовавшись всеобщей неразберихой, агенты затесались в толпу повстанцев и гражданского населения, бежавшую из родных

мест.

Касиано и Нати завербовались в Вильярике. Поженились они совсем недавно. Оба были из Сапукая.

В ту трагическую мартовскую ночь Касиано Хара находился в мятежном эшелоне сторонников капитана Элисардо Диаса. Этот эшелон должен был внезапно ворваться в столицу. Нати стояла в собравшейся на станции толпе, провожавшей повстанцев, и кричала вместе с остальными «земля и свобода!». Донос телеграфиста сорвал задуманные планы. Власти выслали навстречу эшелону груженный бомбами паровоз.

Не всем, кто остался в живых

после взрыва, удалось уйти от организованных правительством карательных отрядов, которые казнили и расстреливали направо и налево. Касиано и Нати спаслись чудом. Горстки голодных, отчаявшихся беглецов уже много дней бродили в лесах Гуайры. Они пробирались на юг к аргентинской границе, шли вдоль железной дороги, но старались держаться подальше от нее, чтобы не попасть в руки карателей.

В Вильярике они узнали, что расстрелы прекратились и что агенты компании «Ла Индустриаль парагуайя» нанимают людей на работу в Такуру-Пуку. Касиано Хара



с женой, как и почти все, бежавшие вместе с ними, записались в головную колонну, которая пошла устилать своими костями дорогу в ад. А они были рады и счастливы: думали, что найдут такой уголок на земле, где можно собственными руками справиться с бедой.

К тому же им выдали аванс наличными.

— Это западня, — сказал тогда кто-то, — в нее только попадись...

Никто не обратил внимания на предостережение: все были ослеплены.

Получив новенькие, еще хрустящие бумажки, Касиано накупил Нати всяких вещей в

большом магазине «Ла Гуайренья». Нати их примеряла в задней комнате магазина. Когда, надевая панталоны, она приподняла подол, Касиано впервые за долгое время заметил, какие смуглые, крепкие и точеные ноги у его жены. Он купил ей даже стеклянные бусы, гребень, инкрустированный хризолитом, и флакончик духов. Касиано вывел из магазина настоящую сеньору, возвращающуюся из церкви. Себе он купил пару альпар-гат, шерстяное пончо, нож, пестрый платок и суконное сомбреро. Из грязного зеркала, стоявшего в магазине, на них смотрели улыбающиеся, празднично разодетые мужчина и

женщина.

Они вышли из магазина совсем другими людьми.

На последние песо пообедали в шикарном городском ресторане, как богатеи. Первый приличный обед за многие месяцы, когда они питались корнями, гнилыми арбузами, снятыми по дороге на заброшенных ранчо.

Первый приличный обед. И последний. Но тогда они еще этого не знали. Им вскружили голову наивные мечты о новой жизни.

— Может, Нати, не так уж там плохо, как рассказывают, — сказал довольный Касиано, глядя в окно на улицу.

— Дай бог, ше karaí! [\[32\]](#) —  
пробормотала Нати, склонив голову  
над пустой тарелкой, словно  
прошептала «аминь».

#### 4

На рассвете колонна двинулась в  
путь. Людям предстояло не только  
пройти пятьдесят лиг, но и  
перебраться через горную цепь  
Каагуасу, прежде чем они доберутся  
до плантации. Их подгоняли  
верховые надсмотрщики, которые не  
давали им отдыхать, разве что ночью,  
да и то всего несколько часов, и на  
дорогу ушло меньше недели.

Съестные припасы быстро кончились. Воду пили из мелких речушек вместе с лошадьми надсмотрщиков.

Прежде чем углубиться в девственную сельву, перешли вброд реку Мондай. Она была как бы водяными воротами плантаций мате.

Некоторые шутили:

— Мондай!.. [\[33\]](#) Воровская речка! Окропите себя этой водичкой!

Мужчины хотели искупаться. Им не разрешили. Некогда.

Роскошные наряды Нати превратились в лохмотья. Костюмы Касиано и остальных мужчин тоже пришли в негодность. Лес рвал в клочья и платье и надежду.

Плетеные, стальной крепости бичи, укусы клещей и москитов, змей и скорпионов, первые атаки малярии, первые приступы страха вернули этих людей к действительности, которая медленно, но неумолимо надвигалась на них.

Многие навсегда остались лежать на этой бесконечной дороге. Надсмотрщики пытались поднять их хлыстами, но желтая лихорадка или укус змеи оказывались сильнее хлыстов. Тогда упавших оставляли на дороге, предварительно пустив пулю в лоб, чтобы уж наверняка не оказалось притворщиков.

Идущие впереди время от времени слышали выстрелы. Умирал

очередной мученик. Одним спутником становилось меньше. Он навсегда исчезал, превращался в ничто. Следующим мог стать любой из них.

Теперь они это знали. Но было уже поздно.

— Мы просчитались, Нати, — бросил Касиано на ходу. — Попали из огня да в полымя.

— Какой ужас...

— Да ты не расстраивайся. Мы туда ненадолго!

Ее зеленоватые глаза затуманились — будто пожухли два листочка, которые лошадь надсмотрщика растоптала на черной земле, на бесконечной дороге в

Плантация была огромной. Никто не знал, где она кончается. Любой участок мог оказаться центральным. Безраздельная власть управляющего Агилео Коронеля неумолимо простиралась на все земли, принадлежащие компании. У Коронеля были помощники: надсмотрщики, охранники. Берега реки и болот, лесные тропы, самые глухие уголки ими кишмя кишели.

На другом берегу Параны начинались аргентинские плантации



мате. Парагвайские поденщики думали о них с щемящей тоской. Так, вероятно, грешники в аду думают о чистилище.

Агилео Коронель как из-под земли появлялся на лесных просеках. Белая каска. Темное лицо. Сидит на своем буланом жеребце, высоко задрав голову, и наблюдает, как, согнувшись в три погибели, сборщики мате тащат на себе огромные тюки листьев. В каждом тюке восемь арроб<sup>[34]</sup>. Тюк вдвое выше и в десять раз шире обливающегося потом изнуренного тела. Коронель, не слезая с лошади, нередко проверял вес тюка. Управляющего всегда сопровождал

Хуан Крус Чапарро, полицейский начальник, назначенный компанией из обитателей Такуру-Пуку. Эту неотступную тень Коронеля — одноглазого, тучного, рябого Круса, — пожалуй, ненавидели больше, чем самого управляющего. За глаза Чапарро называли Хуан Курусу<sup>[35]</sup>, или просто Курусу, потому что он был тенью креста, на котором распинали пеонов, и потому что его хлыст обрушивался также стремительно и беспощадно, как крестоносная змея.

Власть Агилео Коронеля проявлялась во всем своем блеске и могуществе при проверке веса тюков. Именно в эти минуты определялось,

сколько пота и усилий требуется от поденщиков, чтобы протащить по извилистым лесным тропам за много лиг эти восемь арроб листьев мате, связанных сыромятными ремнями. И только когда стрелка весов опускалась до отказа, во рту управляющего, растянутом в подобие улыбки, начинал поблескивать золотой зуб. Лишний вес не засчитывался. Но если недоставало хотя бы одного фунта, Коронель не пропускал тюка, оглушая пеона дикими криками, обзывая его дармоедом и бездельником. Вопли управляющего мешались с щелканьем бича Чапарро, и эхо разносило их по лесным просекам.

День был потерян. Нужно было набрать еще мате, чтоб в тюке было точно восемь арроб. Поэтому сборщики радовались, когда видели, что во рту управляющего блестит маленькая молния, зажженная опустившейся до отказа стрелкой весов.

— Точный вес, хозяин!

Все старались принести несколько лишних фунтов, которые им не засчитывались, только бы сверкнула маленькая молния.

Вечером тучная фигура Коронеля вырисовывалась подле печи для подсушки листьев мате. Он смотрел, как пеоны сидели у огня и грели руки. Высокая тень Чапарро не

отступала от него ни на шаг.

Наверху, взгромоздившись на расположенный над печью настил, стоял уру [\[36\]](#) и, забыв о своей обязанности следить за подсушкой, тоже смотрел на поденщиков. Но и его подчас не миновал хлыст Чапарро. Как-то раз один из уру, заспорив с полицейским начальником, оступился и упал прямо в огонь. Никто не попытался вытащить его оттуда, потому что, когда он падал, Чапарро выстрелил из винчестера ему в висок. Пока тело уру корчилось и извивалось среди языков пламени, Курусу вопил, что эта неблагодарная свинья, этот выродок и сукин сын хотел броситься

на хозяина с ножом, хотя все знали, что никакого ножа у уру не было.

Агилео Коронель движением руки велел Чапарро заткнуться. В наступившем молчании слышалось только шуршание листьев да гудение огня, бившегося в горле печи. Пахло горелым человеческим мясом. Едкий зеленый дым выжимал слезы из глаз понуро сидевших призраков. В отблесках пламени сверкал над плечом хозяина единственный голубой глаз Чапарро, пристально следившего за неподвижными запуганными людьми, которые плакали от дыма.

Агилео Коронель, уставясь на огонь, разглядывал труп, который

корчился среди веток. А наблюдательный пост над печью занял новый уру. Заместители всегда были под рукой. Здесь никто не успевал состариться. Никому не удавалось бежать.

## 6

Поначалу Касиано и Нати устроились не так уж плохо. Нати нанялась в поселке служанкой в лавку к торговцу каньей. Хозяева этой лавки, уроженец Сан-Пуало, Силвейра и его жена, обходились с ней хорошо. Не раз Нати украдкой плакала на плече нья Эрмелинды, и

та утешала ее низким мужским голосом.

Нати считалась членом семьи и в благодарность за хозяйскую доброту трудилась за двоих у перегонного куба или у прилавка.

Касиано поставили сортировщиком мате на одном из перевалочных пунктов. Ему тоже было гораздо лучше, чем остальным, хотя и похуже, чем Нати. Он возился с листьями целый день, а часто и за полночь, если только его не назначали вместо уру следить за подсушкой мате. Он видел, как упал в огонь уру, смертельно раненный пулей Чапарро. Это научило его быть осмотрительней. Нельзя было



допустить ни малейшей оплошности.

Сортируя мате или наблюдая за подсушкой листьев, он всегда старался угодить надсмотрщикам. Поэтому сначала пеоны неодобрительно косились на него. Но он продолжал усердно работать, не покладая рук, не давая себе ни минуты отдыха, по четырнадцать—шестнадцать часов в день, потому что поздно ночью или на рассвете наступало то мгновение, когда, пробежав бегом больше лиги, он оказывался рядом с Нати под навесом лавки, неподалеку от причала.

Она вставала, разогревала ему йопара<sup>[37]</sup>, подернутую свиным

салом, или жарила на раскаленных углях куски мяса и маисовые зерна. Касиано ел неохотно. Его тошнило от вонючего дыма, которым он успевал досыта надышаться во время дежурства у печи. От усталости сводило все тело, он дрожал с головы до ног. Может быть, это уже начались приступы малярии,

Нати гладила его слипшиеся волосы. При свете горящих углей Касиано и Нати чаще всего разговаривали без слов, только взглядами. Но и в полной темноте муж с женой прекрасно понимали друг друга: они были вместе, и этим все было сказано. С первого дня творения между мужчиной и

женщиной все сказано. Касиано и Нати прижимались друг к другу, забывая о жизненных тяготах. Бесхитростное, ясное как день понимание, существующее между растениями, между животными. Их жизни могли оборваться, но не разделиться. По крайней мере, так им внушала любовь.

Они еще тесней прижимались друг к другу на тростниковой циновке, чувствуя единое биение сердца. Потом приходил сон, накрепко соединяя их тела, и они погружались в него, как камень, падающий на дно.

Так прошел первый год, показавшийся им столетием. Но они,

по крайней мере, были вместе.

7

В начале зимы в Такуру-Пуку явился с ревизией один из хозяев компании. Слух об этом распространился, как только менсу увидели белую роскошную яхту, которая сначала скользила по воде, как цапля с раскрытыми крыльями, а потом причалила к берегу.

На плантации начался переполох: управляющий, полицейский начальник, надсмотрщики и охранники свирепствовали как никогда.

Сборщики мате поняли, что приехал большой хозяин.

Его самого они не видели, но имя гринго звучало повсюду — от административного корпуса до самых дальних участков. И еще у пеонов не сходило с языка имя святого — покровителя мате. Следы его ног остались в пещере на холме Парагуари, с тех пор как он проходил по Парагваю, бросая в землю чудосемена мате, этого растения-людоеда, питающегося человеческим потом и кровью.

— Святой Фома!

— Отец Сумё!.. —

перешептывались согнутые под тяжестью тюков сборщики мате, и в

их голосах звучали остатки бывшего сарказма, почти уничтоженного чуть не священным страхом, который им внушал этот приехавший большой хозяин (он и легендарный покровитель мате носили одинаковое имя).

Яхта мистера Томаса<sup>[38]</sup> ушла вниз по течению, скользя по воде, как птица по воздуху.

## 8

Едва скрылась эта белая птица, как Агилео Коронель приказал всем владельцам лавок, торгующим каньей, перейти под начало

компании. Отныне только компания будет торговать каньей и больше никто.

Некоторые лавочники, в том числе и Силвейра, упорствовали. Бразилец полагал, что сможет сохранить независимость, поскольку он иностранец. Он считал, что это очередная выдумка Коронеля и что все обойдется.

— Нет, это дело рук гринго, — сказала няя Эр-мелинда. — Коронель не распоряжается без приказа большого хозяина.

— Eu fíco [\[39\]](#) здесь, — решительно заявил Силвейра» мешая португальский с испанским.

— Они тебе житья не дадут,

Афонсо, — предупреждала его жена. От дурных предчувствий голос ее становился ниже и проникновеннее. — Они собираются все прибрать к рукам!

— Eu fíco здесь... пускай со мной что угодно делают — хоть pr'a baixo!<sup>[40]</sup>

Однажды вечером, когда он запер лавку, его убили. Да, он остался здесь, но голову ему снесли! Впрочем, все, кто, подобно бразильцу, не хотел подчиниться приказу Коронеля, так или иначе были убраны с дороги.

Нати рассказала по секрету Касиано, что сама видела, как Чапарро, спрятавшись за дерево,



стрелял в Силвейру. Он безнаказанно убил бразильца, как и того уру у печи для сушки мате. А ведь его пули ни с какими другими не спутаешь. Люди злословили, что полицейский Курусу дьявольски точно попадает в цель потому, что его искусственный голубой глаз неподвижен.

— И целиться не надо, — сказал какой-то менсу, и его реплика стала поговоркой. — Один стеклянный глаз стоит двух совиных.

Много семей выгнали из поселка. Волна насилия, поднятая белой яхтой, не пощадила никого.

Два-три ночных выстрела, как бы случайные пожары в домах строптивых лавочников — и

территория была очищена. Мелким хозяевам пришлось распродать имущество за бесценок и покинуть насиженные места. Так река уносит кусты, вырванные ураганом.

И Агилео Коронель почти даром получил для своих лавок перегонные кубы, горы червивого копченого мяса и груды всякого другого продовольствия. Он стоял с видом победителя у окна конторы и смотрел, как побежденные покидают поселок. В полумраке поблескивал его золотой зуб.

Вместе с последними семьями, уезжавшими в Фос-де-Игуасу, переправлялась через реку и вдова бразильца.

Касиано и Нати завидовали тем, кто покидал эти края. Сами они уйти не могли. Кроме своего пота, им нечего было продать, даже за бесценок. Задолженность по авансу высасывала до последней капли все, что изо дня в день зарабатывал Касиано. Не было никакой возможности погасить этот долг или хотя бы сократить его. В таком же положении находились и остальные менсу. Сколько ни трудись — заработать больше, чем на еду, никак не удастся. Да еще на глоток каньи — каплю горького забвенья. Одежда стоила в десять раз дороже, чем в

других районах. Долг не уменьшался. Для того он и существовал, чтобы закабалить менсу. Долг — его уязвимое место. От него не избавиться. Только в могиле можно было от него спастись.

Теперь они это знали. Но было уже поздно.

Пришлось Касиано и Нати выстроить себе маленькую хижину из пальмовых веток и листьев. Нати перешла работать в магазин компании.

Однажды вечером она сказала мужу:

— У меня будет ребенок.

Касиано не знал, радоваться ему или совсем отчаяться. Но он

постарался напустить на себя веселый вид.

— Вот и хорошо... — ответил он.

Ему как-то в голову не приходило, что может родиться ребенок. Неподходящие времена для такого события, что и говорить. А все же хорошо, наверное, иметь сына. Эту мысль подсказало ему сердце и подкативший к горлу комок. Да, да, хорошо иметь сына, пусть даже здесь, в Такуру-Пуку, где тропы отмечены только могильными крестами. Касиано видит над костром темные глаза Нати. Ее взгляд обращен к зарождающейся в ней тайне, к единственно вечному

началу, к великому чуду, которое продолжают творить на земле мужчина и женщина, даже если эта земля и уставлена могильными крестами.

И тогда он произносит:

— Теперь нужно бороться ради него.

— Да, — говорит Нати.

— Если будет мальчик, назовем его Кристобалем. В честь деда.

Сквозь скрипучие пальмовые стены проходит призрак седобородого старца. В тот страшный год, когда на небе появилась комета, дед вместе с другими крестьянами основал Сапукай. Теперь он стоит в темноте и улыбается своим детям.

Они берутся за руки. Нати чувствует, какие влажные руки у мужа. С ресниц вот-вот упадут прозрачные капли; их словно исторгает душа, которая рвется наружу, теснимая крошечной надеждой, привязанной к сердцу жгутами плоти, маленьким комочком, который тяжелее самого большого тюка мате.

Да, такова жизнь; в какое далекое прошлое ни заглядывай, как страстно ни всматривайся в темное грядущее, сколь ясно ни ощущай жалкое настоящее — извечно это упрямое пламя надежды в глубине души, необоримое желание прыгнуть выше головы, выстоять до конца, перейти еще одну границу,

преодолеть еще один рубеж,  
продолжать существовать,  
пробиваясь сквозь отчаяние и  
смирение.

Теперь Касиано и Нати это знают без слов. Нить не обрывается: был старик, есть они, будет ребенок. Теперь они знают также, почему их далекая деревня называется Сапукай, что на гуарани означает «крик». Страшная, искореженная бомбами, какой они видели ее в последний раз, встает деревня перед их глазами.

Касиано и Нати окончательно просыпаются. Ночной ветер скребется о пальмовые стены. Река бьется о крутые берега.

— Мы можем поспеть вовремя,



чтобы ты разрешилась уже там.

Ради этого Касиано остервенело работал. «Пусть все мое тело обернется рукой, кулаком, — думал он. — Буду жить, стиснув зубы. Хочу, чтобы «приход» на моем счету перекрыл «расход». По крайней мере, можно будет расквитаться с задолженностью в триста песо, вернуть аванс. По крайней мере, им нечем будет крыть, и мы сможем уйти. Пусть мы вернемся, в чем стоим, но с ребенком, с нашим будущим ребенком».

— Вот было бы хорошо, she кагаі! — шепчет Нати, как в тот раз, когда в городском ресторане она сидела, склонив голову над пустой

тарелкой. Правда, теперь она говорит уже не так уверенно, просто хочет утешить Касиано.

— Там, наверное, уже забыли про мятеж.

— Наверное. Почти два года прошло, Касиано.

— Я смогу снова работать в гончарне. А нет — так на нашем участке. Вырастим на нем много хлопка и маиса. Можно еще попробовать рис посеять на болоте.

— Да...

Они стараются обмануть самих себя, видят сон наяву. Но перед ними разверзается черная, вырытая бомбами яма. Она поглощает их участок, заросший буйным сорняком

или, что гораздо вероятнее, конфискованный государством вместе со всем, что посадил на нем Касиано Хара — эта грязная скотина и бунтовщик.

Но еще не все их надежды явь обратила в прах. Крушение, можно сказать, только начиналось.

## 10

В опустевшем поселке осталось мало женщин: состарившиеся проститутки да вдовы, заплатившие за свое жалкое существование жизнью мужей,

Нати сияла среди них

молодостью, здоровьем. Она снова расцвела, будущее материнство, медленно вызревавшее в ее чреве, красило ее.

Хуан Крус Чапарро своим единственным глазом заметил Нати.

Курусу не торопился. Терпения у него хватало. Если понадобилось два года на то, чтобы среди оставшегося сброда обнаружить молодуху из Сапукая, он вполне может подождать еще немного. В общем-то он время зря не терял. К его услугам были все бабы в Такуру-Пуку. Но ему нравилась именно та, которую было трудновато взнуздать. Он, конечно, набросит на нее удила, но как на

необъезженную лошадь: исподволь, незаметно. К тому же незачем пробуждать ненасытную алчность Коронеля и наводить его на добычу.

Первым делом Касиано приказали таскать дрова для сушки мате — самая трудная работа на плантации, труднее даже, чем таскать тюки. Разницы и весе нет, но вместо бархатистых листьев взваливаешь на себя твердые бревна. Они всю спину исцарапают до крови, пока тащишь их несколько лиг по лесным тропинкам и топям.

Касиано не мог уже по вечерам прибегать в пальмовую хижину к Нати. Нужно было сооружать в лесу маленькие временные шалаши из

веток, чтобы провести ночь или укрыться от дождя. Он приходил лишь изредка. Его била лихорадка, мучили клещи, плечи и спина покрылись язвами.

Он все еще не догадывался, в чем дело. Думал, судьба переменилась к худшему. Он всегда это предчувствовал.

— Так должно было случиться. Слишком долго нам хорошо жилось, — говорил он Нати, стараясь утешить ее и себя.

Но она-то знала причину такой перемены. Когда она травами и мазями врачевала раны на спине мужа, перед ее глазами возникали не следы бревен, а кровавые отпечатки

шпор Чапарро, который становился с каждым днем все настойчивей. Он медленно оплетал ее паутиной своих приставаний. Паук, выжидающий, пока жертва совсем ослабеет.

## 11

Как-то раз вечером в лесу он встретил Касиано и чуть было не сбил его с ног своим конем.

— Хара, мне твоя баба приглянулась. Даю тебе за нее триста песо, — выпалил он, и единственный его зрячий глаз стал пепельного цвета.

Согнутый под тяжестью бревен

Касиано задрожал.

— Может, я и отпущу тебя отсюда, — благосклонно продолжал полицейский начальник, — если, конечно, заплатишь долг.

Казалось, что связка дров колотится в приступе малярии. У Касиано посинели губы, а зубы скрипели так, словно пережевывали песок.

— Чего молчишь? Не нравится тебе сделка, что ли?

— Нет... нет... — едва выговорил Касиано таким слабым, приглушенным голосом, что Чапарро показалось, будто ему отвечает кто-то другой.

— Почему?



— Она... она... жена мне, —  
пролепетали лиловые губы.

— Да я это знаю, вуго<sup>[41]</sup>. Потому  
и предлагаю тебе триста песо. Ни  
одним больше, ни одним меньше.  
Ровно столько, сколько ты задолжал  
компании. Сможешь погасить долг и  
вернуться в свою долину. Никому еще  
я такого не предлагал в Такуру-Пуку.  
По крайней мере, с тех пор, как  
заправляю тут делами.

— Нет...

— Пользуйся случаем! Велика  
важность — любовница!

— Не любовница она мне,  
женаты мы...

Чапарро расхохотался.

— Женаты! Ха-ха! Какая

разница, вуго несчастный! Что любовница, что жена — все равно баба. Спать с ней можно — и ладно. Остальное не важно... Ну, чтоб была красивая, конечно.

— Она ждет...

— Чего еще она ждет?

— Ребенка! — прохрипел голос

из-под связки дров.

Смешное, бессмысленное признание, такое же нелепое, как порыв умиления у приговоренного к смерти.

Однако оно возымело свое действие, правда, столь же смешное и нелепое.

— Ребенка?

— Да, вот уже четыре месяца.

— Что ж ты думаешь, я кривой на оба глаза? Ничего не заметил?

Со стороны их разговор можно было принять за болтовню кумушек, судачащих у церкви.

— Тогда подождем немного.

Оба отправились в путь. Впереди, приподнявшись в стременах, скакал Чапарро. Позади, словно на тараканьих лапах, ползла по земле связка дров.

## 12

— Нужно бежать отсюда, — сказал Касиано Нати той же ночью.

Он повторил это несколько раз,

дрожа всем телом. Сначала она подумала, что приступ лихорадки на сей раз сопровождается бредом. Но когда озноб прошел, Касиано хрипло продолжал настаивать:

— Бежать отсюда! И скорее!

— Как, *che Karaí*?

— Не знаю, только нужно бежать!

Землистое лицо совсем помертвело. От накатившего бешенства на губах выступила пена.

— Отсюда не убежишь! — шепчет Нати, опускаясь на колени перед распростертым на земле мужем, его обмякшее тело напоминает ей студень.

Она начинает понимать, в чем

дело.

— Курусу со мной разговаривал, — эхом вторит ее мыслям голос Касиано.

Их взгляды, блуждавшие за тридевять земель отсюда, встречаются снова. В глазах женщины — смущение, в глазах мужчины — униженное отчаяние.

— Уговаривал продать тебя! За триста песо!

Он яростно и беспомощно хохочет.

— Аванс! Наш долг!

Он смеется как безумный. На губах дрожит пена. Запоздалый приступ лихорадки опять сводит тело судорогами. Безжизненно

откидывается покрытая липким потом голова, и только сдавленное дыхание острыми когтями раздирает грудь.

Нати пытается успокоить его. Она натирает ему тело уксусом, укутывает в лохмотья, в байковое одеяло, еще более рваное, чем пончо, когда-то купленное в городе. Касиано еле дышит, придавленный тяжелым сном, тяжелее, чем связки дров, которые он таскает на себе.

Влажные глаза Нати смотрят не на Касиано, а поверх него, вдаль. Сверлят тишину, буравят неумолимый мрак плантации. Но нет ничего безмолвнее и чернее ее беды.

Она всматривается в ночь до тех

пор, пока у нее не начинается замирать сердце. Потом она уже ничего не чувствует.

Ничего, кроме толчков, которые время от времени сотрясают ее чрево.

## 13

Неотвязная мысль о побеге созревала в Касиано, подобно лихорадке. Он заразил ею и Нати. В короткие минуты свиданий они пестовали ее, как тайный недуг, который мог оказаться опаснее явного, но был единственной, хоть и неверной надеждой на спасение. По

крайней мере, эта болезнь протекала без озноба, без холодного пота, без ломоты в костях и суставах, мучавшей Касиано во время приступов тропической лихорадки. Она, по крайней мере, не выходила наружу. Только постоянное напряжение туманило мозг, жгло глаза, сводило рот и горячило дыхание.

Касиано и Нати пытались уговорить и других бежать с ними. Но народ был очень запуган. Кроме того, люди никак не могли отделаться от недоверия, которое им вначале внушал Касиано, случайно оказавшийся в более сносных условиях. Зачинщик восстания из



далекой Коста-Дульсе даже заменял уру. На плантации никогда не знаешь, в какой момент сломят человека, самого что ни на есть стойкого.

— Жена помогла, — поговаривали у него за спиной.

Никто и слушать не хотел о побеге.

Действительно, это была безумная затея. Все, кто желал им добра, пытались отговорить их. Поэтому Касиано и Нати отважились рискнуть одни. Ради ребенка.

«Не хочу, чтоб он родился здесь», — постоянно думал Касиано и твердил это жене.

Нати понимала мужа.

Что касается Хуана Круса

Чапарро, он, по всей видимости, решил подождать, — он ведь так и сказал Касиано тогда в лесу. Крус спокойно смотрел, как у Нати растёт живот, и больше к ней не приставал. Разве что иногда насмешливо улыбался своим игривым мыслям. Порой даже казалось, что он выкинул ее из головы. А иной раз, зайдя в магазин выпить кружку каньи, он оскорблял Нати, словно ее беременность раздражала его больше, чем жалкий вид проституток, которых он при встрече поносил последними словами.

Касиано и Нати тщательно обдумали малейшие детали побега. Изучили каждое движение

надсмотрщиков, всю механику охраны, все существующие дороги, все уловки, к которым, вероятно, понадобится прибегнуть, предполагаемые промахи часовых, присмотрелись, насколько те бдительны. Может, они не очень-то и будут следить за Касиано и Нати. Стоит ли тратить усилия на измотанного лихорадкой мужчину и беременную женщину? Если опытным здоровым людям не удавалось вырваться из этого огромного капкана, окруженного реками, лесами и болотами, то что уж говорить об этих несчастных.

Дни и ночи напролет они мысленно пробирались по темному

лабиринту, держась за путеводную нить, видимую только им одним. Но и от них иногда ускользал конец этой нити. Тогда они впадали в безысходное отчаяние, видели себя заблудившимися в лесу, утонувшими в болоте, затравленными сворой собак.

Прошло четыре месяца со дня встречи Касиано с Чапарро на лесной тропинке.

Подходящий момент, по всей видимости, наступил, когда Агилео Коронель, неизвестно по каким делам, уехал в Вилья-Энкарнасьон, а Хуан Крус Чапарро с начальником охраны отправился в Фос-де-Игуасу выслеживать контрабандистов,

которые время от времени приходили туда за мате.

Такую возможность нельзя было упускать, — кто знает, представится ли другая и когда. Касиано и Нати не могли даже мечтать о столь благоприятном стечении обстоятельств. Пожалуй, слишком благоприятном. Будто сам нечистый дух вводил их в искушение. Жители Такуру-Пуку не припомнят такого случая, чтоб управляющий уехал одновременно с полицейским начальником. Один из них всегда оставался. Уж не подвох ли тут?

Той ночью Касиано и Нати бежали.

Утром надсмотрщик, присматривавший за переноской дров, заметил, что нет пеона из Сапукая. Он подумал, что его, возможно, схватила лихорадка. Но приступы у больного начинались через два дня на третий, значит, сегодня как раз светлый промежуток. Уверенности у надсмотрщика не было, и он на всякий случай оповестил полицейских.

У них тоже не было уверенности, и они на всякий случай отправились на поиски.

Долго искать не пришлось. На старой просеке в нескольких лигах

от поселка Касиано стоял на коленях возле Нати, которая корчилась в предродовых схватках.

Сначала полицейские ее не заметили. Касиано молился, обратив лицо к солнцу и воздевая руки к темным силуэтам подъехавших всадников. Рядом с ним лежал топор. Никаких свертков, никаких запасов в дальнюю дорогу. Ничего, кроме этой женщины, которая стонала, стиснув зубы, и каталась по земле.

Полицейские немного растерялись. На побег не похоже. И стрелять вроде бы нет необходимости. Но так как они все же сомневались, один остался сторожить эту пару, а остальные

поехали назад, в поселок, громко смеясь над происшедшей ошибкой. Какое-то время их хохот и крики роженицы сливались в нестройный хор, оглашая лесную просеку.

К полудню приехала повозка. Непостижимое проявление человечности. Касиано никак не мог опомниться. Казалось, у него вот-вот польются слезы, так глубоко он был растроган.

Вместе с возницей, таким же менсу, как он сам, они уложили на дно повозки продолжавшую корчиться от боли Нати и отправились в поселок. Полицейский ехал сзади.

По дороге родился ребенок.



Касиано разорвал свою мокрую от пота рубашку и завернул новорожденного в эти тряпки.

— Нати, у нас с тобой Кристобаль.

Ребенок громко кричал.

— Jho... che rá' y! [\[42\]](#) — ласково позвал Касиано.

Даже у конного полицейского появилось на лице почти человеческое выражение. Над повозкой-колыбелью нависла его тень.

Касиано на всякий случай посадили в полицейский участок и надели на шею колодку. Приедет начальство— разберется. Как-никак что-то подозрительное было в

поведении этого менсу.

Трижды приступы лихорадки мучали несчастного, но ни разу с него не сняли колодку. Посмотреть на жену и сына и подавно не разрешили.

Чапarro вернулся, когда у Касиано наступил промежуток между двумя приступами. Управляющий же приехал только спустя десять дней. Он прибыл на катере, который тащил за собой на буксире маленькое судно-загон, груженное новой партией менсу, завербованных в портах ниже по течению реки.

В камеру вошел человек в сутане. Медленно двигаясь в темноте, он искал узника.

— Где ты, сын мой? — прошептал человек.

Он споткнулся о массивную деревянную колодку. Невольно выругался, но тут же постарался загладить ругательство елейными словами. Пытаясь сохранить равновесие, он оперся руками о расслабленное тело лежащего узника. Затем, присев на корточки, стал его ощупывать. Несчастный, закованный в колодку, тяжело дышал. Свистящий хрип вырывался из разбитого в кровь рта. Во время первых допросов увесистая рука полицейского

поработала на славу.

Человек в сутане наклонился.

— Я священник из Энкарнасьона, сын мой. — Слишком уж мягко звучал его голос. — Меня привезли исповедовать тебя.

Священник немного подождал. Узник не шевелился. Молчание нарушали только хриплые стоны.

— Тебя собираются на рассвете казнить за попытку к бегству. Я старался спасти тебе жизнь, защитить тебя. Но, видно, тщетно. Начальство в большом гневе. — Он снова помолчал. — Все мы должны умереть, сын мой. И никто из нас не умирает ранее того дня, который предначертал господь. Тебе следует

приготовиться. Признайся мне чистосердечно во всех своих грехах. Чтобы я мог их отпустить и молиться, как и ты, во спасение души твоей... Тебя распнут на земле, и муравьи съедят тебя заживо. Но если ты мне расскажешь, кто еще собирался бежать, я обещаю смягчить сердце управляющего и не допустить, чтобы он учинил такую расправу. Если скажешь всю правду, может, тебе сохранят жизнь.

Разбитые губы узника не двигались. Только смрадное дыхание обдавало лицо священника. Его подташнивало. Он отвернулся и сплюнул.

— Ты что ж, не хочешь

отвечать... не хочешь  
исповедоваться? — поправился он.

Узник зашевелился, стал бормотать отдельные слова, длинные бессвязные фразы, обрывки из военных сводок, из каких-то прощальных разговоров. Много раз повторял имя Нати. Снова и снова какие-то бредовые приказы о внезапном нападении. Шею у него раздуло. Колодка, казалось, вот-вот задушит несчастного. Слова тонули в яростном хрипе.

Священник поднялся и вышел. Он не испытывал ни гнева, ни досады, ничего, кроме глубокого отвращения. Узник снова впал в беспамятство.

У дверей священника поджидал Чапарро.

— Отпусти его, — приказал управляющий, обливаясь потом и срывая с себя сутану. — Он совсем выжил из ума, хуже моей бабушки. Только время зря теряем.

— Покончить бы с ним прямо сейчас, — подсказал полицейский начальник. — Чего возиться! Он больше трясется в лихорадке, чем работает. А теперь, когда спятил, и вовсе толку от него не добьешься. Пусть будет урок остальным.

— Нет, — сказал Коронель. — Хорош урок — издеваться без зазрения совести над несчастным!

— Да просто из винтовки, чик

— и готово, — настаивал Чапарро.

— Сказано тебе отпустить! — оборвал Коронель. Его толстые губы на безбородом лице дрожали от гнева.

Все были удивлены.

Немного погодя Касиано Хара после двухнедельного заточения вышел из полицейского участка. Шея у него побагровела от колодки. Совершенно обессиленный, он брел, пошатываясь, и щурил глаза от яркого света.

Иногда Коронель, чтобы



развлечься, бренчал на гитаре и, «вспоминая былые времена», фальшиво напевал какие-то польки.

Этим вечером Коронель был в ударе. Играл вовсю, пытаюсь припомнить и воспроизвести новую песню, — он ее нетвердо знал.

Чапарро и остальные охранники, собравшиеся отпраздновать возвращение управляющего, подобострастно слушали его. Курусу подшучивал над историей с переодетым священником, который пришел к менсу, а тот лишился рассудка, пока сидел в участке. Полицейский начальник явно хотел сгладить дурное впечатление, которое

произвел днем на хозяина, старался обелить себя в его глазах. Но управляющий не обращал на него никакого внимания и упрямо продолжал перебирать струны.

Кувшин с фруктовым вином переходил из рук в руки, и собравшиеся в галерее мужчины по очереди наливали себе из него. Постепенно сгустившись, темнота словно струилась с потоками дождя.

— Вот, послушайте. Я выучил новую песню в Вилья-Энкарнасьон. Новехоньяка. Ее стали петь там, совсем недавно. Прямо-таки специально для нас придумана. «Песня менсу». Я ее не очень хорошо знаю, ну да как-нибудь спою:

Anivé angana, che  
compañero,  
ore korazó reikyti asy... [\[43\]](#)

В хриплом голосе звучала глубокая тоска. Видимо, певец вспоминал ушедшую молодость, ощущал бесплодность всей своей жизни, еще более пропащей, чем жизнь менсу. Он по нескольку раз повторял припев, путал слова, забывал их или добавлял от себя, совсем как невнимательный школьник.

— Нам делают рекламу! — сказал Чапарро. — Привлекают на плантации туристов!

Все расхохотались. Коронель потел над гитарой, орал до хрипоты, старался вспомнить песню, морщился и кривился, будто вот-вот расплачется.

Какая-то женщина, облокотившись на подоконник, разглядывала собравшихся и слушала пение. Длинные волосы разметались по плечам. Лица ее не было видно. В свете фонаря шевелилась ее тень, лежавшая у ног мужчин. Они украдкой посматривали на женщину, не решаясь подольше задержать на ней взгляд.

Она еще немного постояла и ушла.

Обрывки песни терялись в

темноте, исполосованной ливнем:

...ore korazó reikyti asy...

## 17

В пальмовой хижине Касиано опускается на колени и берет на руки плачущего ребенка. Он судорожно прижимает к груди теплый кусочек своей плоти. Рождение этого крохотного существа помешало побегу и заковало Касиано в колодку. «Не хочу, чтобы он родился здесь». А он родился именно здесь, на плантации; как эта песня. Ведь

песня могла улететь, но вот она звучит, срываясь с ненавистных губ.

— Младенец перестал хныкать. Нати крепко завязала пакет с припасенными в дорогу продуктами. Она все делает медленно, словно в ней борются два противоречивых чувства.

— Пошли! — торопит ее Касиано.

— А ливень, she karaí?

— Не важно! Пошли!

— Ради Кристобаля! Он же совсем кроха!

— Мы должны унести его, вырвать отсюда!

Женщина кивает головой, она заражена одержимостью, которая с

нечеловеческой силой сверкает в потухших глазах мужчины.

Они выходят друг за другом. Он несет ребенка и торопит мать: та все еще мешкает. Осторожно ступая, они делают большой круг, потом теряются в лесу.

Где-то позади пьяный голос коверкает песню:

...Oimé aveiko ore-kuera  
entero  
ore sy mirra jha ore valle  
jhovy... [\[44\]](#)

— Повеселились и будет! —  
сказал Коронель, поднимаясь.

Остальные тоже встали.

— Теперь развлекусь другой  
своей гитарой, — подмигнул  
управляющий не то злорадно, не то  
беспомощно, сверкая золотым  
зубом. — Пошли, покажу, какую бабу  
я себе привез.

Он вошел в дом, Чапарро и  
остальные остались ждать у двери.

— Флавиана! — позвал  
управляющий.

На пороге смежной комнаты  
показалась женщина. Покачивая  
бедрами, она медленно прошлась  
перед открытой дверью. Цветастое  
платье плотно облегалo фигуру. У нее



были длинные черные волосы, и, возможно, поэтому она казалась выше и крупнее, чем была на самом деле.

— Флавиана, я хочу, чтоб мои приятели. поглядели на тебя. Стань-ка вон туда. — Он показал на место под фонарем, свисавшим с потолка.

Она подошла поближе к освещенному кругу. Улыбка играла на ее толстых, почти негритянских губах. Глаза, вероятно, очень черные, сливались с полумраком.

— На этой гитаре у меня неплохо получается, — хвастался управляющий. — Эта всегда настроена на нужный лад, всегда держит строй, — расхваливал он

женщину, легонько тыча ей пальцем в живот. — Верно, Флавиана?

— Не знаю, — ответила та и тряхнула головой. По волосам пробежала золотистая рябь. Голос очень соответствовал ее внешности — мягкий, глубокий, чувственный.

Сгрудившиеся у двери мужчины замерли.

— Сними-ка платье. Я хочу, чтоб тебя оценили как следует.

Она продолжала невозмутимо смотреть на хозяина, думая, что тот шутит.

— Раздевайся, тебе говорят, — приказал визгливым голосом Коронель. — Догола. Тут все свои. Скидывай с себя тряпки.

И он дернул за платье с такой силой, что оно разорвалось на плечах. Обнажились груди. Женщина наклонилась, и волосы закрыли ей лицо. Соскальзывая вниз, платье ненадолго задержалось на крутых бедрах, потом упало, прикрыв босые ноги. Женщина стояла нагая.

## 19

Всю ночь они шли, почти бежали. Каждый раз, когда Касиано падал, Нати помогала ему подняться. Она вселяла в него силы, без усталости поддерживала его в этом безумном, безнадежном пути, пролегающем

через лес по тропинкам и просекам.

Заря постепенно слизала утренний полумрак, очертила силуэты мокрых деревьев и расцветила очищенное от туч небо. В ее сиянии четко обозначились две тени, убегающие от света и шлепающие по красным ручьям, которые оставил после себя ливень.

Когда они вышли на прогалину, до них донеслось пронзительное пение петухов. Касиано и Нати переглянулись. В глазах засветились одновременно надежда и страх.

— Слышишь, Касиано?

— Давно слышу, да только все не верилось.

— Видать, подходим к деревне.

— Нет, до деревни еще далеко.

— А петухи?

— Не знаю.

Касиано потупился; они чуть было не погибли. Нати тоже это сразу поняла. Они считали, что далеко ушли от плантации, а оказалось, что все это время кружили вокруг поселка Такуру-Пуку, словно привязанные к нему незримыми путами, словно околдованные злыми чарами. Теперь ясно, почему всю ночь лай собак то удалялся, приглушенный ливнем, то снова приближался, и всякий раз с другой стороны. Как и шум реки. Понятно также, почему им казалось, что покрытая водой и вязкая, как

резина, дорога никуда не ведет.

В своих планах они никак не могли предусмотреть, что будут плутать вокруг Такуру-Пуку. Такое им и во сне не могло присниться.

Но именно это, возможно, и спасало их сейчас: погоня наверняка ушла далеко, не задерживаясь в окрестностях поселка, куда ни один беглый не смел носа показать. Но собаки! Их так легко не проведешь!

Касиано и Нати бежали наугад от света, который все ярче разгорался: его приветствовал утренний шум, возвещавший наступление дня — их близкую гибель.

Они вошли в болото. После

ночного ливня вода сильно поднялась. Вязкая трясина колебалась под красноватыми потоками, оставленными проливным дождем.

Двое беглецов направлялись к видневшемуся впереди лесу.; Они брели по колено в грязи, дышали ядовитыми испарениями. Путники даже не пытались защищаться от москитов, тучами летавших в багряной дымке. Нати несла ребенка, укутанного в намокшие лохмотья, которые некогда служили ей накидкой.

Касиано шел впереди и прокладывал ножом путь в зарослях,  
— Здесь трясина! — простонала

Нати, представляя себе, как болото засасывает всех троих.

— Нет... Дно песчаное, — соврал Касиано, желая успокоить ее.

Они остановились возле небольшого островка, чтобы перевести дух. Среди густых зарослей выделялись молочай и подорожник. Нати с трудом удалось выдернуть несколько побегов. Касиано стоял по пояс в горячей смрадной жиже и удивленно смотрел на жену.

— Пошли, — сказал он.

— Надо взять с собой эти листья. Ими хорошо раны лечить.

В траве слышался треск, напоминавший шум



пересыпающихся в мешке костяшек. Касиано и Нати мгновенно переглянулись.

— Mboi chiní!<sup>[45]</sup> — прошептали они в один голос.

От страха мурашки побежали по спине. Конец короткой передышке. Нати инстинктивно подняла ребенка повыше, чтобы уберечь его от страшной твари. Она вообразила, как та поднимается, готовясь броситься на них. Касиано удалось было вытянуть ногу из засасывающей грязи, но он не удержался, упал, и вонючая жижа поглотила его.

Мгновение — и, кроме двух лопнувших на поверхности пузырьков, Нати уже ничего не

видела. Это мгновение показалось ей вечностью. Она прошла несколько шагов и, стараясь не замочить ребенка, стала шарить рукой в вязкой жиже. Но испачканный с ног до головы Касиано выбрался сам и, пошатываясь, подошел к жене; из ноздрей и изо рта у него текла грязь.

— Идем, идем, — еле выговорил он, отрывивая воду.

Они направились к опушке, шлепая по черному месиву. Красноватые удушливые испарения поднимались над болотом и растушевывали их силуэты.

Вода постепенно расходилась кругами возле лопавшихся пузырей; около островка остались лишь

оборванные стебли подорожника.

У разрушенной хижины яростно рычали собаки. Оскалив клыки, они обнюхивали убогое жилище, разбитое ударами прикладов и ног, рылись в разбросанном тряпье — тощие голодные боровы, а не собаки. Но, не найдя чем поживиться и поняв, что их надули, они снова превратились в гончих собак, которые чуют разлившийся по всей плантации запах беглецов, щекочущий их чуткие ноздри. Иссиня-черные морды тыкались в

брошенную одежду, в набитый тряпьем тюфяк, лежащий на циновке, который служил колыбелью новорожденному, в глиняную миску, в железный котелок с погнутыми краями. Собаки скулили, обнюхивая вмятину, оставленную человеческими телами. Люди исчезли. Под взглядом налитых кровью собачьих глаз эта вмятина вновь обрела плоть. Глаза молниями вспыхивали над черной влажной землей. Немного повыше, куда не долетали молнии, побагровели и вздулись запястья охранников — с такой силой собаки натягивали поводки. Лица тоже побагровели и вздулись. Особенно лицо

управляющего: он провел бурную ночь и выпил лишнего. Но больше всего его лицо побагровело от бешенства: он сам приказал снять колодку с этого менсу, даровал ему жизнь, а теперь тот сбежал.

Хуан Крус Чапарро злорадно поглядывал на управляющего.

Накричавшись до хрипоты на своих подчиненных, Агилео Коронель стоял, раскорячив короткие ноги, и только время от времени со зловещим видом молча сплевывал желтую слюну и угрожающе вертел во все стороны головой, сверкая золотым зубом. Коронель нарочно не закрывал рот. В минуты хорошего настроения управляющий любил

повторять, что стоит ему захотеть, и по золотой коронке побегут сигналы, словно это телеграфный аппарат. Сейчас Коронель отнюдь не был в добром расположении духа, но чувствовалось, что он ждет от зуба тайных указаний.

— Чего стоите, ослы? — вдруг истошно завопил он.

Охранники засуетились, поводки еще больше натянулись. Чапарро начал выкрикивать приказы, стараясь перекрыть лай собак.

— Идите на юг! Обшарьте весь берег! Они, конечно, захотят перебраться через реку! Ловера, пойдешь в Моромби, оповестишь каждый пост. Живо отправляйся!

— Слушаюсь, начальник, — отозвался тот, к кому обратился Чапарро.

Другие охранники побежали к полицейскому участку, где уже стояли оседланные лошади.

— Леги! — окликнул одного из них Чапарро.

Охранник в тростниковом сомбреро застыл на месте, потом быстро обернулся и подошел к начальнику.

— Мы с тобой двинемся к переправе через Мондай!

— Есть! — ответил тот, явно польщенный вниманием. У парня потрескались губы, и он едва говорил.

— Я сделал все, что мог, хозяин, — промямлил Чапарро, проходя мимо управляющего.

Коронель ничего не ответил и пошел в контору.

Вскоре вся земля Такуру-Пуку задрожала и огласилась винтовочной пальбой, собачьим лаем, дробным стуком копыт.

А в полицейском участке, закованный в колодку, томился часовой, который покинул свой пост и потихоньку подкрался к дому управляющего, чтобы разглядеть через окно голую любовницу Коронеля. Она же, заспанная, с опухшим пьяным лицом, со спутанными космами, вышла,



привлеченная шумом, на галерею и стояла там, не понимая, что происходит.

## 21

Собак тащили на юг, а они рвались на север, туда, куда вели следы беглецов, вслепую плутовавших вокруг поселка.

Охранники были сбиты с толку. Все складывалось не так, как они ожидали, — видно, в чем-то они просчитались. Собаки доходили до болота, в котором после ливня сильно поднялась вода, но там запах беглецов терялся в гнилостных

испарениях, и собаки снова возвращались назад. В третий раз их плетками погнали вдоль берега на юг в обход непроходимых топей.

Беглецы бесследно исчезли, как привидения.

## 22

Посреди лесистого островка болото соединялось с небольшой речкой. Касиано и Нати перешли ее вброд; напрасно они пытались найти место, где можно было бы передохнуть и почувствовать себя хотя бы в относительной безопасности. Наконец у излучины,

среди густо разросшихся водяных растений, они все-таки остановились: Касиано совсем изнемогал. Каждый шаг стоил ему нечеловеческих усилий. Лихорадка опять вцепилась в него и ни на минуту не отпускала.

Они сидели на толстых корнях ингового дерева, опустив ноги в стоячую глинистую воду. Над ними нависал трепещущий лиственный полог. Ребенок заплакал тихо-тихо. Плач словно доносился из-под земли. Нати, задыхаясь, дала младенцу грудь.

И тут они в первый раз услышали собачий лай в другой стороне болота. Притулившись к

черным скользким корням, обвившим его, как щупальца спрута, Касиано метался в лихорадочном бреду, скрипел зубами; тучи москитов облепили ему лицо. Тщетно Нати пыталась их отогнать. Ребенок замолчал и лишь таращился на отца, словно жалел его.

— Нас поймают...

— Нет, они уходят, *che karaí!* — невнятно бормотала Нати.

— Поймают, рано или поздно...

Где-то далеко снова раздался лай и смолк. Затем он слышался еще два раза через равные промежутки времени: собаки пошли в обход. Все стихло. Касиано очнулся, его знобило, корчило, бросало то в

жар, то в холод.

— Собаки... Слышишь, лают, проклятые!

Не выпуская ребенка из рук, Нати тесно прижалась к мужу, стараясь согреть его своим теплом. Палящие лучи полуденного солнца, скрытого от глаз зеленью, накалили сырой полумрак их убежища. Стало невыносимо жарко, и над головами людей, в потоках света, пробивавшегося сквозь листву, за клубился пар.

Теперь, когда приступ лихорадки прошел, Касиано захотел есть. Нати достала из узелка копченое мясо и протянула мужу, но тот с отвращением оттолкнул ее руку:

— Чарки мне осточертело!

Но голод все усиливался, и Касиано, оторвав наконец кусок мяса, принялся его жевать — сперва нехотя, потом с возрастающей жадностью, хотя искусанные губы вспухли и болели. Напоследок оба поели кисло-сладких волокнистых плодов инги.

Подкрепившись, Касиано нагнулся к бурой воде. Нати подумала, что он хочет пить, но Касиано зачерпнул пригоршню глинистой жижи и протянул жене: пусть она залепит ему язвы на плечах, изъеденных москитами. Потом он обмазался с головы до пят этой липкой тошнотворной грязью, а

потом велел Нати сделать то же самое и взял у нее ребенка. Нати отказалась:

— Зачем? Я же одета.

— Да это не только от москитов, — настаивал Касиано, — это и от собак... Надо перебить запах тела.

Больше его не трясло: мучительная лихорадка на время оставила Касиано в покое.

Нати наклонилась к воде, вытащила ком вязкой вонючей грязи, размазала ее поверх одежды и привычным движением, словно крася стену своего дома, натерла глинистой кашей руки, ноги и лицо. Только грудь осталась чистой.

Теперь Касиано и Нати напоминали ряженных, отправляющихся на праздник святого Балтазара. Они походили на негров, которые крадут белого ребенка для исполнения ритуальных танцев.

— Надо идти, надо идти, — упорно твердил Касиано.

— А куда? — упавшим голосом спросила Нати.

Касиано и сам не знал. Он не понимал, где они находятся. Может, эта речка — приток Параны, а может, она ведет в другое болото — кто его знает. Он раздвинул плотную завесу листьев и, щурясь от слепящего яркого света, внимательно посмотрел на солнце.



— Оно сядет там... — пробормотал он, указывая в сторону, противоположную реке. — Пойдем на запад. Может, доберемся до Мондая. Берег Параны наверняка охраняется. Пойдем лесом... — И Касиано осекся: на солнце лихорадка снова принялась его трепать, он задыхался.

— Пошли, — глухо выдавил он.

Они покинули свое убежище и вошли в сельву — две бесприютные тени в лохмотьях, измазанные зловонной жижей. Их глаза беспокойно бегали по сторонам, отыскивая выход из чащи. Тень, идущая впереди, держала в руке мачете и раскачивалась, словно в

ритуальном танце, другая плелась сзади, прижимая к груди притихший теплый кусочек человеческой плоти.

## 23

И вот двое — мужчина, с трудом удерживающий в руке мачете, и женщина, через силу несущая ребенка, — опять пытаются совершить невозможное. Они бредут туда, где заходит солнце.

Ни голод, ни жажда, ни истощение, ни усталость — ничто так не мешает им идти, как закравшийся в душу страх. Он оглядывает большими глазами каждый куст,

прислушивается тысячью ушей к каждому шороху, он непомерно растет и уже не вмещается в них. Они бредут по болоту, которое чавкает под ногами и издает гнилостный запах; под шипение ядовитых змей перебегают от островка к островку, тщетно пытаясь вырваться из цепких лап трясины. Кругом они видят только свой собственный страх и грозные призраки, порожденные им. Они идут, как в бреду, как в ночном кошмаре. Перед ними возникает фигура Коронеля на огромном буланом жеребце. Призрак то появляется среди зарослей, то снова исчезает. Под сомбреро зловеще

поблескивает яркая точка — золотой зуб.

Им мерещится полицейский начальник верхом на мустанге, охранники, галопом летящие над черной водой. Вот они прочесывают лес, грохот их винчестеров разрывает воздух. Галлюцинации у беглецов, вероятно, различные, но страх одинаков, как одинакова их судьба.

Женщина идет следом за мужчиной. Она несет на руках большой сверток, временами из-под этой груды тряпья доносится тихий детский писк.

Порой, вконец измотанные, они, задыхаясь, падают на землю и подолгу лежат, не глядя друг на

друга, — каждый боится удвоить своим страхом страх другого. Потом они встают и продолжают бесконечный путь.

Часы сменяются часами, день дважды сменился ночью, и ночь дважды сменилась днем, а они все еще бредут в этом кошмаре. Они не помнят, когда он начался. Может, они идут сквозь вечность. И теперь не знают, действительно ли они удаляются от Такуру-Пуку или продолжают вслепую кружить вокруг плантации — поселка мертвецов, вокруг этой огромной воронки, прикрытой сельвой, где над каждой могилой поет петух.

Лошадь Хуана Круса Чапарро шла крупной рысью. Следом ехал охранник Леги в сомбреро. Единственный глаз полицейского начальника шарил по заросшей тропе.

— Видать, они уже успели перебраться через Парану, — недовольно протянул Леги. — Кто ж станет прятаться здесь? Почему мы не едем в Лас-Пальмас?

— Не нуди! — рявкнул полицейский начальник, не отрывая взгляда от прелых листьев на тропе. — Тут вроде бы свежие следы.

— Не вижу никаких следов, —

возразил охранник.

— Смотреть надо, рохля.

— Хоть бы собак с собой взяли.

Вдруг они переглянулись и начали прислушиваться: им почудился детский плач.

— Похоже, ребенок плачет, — сказал Леги и сплюнул сквозь зубы.

Но почти одновременно раздалось свистящее рычание. Оно как бы возникло из самого плача, словно хотело заставить забыть о нем, заглушить его своим пронзительным звуком.

— Yaguareté![\[46\]](#) — закричал Чапарро, выхватывая из кобуры револьвер и стараясь определить, с какой стороны доносится рычание.

Съезжившиеся среди колючек мужчина и женщина слышат голоса своих преследователей и рычание зверя. Черные застывшие лица искажены страхом.

Женщина прижимает рот ребенка к пустым грудям. Сквозь скрывшие беглецов кусты им виден ягуар, притаившийся среди веток мимозы. Он рычит, оскалив острые клыки, и вот-вот кинется на них.

Они между двух огней. С двух сторон — хищные звери. Пускай уж лучше разорвет ягуар.

Светятся зрачки в темной листве. Нервно вздымаются



пятнистые бока. Бьет по ним короткий, скрученный кольцом хвост. Теперь две светящиеся точки прикованы к всадникам: там опасность.

Полицейский начальник тоже замечает ягуара. Он пришпоривает лошадь, а та, учуяв запах хищника, встает на дыбы.

— Но-о-о, но-о-о, старая кляча! — цедит Чапарро сквозь зубы и вонзает ей шпоры в бока.

Он вытягивает вперед руку с зажатым в ней револьвером, не спеша прищуривает свой единственный пепельный глаз, который словно приближает к нему предметы, и прицеливается. Прыжок.

Выстрел. И смертельно раненный в голову ягуар падает в нескольких шагах от лошади Чапарро. Последний раз дергается и затихает, задрав кверху дрожащие лапы.

— Вот это да! — восхищается Леги, подъезжая ближе, и сплевывает сквозь зубы на тушу. — Стоило промахнуться, и он бросился бы на нас.

— Я никогда не промахиваюсь, — самодовольно говорит Чапарро, дуя на затвор револьвера. — Бери его. Хоть что-то раздобыли.

Худой человек в широкополой шляпе медленно спешивается. Он подходит к ягуару и тычет его ногой,

словно перед ним непотухшая головешка, которая, того и гляди, разгорится, если ее не загасить.

— Да бери его, трус несчастный! — кричит полицейский начальник.

Охранник заторопился, будто его подхлестнули ремнем. Он с трудом поднимает за лапы пятнистую тушу и привязывает ее к седлу. Ремень соскальзывает, и охранник вынужден прибегнуть к лассо. Он раздраженно затягивает несколько петель, вымещая на мертвом звере закипевшую в нем злость: полицейский начальник обругал его. Тяжелая туша неподвижно висит на боку у лошади. Только голова

болтается.

— Давай поехали, Леги! — снова кричит Чапарро, поворачивая к тому месту, где только что им грозила смерть. Он направляется в поселок по извилистой заросшей тропе.

Охранник вскакивает в седло и яростно вонзает шпоры в лошадиные бока. О его ногу бьется мертвая голова с обнаженными клыками. На землю капает кровь.

Касиано и Нати прижимаются к колючим веткам. Они никак не могут

опомниться. Какой странный поворот в их судьбе! Полицейский начальник вступил в единоборство с ягуаром, чтобы спасти им жизнь. Все еще не веря самой себе, Нати отнимает руку, закрывшую рот почти задохнувшемуся ребенку. Тот начинает орать. Нати понемногу приходит в себя. Оцепеневший Касиано бредит наяву. Его мутные глаза блестят, но не от лихорадки. Нати кормит грудью ребенка и с грустью смотрит на мужа. Душу его сжигает адово пламя. Может, это пройдет?

— Скоро, Нати, — шепчет Касиано. Глаза горят мертвым огнем.

— Что с тобой, *che karaí*?

— Скоро поезд отправится!

— Какой поезд? — В ее голосе

слышна щемящая тоска.

— Завтра падет Асунсьон.

— Касиано!

— Будем биться не на жизнь, а на смерть! — упорно продолжают срываться с разбитых губ бредовые слова.

— Да, — не осмеливается перечить Нати.

— Будем бороться за клочок земли! За нашу землю!

— Да.

— Чтоб они перестали издеваться над нами. Мы — люди, а не куклы. — Он все больше возбуждается. — Там заправились!

Уничтожим их!

Нати пододвигается к Касиано и проводит рукой по жалкому, похожему на маску лицу. Голова его склоняется к ней на плечо.

27

К вечеру они добрались до реки. Оба припали к воде и долго пили, как пьют животные. Нати узнала это место. Здесь они переходили реку вброд по дороге на плантацию. «Мы туда ненадолго», — вспомнила она слова Касиано. В ту пору она еще не знала, оправдаются ли эти слова.

Беглецы смыли присохшую

грязь, и маски превратились в человеческие лица. Нати выкупала сына как раз там, где когда-то им запретили купаться охранники.

Теперь Касиано глядел на мальчика и молчал.

Нати долго возилась с отсыревшими спичками, купленными в магазине компании, наконец ей удалось развести огонь, потом она достала из узла кружку и заварила в ней снадобье для Касиано. Она хозяйничала так, словно находилась на кухне своего ранчо, а не под обрывом у реки. Нати взяла мачете, вошла в воду и добралась до виктории-регии. Они поели цветочных луковиц. Потом все трое



уснули в шалаше, который Нати соорудила из веток.

На заре ее разбудил металлический звон.

Сначала она подумала, что цокают копыта. Сквозь просветы между ветвями шалаша она разглядела повозку, запряженную волами, которые пили у брода. Над головами волов дрожала палка с железным наконечником, под ней тихо звякали колокольца.

Нати поднялась и побежала к вознице просить, чтобы тот подвез

их, если он едет в какую-нибудь деревню. Она не сразу заметила его. Он сидел в пустой повозке, уронив голову на грудь, и, видимо, спал. Он был очень стар, глубокие морщины избороздили все лицо. Нати пришлось почти кричать, чтоб он ее услышал.

— Куда путь держите, отец?

Насколько она разобрала, старик ответил, что едет в Итакуруви. У нее сжалось сердце. Итакуруви — горная деревушка недалеко от Сапукая. Может, она плохо поняла старика. Говорил он невнятно, старческий голос напоминал шелест ветра или журчание родника.

— Двое нас, мой муж да я.

Сыночек с нами. Подвезете? — прокричала она.

Старик охотно согласился. Только теперь она разглядела его глаза. Лучистые, почти ребячьи, они никак не вязались с глубокими морщинами, замогильным голосом и медлительностью древнего старца. Но сейчас Нати было не до того. Старик ей понравился. На нем не лежало клеймо плантации, и этого было достаточно.

Она пошла разбудить Касиано. Тот уже ждал ее, стоя на коленях и прильнув лицом к веткам шалаша.

— Дед Кристобаль пришел за нами, — бормотал он в странном возбуждении.

Тут только Нати сообразила, что старик действительно очень похож на деда Касиано.

— Идем!

Она подняла ребенка и помогла подняться Касиано. Он покорно повиновался ей, хоть его и пошатывало. Потом с помощью мачете Нати разрушила шалаш и взяла с собой охапку веток, чтобы постелить их вместо матраца для Касиано.

Над повозкой была натянута коровья шкура. Нати не видела, как старик ее прилаживал, поэтому решила, что он этим занимался, пока она сворачивала маленький бивак. А может, шкура была натянута с самого

начала и она просто ее не заметила. Похоже, что старик за все это время не сдвинулся с места.

## 29

Повозка со страшным скрипом выехала из-под обрыва. Тощие волы — один пятнистый, другой темный едва плелись, но неумоимо тащили упряжку. Поля, леса, долины медленно уползали назад. Скрипели оси то на высоких, то на низких нотах, жалобно взвизгивая при каждой остановке.

Три дня повозка кружила по дорогам, три дня несмазанные

колеса оглашали окрестности скрипучими воплями, словно хищные птицы, а палка с железным наконечником аккомпанировала им напевным звоном привязанных к ней колокольцев.

Повозка останавливалась только затем, чтобы животные и люди напились у бродов или в съесту укрылись под листвой, а еще она останавливалась на ночь, хотя старик, видно, никогда не хотел ни спать, ни отдыхать, ни есть, ни тем более разговаривать. За всю дорогу Нати так и не услышала его голоса. Иногда она смотрела на него и находила, что он и вправду удивительно похож на покойного

деда, а может, ей так чудилось только потому, что она смотрела на него глазами Касиано. Нати все больше и больше беспокоилась о муже.

Эта поездка стала ей казаться сном.

Монотонно звякают колокольца, монотонно поскрипывают оси, но какие разные звуки! Вот сидит впереди старик и странно молчит, а на охапке веток, на дне повозки, лежит Касиано, смотрит в щели между досками, как уходит назад земля, и тоже странно молчит, но совсем иначе, чем старик.

Из-под коровьей шкуры Нати видит уплывающее небо, то ясное, то в облаках, видит, как меняется его

цвет от утра к вечеру. Иногда ей чудится, что четверо мертвецов катятся в гробу на колесах. Когда ребенок плачет от голода, она дает ему грудь, не поворачивая головы и продолжая смотреть на изменчивое небо, которое раскачивается над ними при каждом толчке.

Они поднялись и спустились по багровым склонам Каагуасу. Наутро четвертого дня старик показал рукой вдаль. Касиано и Нати привстали. Впереди открылась сияющая долина Сапукая, посреди которой высился холм Серро-Верде. Они различили деревню около железнодорожного полотна, почерневшие развалины, остатки мятежного эшелона,



вырытую бомбами воронку, вокруг которой копошились люди — крохотные муравьи.

Старик жестом дал им понять, чтобы они слезли с повозки. Нати и Касиано были настолько взволнованы, что даже не смогли поблагодарить его.

Повозка поехала дальше и скрылась за поворотом дороги.

Они спустились в деревню. Касиано шел впереди как замороженный, солнце жгло его покрытую рубцами спину. Вскоре они добрались до первых домов. Люди смотрели на них безучастно.

— Пошли в Коста-Дульсе, домой, — умоляюще протянула Нати.

Касиано, казалось, не слышал ее. Он продолжал оцепенело идти вперед, полностью покорившись безумию, которое, подобно осколку бомбы, вошло в его мозг в последний день на плантации.

Нати беспрекословно следовала за мужем. Она только догадывалась, как лихорадочно блестят его глаза. В конце заброшенных путей, среди сломанных, обожженных пулеметным огнем деревьев стоял вагон. Он был разрушен меньше остальных.

К нему они и направились.

# ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## Очаг

### *1*

Грузовик долго тарахтел по негрунтованной ухабистой дороге, которая петляла среди хлопковых полей и плантаций сахарного тростника. Лигах в трех от деревни шофер круто свернул в сторону и повел машину к лесистому островку, где находились гончарни. Мы только что миновали лепрозорий. Прокаженные стояли в дверных проемах ранчо или лежали под

деревьями и, приподняв свои изуродованные головы, хрипло кричали нам вслед:

— До свиданья, Кирито! [\[47\]](#)

Кристобаль Хара приветливо махал им рукой.

— Кто это такие? — спросил я.

Он не ответил. Наверное, не слышал меня. Я оглянулся. Голые ребятишки с огромными вздутыми животами неслись за грузовиком и пронзительно кричали, как подбитые птицы.

Сидевший сзади нас маленький толстяк строил им смешные рожи. Потом вынул из кармана несколько галет и стал бросать на дорогу.

— Налетай, детвора, налетай! —

крикнул он.

Пузатые ребятишки бросились к обочине и кубарем покатались по песку, выхватывая друг у друга галеты.

Среди других ранчо я увидел круглую бревенчатую хижину, выстроенную когда-то русским врачом, который незадолго до своего загадочного исчезновения основал здесь лепрозорий. Я вспомнил Доктора так четко, словно только вчера его видел. Разъяренные пассажиры кричат, что он украл ребенка, и выталкивают его пинками из вагона. Доктор разбивает в кровь колени о красный земляной перрон станции Сапукай.

Вон его дом. Стоит как ни в чем не бывало. Правда, почернел и покрылся чешуйчатой коркой, какой от времени обыкновенно покрывается древесина. Хозяин исчез, дом остался. Никто не знает, где теперь Доктор. Вокруг теснятся ранчо, в которых свила себе гнездо страшная болезнь. Прошло много лет, но оставшиеся в живых прокаженные и по сей день ждут возвращения своего благодетеля. Их беззащитность, их дети, родившиеся и выросшие среди больных, и это маленькое селение отверженных, злокачественной опухолью вздувшееся на спине соседней деревин, среди редкого леса, — вот

доказательства их преданного ожидания.

Я вдруг подумал, что в каждом ранчо наверняка хранится как реликвия изрубленная топором статуя— из тех, что Доктор обезглавил накануне своего исчезновения из этих краев, столь же удивительного, как и его появление здесь.

Машину сильно тряхнуло, и я отвлекся от своих размышлений.

— Говорят, прокаженные иногда приходят по праздникам в деревню. Это правда?

Мой спутник опять не обратил на меня никакого внимания или просто не расслышал.

Еще до того, как проехать лепрозорий, мы миновали кладбище. Какая-то женщина выпалывала сорную траву вокруг крестов. Ей помогал светловолосый мальчуган с голубыми глазами.

— До свиданья, Мария Регалада! — крикнул ей толстячок.

Грузовик долго бросало на ухабах. Наконец мы подъехали к расчищенной среди кокосовых пальм прогалине. Она была вся исполосована старыми и свежими колеями, — вероятно, грузовик приезжал сюда часто. По другую сторону лесистого островка я увидел большой соломенный навес гончарни, печь для обжига кирпичей



и устройство для размягчения глины. На неравном расстоянии друг от друга возвышались затвердевшие, похожие на камень, холмики сухой растрескавшейся грязи. Подъехавший грузовик спугнул сидевшую на них стаю ястребов. Птицы разлетелись в разные стороны, лениво разрезая крыльями воздух.

Ни огня, ни дыма, ни шума. Гончарни Коста-Дульсе теперь бездействуют: воды нет, засуха.

Водитель выключил мотор и спрыгнул на землю. Толстячок сполз с грузовика, как гусеница с ветки. Кристобаль Хара буркнул ему что-то похожее на приказ, а мне жестами дал понять, что теперь нужно идти

пешком.

— Дальше не поедем? — указав на машину, спросил я упавшим голосом. Меня пугала жара.

— Это ж река Кааньябе, — объяснил толстячок. — Не проехать.

Мой проводник пошел вперед. Я взял с сиденья снятый в пути ремень с револьвером. Толстячок пристально глядел на меня, не скрывая любопытства. Надев ремень, я спросил:

— Вы не идете?

— Нет, я остаюсь. Посторожу немного... — Он замялся, как будто пожалел о своей привычке болтать лишнее, которая взяла верх и на этот раз.

— А что тут сторожить?

— Э... грузовик, — бухнул он первое, что пришло на ум.

Я догнал проводника. Это мне удалось не без труда. Растрескавшаяся глинистая земля, покрытая слоем высохшей на солнце селитры, и острая, как бритва, ломкая трава под пологом густой пыли говорили о том, что в этом обычно сыром месте сейчас совсем нет воды.

Наши тени, постепенно уменьшаясь, ползли следом и скоро исчезли под босыми ногами проводника и моими собственными, обутыми в армейские башмаки.

Говорил он мало и неохотно, к испанскому языку прибегал редко. Отвечал односложно, не поворачивая головы, сосредоточенно глядя перед собой. На ярком свету щурились его глаза — две узкие щелки, два симметричных рубца поблескивали на лице.

От моего проводника я узнал только, как его зовут и некоторые подробности этой странной истории с полуразрушенным бомбами вагоном, который, как мне говорили в деревне, чудом катился по полям.

Пока мы ехали по тряской дороге на принадлежавшем

гончарням грузовике, я пытался развязать язык водителю, нарушить его упорное молчание. Дружески похлопывал его по плечу, неумело льстил, задавал наводящие вопросы, — словом, прибегал ко всем нехитрым уловкам, которые люди обычно пускают в ход, чтобы расположить к себе собеседника. Я даже упросил его пригубить каньи из моей фляги. Но он упрямо молчал и, казалось, приберегал разговоры для другого случая. А пока что его рот кривился в горькой усмешке, Похожей на издевку. Но нет, это была скорее всего невольная улыбка, которую вызывало переполнявшее его молчание.

Когда мы с ним отдыхали в тени деревьев у речки, он обмолвился о рельсах из кебрачо, которыми, очевидно, пользовались, чтобы докатить до леса этот вагон, вернее, искалеченную развалину из железа и дерева. Больше мне ничего не удалось выудить у моего проводника. Крепко сцепив пальцы, он вытянул костлявые руки и с какой-то нарочитой, удручающей медлительностью стал передвигать их по земле. А я представил себе, как наводят мост. Потом вдруг вспомнил свой провал на экзамене по организации тыла и транспорта на последнем курсе военного училища — неуместная ассоциация, просто

нелепая после всего, что произошло.

А может, я неверно истолковал его движения, усмотрев в них намек на деревянные рельсы, может, этим он хотел выразить нечто совсем другое. Когда он говорил, его подбородок упирался в колени, а взгляд был устремлен туда, где над кустарником дрожал мутный рассеянный свет.

— Как же все-таки катили вагон? — выпытывал я.

— Понемножку, — ответил он, едва шевеля губами.

— И долго?

Он окинул свои руки оценивающим взглядом. Должно быть, хотел, как принято у туземцев,

показать на пальцах пять или десять месяцев. Возможно, лет. Или просто размышлял, как бесконечно много сил заключено в человеческих руках.

— И здесь его провозили?

Он смущенно молчал, почесывая ногтем заскорузлую пятку. Вот все, что я сумел из него вытянуть. Вероятно, он уже сказал все или больше ничего не знал.

Речка, даже пересохшая, казалась мне действительно непреодолимым препятствием. Грузовик и тот не смог бы здесь пройти, что ж говорить о вагоне, который должен был перебраться через нее без моста, да еще, возможно, в глубоком месте.



— Кааньябе часто пересыхает?

— Главное русло — никогда. А это только рукав Кааньябе.

— Засуха длится долго?

— Долго.

— Поэтому и не работают гончарни?

— Да.

На песчаном дне блестели отполированные водой камни и валялись облепленные муравьями скелеты рыбешек.

Я подумал о судьбе реки. Прокаженные пили из нее, купались в ней. Она была единственным бальзамом для их язв, единственным зеркалом, в которое они гляделись. Сейчас рукав высох. А бывало, он

стремился к главному руслу. Беспечно бежал мимо деревень. Там, в его излучинах, пили воду и купались здоровые люди, прачки из Акаая и Карапегуа стирали белье.

Вот так, наверно, катился и вагон. Равнодушный к живым и мертвым. Я вдруг посмотрел на Кристобаля Хару. Он, конечно, не думал ни о речке, ни о вагоне, хотя что-то его все же занимало. Но он молчал, видимо выжидая особой минуты для разговора.

Вдруг под обрывом из норы высунулась мордочка броненосца. Я подождал, пока он покажется весь, выхватил револьвер и спустил курок. Броненосец отпрянул в сторону и

сразу же затих. Я подобрал окровавленного зверька и положил в сумку.

Мой проводник встал и снова отправился в путь. Заглубившие ступни царапали землю — пара расплющенных броненосцев, только не окровавленных, как тот, что лежал в сумке. Мне ничего не оставалось, как плестись следом за проводником. К его потной, испещренной рубцами и шрамами спине прилипли лохмотья. Ему не было и двадцати лет, а сзади его можно было принять за старика. Вероятно, шрамы сбивали с толку. Или молчаливость придавала ему замкнутый, нелюдимый вид даже со спины, и он казался грузным и

вместе с тем по-юношески гибким.

Много часов подряд шли мы под палящим солнцем, продираясь сквозь высокую траву и отгоняя слепней. От одной кокосовой рощи к другой, от одного лесистого островка к другому, то в одну сторону свернем, то в другую, так что трудно было сказать, сколько лиг мы уже прошли. Ни единой живой души, ни единой повозки, ни даже стертого следа на дороге, затерявшейся среди зарослей мимозы и агавы. Только ярко-белый, слепящий свет застыл над черной землей, мешая разглядеть, где кончается лес.

Напрасно я напрягал зрение. Так далеко мой взгляд проникнуть не

мог.

Я перестал понимать, где осталась деревня, с какой стороны находятся гончарни, где лепрозорий, где русло притока Кааньябе. Я начинал подозревать, что проводник нарочно заставляет меня проделывать лишний путь. Не хочет, чтоб я запомнил дорогу? Или надеется получить с меня больше денег? Кто его разберет. Может, дорога и в самом деле так петляет.

Трудно было себе представить, как мог пройти вагон по этой

высохшей, изрезанной буераками равнине, которую зимние ливни и разливы реки превращали в болото. Трудно вообразить, как он катился по обломкам деревянных рельсов, даже если его тащила упряжка волов, даже две, три, четыре упряжки, даже если его толкала дьявольски упорная воля человека, который не успокоился до тех пор, пока не поставил свое жилище на колесах в чаще леса, пока не спрятал его там — не украсил им сельву.

Но факт остается фактом. Теперь, когда я шел за безучастным проводником и перед глазами у меня маячила лишь его спина в шрамах, а под ногами расстилалась земля, тоже

иссеченная шрамами, когда надо мной шершавым листом асбеста распласталось помутневшее от зноя небо, пожалуй, я мог себе представить тот неправдоподобный путь, который проделал вагон по равнине. Путь непостижимый и бессмысленный, по крайней мере, на первый взгляд.

Я мог представить себе человека, который терпеливо выбирал участки поудобнее, укладывал деревянные рельсы, запрягал волов, пойманных в поле или на пастбище. Я мог представить себе, как, орудуя длинной палкой с железным наконечником, он погоняет изнуренных животных,

стараясь, чтобы за недолгие ночные часы воли перетащили на небольшое расстояние эту скрипучую развалину. Он понукает их тихим, хрипловатым голосом, он смотрит глазами безумца. Во взгляде застыло спокойное отчаяние. Он трудится и под палящим солнцем, и под проливным дождем, и в зимние холода. Он с головой ушел в работу, которая превратилась в навязчивую идею. А рядом с ним женщина. Она заражена одержимостью мужа, подчинена исходящей от него чудовищной силе, которая сродни добродетели, похожа на отвагу, напоминает инстинктивную мудрость обреченности. Женщина



делит с мужем все тяготы долгой дороги, заботится о нем, печется о грудном ребенке, об этой родившейся на плантации и вырвавшейся оттуда человеческой личинке, об этом крохотном существе, чьи дни отсчитывают нестерпимо медленное вращение колес. Мальчик подрастает, становится юношей, мужчиной, напрягает молодые силы, толкает вместе с родителями сквозь годы и расстояния тряскую искаленную развалину, но не наследует отцовского безумия. Ведь и дети прокаженных не всегда обречены на мучительный недуг, так же как дети здоровых не всегда заражаются проказой, ибо неисчерпаемы

защитные силы человека; подчас их даже хватает, чтобы одолеть болезнь, на первый взгляд неизлечимую.

Все это можно понять, если немного расшевелить воображение.

Я знаю эту историю, вернее, то немногое, что только и можно знать из любой истории, не пережитой лично.

Но я совершенно не понимал, как могло остаться незамеченным движение вагона по равнине. Это безостановочное черепашее движение должно было привлечь к себе внимание. Видимо, человек заразил своим безумием не только жену, но и многих людей вокруг, иначе как же вагон беспрепятственно

двигался по полю? Никто не попытался его задержать: ни политический начальник, ни судья, ни священник, ни кто-либо другой, имеющий власть в округе. (Возможно, поэтому и говорили о нечистой силе.) Доноса какого-то телеграфиста оказалось достаточно, чтобы сорвать план повстанцев и вызвать ужасную катастрофу, а тут все как онемели! Начальник станции, железнодорожные инспекторы, бригадиры, разные должностные лица помельче — мог же кто-нибудь из них поднять тревогу! Но нет — никто ни слова. Странная близорукость. И ведь не день и не два это продолжалось! Ну как тут не

заподозрить заговор или, по крайней мере, нечто вроде всеобщего молчаливого одобрения, кстати, такого же безрассудного, как и само движение вагона. Конечно, вагон уже пришел в полную негодность, собственно, не вагон, а куча ржавого железа и гнилого дерева. Но опять-таки факт, как бы он ни был абсурден, остается фактом: вагон, не останавливаясь, двигался вперед, постепенно удалялся и, наконец, совсем исчез, поправ законы собственности, все меры предосторожности, бросив вызов здравому смыслу.

Паника, бегство, смерть сотен людей, погибших во время

чудовищного взрыва, отравили сознание не то страхом, не то безразличием, нанесли рану, которая крайне медленно затягивалась, подобно воронке от бомбы. Иначе нельзя объяснить, почему никто не заметил, что вагон начал сам по себе передвигаться, или почему никто не придавал этому значения. Казалось бы, пустяк: движется вагон. Но это событие было чревато многими последствиями. Ночь трагической катастрофы длилась более двух лет и не скоро еще сменится зарей для жителей Сапукая, раздавленных, придушенных, повергнутых в тупое, злобное оцепенение, в какое впадает изнасилованная женщина.

Иначе нельзя объяснить, каким образом мужчине, женщине и ребенку, после того как они совершили дерзостный побег с плантации и, пройдя долинами мук и смерти, наконец вернулись сюда, удалось укрыться в вагоне, превратить его в семейный очаг, в жилище и медленно катить по полям, да еще так, чтоб никто не заметил.

Чаще всего мужчина и женщина работали под защитой двойной темноты: их прикрывали черные крылья безлунных ночей и окружала черная стена гнетущего оцепенения. Работали они, разумеется, и в бурю, и в ливень, и в холод. Теперь известны действительные или

выдуманнные подробности того, как протекала их работа.

Древесной смолой они приклеили к осям светлячков, чтобы лучше видеть, не сошли ли колеса с рельсов. Я живо представляю себе, как торжествующе улыбался человек при виде вращающихся колес, которые подмигивали в темноте светящимися точками. Может, эти дерзкие огоньки и породили слух о нечистой силе, которая катила вагон.

Днем он казался неподвижным — движущейся казалась земля. Она будто скользила, как во время медленных оползней.

И все-таки вагон исчез.

Но две линии уходящих в поле





рельсам. А уже в лесу мужчине, женщине и ребенку, вероятно, помогали разные бродяги, беглецы и даже прокаженные из основанного русским доктором лепрозория. Они толкали вагон в надежде хоть ненадолго разделить с хозяевами это подобие крова, воспользоваться этим своеобразным очагом, который вслепую блуждал по равнине, но победоносно, отважно и яростно толкал перед собой призрак спасения, был символом храбрости и таинственности, что тоже, кстати, обязывало помощников не болтать лишнего.

Домыслы, предположения, искаженные отголоски. Может, на

самом деле все было гораздо проще. Теперь этого уже никак не узнать, хотя бы потому, что прошло двадцать лет. Остались лишь следы, тени, сбивчивые слухи. Вагон, к которому я сейчас шел за проводником, единственным человеком, знающим к нему дорогу, и был одним из призрачных следов этой истории. Я никак не ожидал, что найду его, я просто не верил в существование этого осколка мифа, осколка легенды, похороненного кем-то в лесу.

Раскаленный воздух обжигал затылок. Сумка с убитым броненосцем оттягивала плечо. Она пропиталась кровью зверька и моим потом. Я раздраженно схватил зверька за короткие чешуйчатые лапы и, взмахнув им над головой, отшвырнул далеко в сторону. Он упал в заросли, и звук падения напомнил короткое «ух», которое издают лесорубы, всаживая топор в дерево. Кристобаль Хара поднял голову, и узкие щелки его глаз посмотрели на меня не то понимающе, не то насмешливо. Он всегда так смотрел.

Мы вышли на тропу. Вечерело, но в листве еще кипел зной. Я остановился на минуту, пытаюсь

сориентироваться. Вытащил пистолет из кобуры — пусть будет наготове. Проводник обернулся ко мне. Его лицо повторяло в миниатюре окружающий пейзаж. Тот же цвет сухой пыли. Та же холмистая равнина. Даже завитки жидкой бороды повторяли форму трещин, избороздивших землю. Он еще раз взглянул на меня. Вероятно, подумал, что я струсил или не доверяю ему. Теперь выражение насмешливой отчужденности, загнанное в углы рта, стало отчетливей. А может, ничего этого не было. Просто скучающий вид. Скорее бы добраться — и дело с концом.

Он был не только шофер, но и

проводник. Водил с ведома хозяина к гончарням Коста-Дульсе богатых бездельников, когда тем приходила в голову блажь взглянуть на оставленный в лесу вагон. Хозяин гончарен сам давал своему шоферу возможность слегка подработать, особенно теперь, в засуху, когда он, хозяин, большую часть времени проводил в лавке, пропивая деньги, вырученные от последних партий кирпича.

Кристобаль Хара выполнял обязанности проводника с тем же равнодушием, с каким делал все остальное. Возможно, он не понимал, что торгует тем, что, подобно мертвому часовому,

охраняло среди леса память о безумной мечте. Или понимал по-своему и гордился, показывая эту бесполезную святыню, кровно с ним связанную, как я потом узнал.

Об этой связи я смутно догадывался уже в то утро, когда Кристобаль и его приятель пришли за мной на постоялый двор, где я снимал комнату. Хозяйка этого заведения, болтливая толстуха, знаменитая няня Лоле, возродила в Сапукае своего рода матриархат, безраздельно властвуя над всеми приезжими.

Я поселился в деревне недавно и, естественно, ни с кем не договаривался о поездке в лес. Но ко

мне в комнату вошел какой-то увалень и разбудил меня. В темноте все же удалось разглядеть, что у него большая голова и пухлые щеки. Двигаясь на ощупь, он обогнул кровать, подошел к изголовью и прошептал прямо в ухо:

— Пошли. Кирито вас ждет.

Затем сам отправился в кухню за мате. Я слышал, как в коридоре «цыпочки» нья Лоле кокетничали с ним. Одни называли его Гамарра, другие — Полметра. Это прозвище ему очень подходило.

Из комнаты нья Лоле донеслась брань, и девицы разбежались. Немного погодя Полметра снова вошел ко мне с мате. Посасывая

бомбилью<sup>[48]</sup> я не спеша одевался. Во рту все еще чувствовался горький привкус каньи после ночной пьянки с незнакомыми мне завсегдатаями заведения; голова болела, и мне не хотелось ни о чем расспрашивать толстяка.

Во дворе нас ждал грузовик, старый облезлый форд. Коряво написанная табличка сообщала название гончарен и фамилию их хозяина. Под самым верхом еще более корявыми зелеными буквами было начертано изречение на гуарани.

Я устроился рядом с шофером, и мы тронулись. По дороге я завернул в полицейский участок и сообщил о



непредвиденной поездке. Мне необходимо было это сделать, иначе власти могли подумать, что я скрылся, едва успев прибыть в деревню.

Чистый утренний воздух подействовал на меня освежающе. Мне казалось, что я впервые вижу Сапукай. Как и в далекую ночь моего детства, когда мы спали на разрушенной бомбами станции, деревня странно волновала меня.

— Где была старая станция? — спросил я проводника.

Он показал на пустырь между новой станцией и железнодорожными мастерскими. Там все еще торчали почерневшие

камни. На этом месте двадцать лет назад ночью во время первой поездки в столицу я примостился возле Дамианы Давалос между двумя обломками стены и вместе с другими пассажирами ждал посадки: ее отложили до утра. Далекая ночь, плывшая над вырытой бомбами огромной воронкой, из которой, казалось, выползала грузная тьма, живет во мне и поныне. Ненадолго вышла луна, но черная бездна тут же поглотила ее снова.

Я лежал на еще теплых от вечернего солнца камнях, рядом с прачкой, которая спала, прижимая к себе ребенка. Долго лежал, но никак не мог уснуть. Я придвинулся к ней

поближе — тогда сон и вовсе пропал. Мягкое женское тело тревожило зреющего во мне мужчину. Где-то звучал скрипучий голос старика, без конца рассказывавшего малейшие подробности катастрофы. А когда замолкал старик, я слышал воркованье, хихиканье и приглушенные стоны молодой парочки, спрятавшейся по другую сторону разрушенной стены. Их колени все время ударялись об нее. Никак было не заснуть. Я прижимался к Дамиане Давалос. Она тоже вздыхала и ворочалась с боку на бок. Там, в темноте, меня — голодного, напуганного, растерянного — мучали чувства,

которых я до этого еще ни разу не испытывал, но о которых смутно догадывался. Я высосал до последней капли молоко из груди Дамианы, обокрал спавшего у нее на руках больного ребенка, да и мужа ее, сидевшего в тюрьме, предал. Там же, в ночной темноте, у разрушенной стены, как вор или святотатец, я подглядел бесприютную горькую любовь.

И, возможно, в то же самое время в пальмовой хижине на далекой плантации мате вот этот Кристобаль Хара, который шел сейчас рядом со мной, этот теперь уже рослый, сильный мужчина, первыми детскими криками требовал

материнского молока, а в полицейском участке вздувалась и пухла шея его отца, сдавленная деревянной колодкой. Через двадцать лет после той ночи, после долгих хождений по мукам мне представился случай рассмотреть реальный след истории, связанный со мной не более чем сон, но в которой я, как во сне, продолжал участвовать.

Я сплюнул табак и пошел по совсем уже заросшей тропе. Приходилось то и дело расчищать себе дорогу мачете.

Когда крестьянское восстание 1912 года было практически подавлено, поддерживавшие его воинские части после беспорядочного отступления собрались и укрепились в недавно выстроенной деревне Сапукай. Зловещее пламя кометы озарило рождение этой деревни, а через некоторое время ее жители уже готовились принять боевое крещение.

Капитан Элисардо Диас убедил свой полк, стоявший в Парагуари, поддержать крестьянское восстание и принял на себя командование повстанцами. Они захватили станцию и стоявший там в полной

боевой готовности эшелон. В их руках была только железная дорога — последняя возможность попытаться напасть на столицу. В таком безумном предприятии лишь внезапность нападения могла дать какую-то надежду на благополучный исход, внести смятение в правительственные войска. Надежда эта была очень слабая, но у повстанцев не было выбора. Как ни верти, их ожидала верная смерть.

Капитан Диас отдал приказ об отправлении эшелона в ночь на первое марта. Кроме полка, выступило более тысячи наспех вооруженных крестьян-добровольцев.

В торжественной речи перед солдатами мятежный командир напомнил, что в конце Великой войны, на Серро-Кора, защищая родную землю, погиб маршал Лопес. Капитан привел этот исторический факт как пример служения долгу, как образец героизма.

— Мы тоже, — призвал он, — должны победить или умереть!

Касиано Хара поднял на восстание человек сто пеонов из гончарен Коста-Дульсе. Большею частью это были запасники, проходившие в свое время военную службу в регулярных частях. Касиано недавно женился на Нативидад Эспиносе. Возле гончарен у них был



посажен небольшой огород на казенной земле. Нати выращивала овощи, Касиано работал на резке и обжиге кирпичей. Он, ни секунды не колеблясь, пошел сражаться против политиканов и военщины, которые держали в руках столицу и высасывали соки из всей страны. Касиано без особого труда убедил односельчан в правоте своего дела. Разбившись на отряды, они все до одного явились к отважному капитану регулярной армии, так непохожему на остальных военных, к человеку, который не побоялся выступить на защиту угнетенной бедноты. Диас принял их как брат, а не как командир. Посвятил в план

операции, назначил из их числа сержанта — парня с гончарен, энергичного, расторопного Касиано, ставшего его правой рукой.

Подготовка к этому выступлению, равносильному самоубийству, закончилась быстро.

А в это время телеграфист со станции Сапукай нашел способ тайно передать в столицу зашифрованные сведения о готовящейся операции и даже о часе отправления эшелона. Командование правительственных войск, в свою очередь, не замедлило принять меры. На станции Парагуари до отказа загрузили мощными бомбами паровоз и тендер. В назначенный час

паровоз пустили на всех парах по единственной колее, проложенной у подножья холмов, пустили с таким расчетом, чтобы смертельный удар пришелся на середину пути, то есть немного подальше станции Эскобар.

В последний момент у повстанцев возникло непредвиденное осложнение, которое и усугубило катастрофу. Сбежал их машинист, и отправка эшелона задержалась. В ту безлунную ночь вся деревня пришла проводить мятежников. На станции и прилегающих к ней улицах царила лихорадочная атмосфера прощания, всюду толклись и сновали люди. Девушки целовали солдат, старухи

протягивали им кувшины с водой, лепешки, табак, гроздь бананов, апельсины. Вдоль всего состава звучали боевые песни, то и дело слышались крики: «Земля и свобода!» Мощный хор охрипших голосов подхватывал этот страстный призыв, будораживший тихую мартовскую ночь.

Вдруг послышался грохот, перекрывший крики и приветствия. Пыхтящее чудовище, захлебываясь паром и выплевывая огненные искры, подползало к станции. Толпа разом умолкла, но наступившую тишину тут же поглотило нарастающее гроыхание паровоза. Еще несколько секунд — и страшный

взрыв, взметнув в небо гигантский огненный султан, разорвал в клочья мирную ночь.

Итак, образовавшуюся воронку нужно было обязательно заполнить. За двадцать лет глубокая рана заросла новой плотью, обросла новыми людьми, новыми событиями. Жизнь берет свое, ей нет дела до прошлого. Через Сапукай снова стали ходить поезда, станция раз в неделю превращалась в единственное место развлечений для местных жителей, и тревожные паровозные гудки больше не внушали им ужаса.

Но не у всех короткая память, не все умеют забывать.

Через два года после той искалеченной взрывом ночи Касиано Хара со своей женой Нативидад и сыном вернулся с плантации мате. Сначала он бежал туда из родных мест, потом бежал оттуда в родные места. Круг замкнулся. С тех пор домом ему служил вагон, тот самый, который взрывом отшвырнуло в конец запасного пути с такой силой, что впоследствии он вместе со своими обитателями продолжал двигаться, а по некоторым слухам — лететь. Словом, после описанной ночи, в то время когда какой-то рассеянный каптенармус одним

росчерком пера занес Касиано Хару в список погибших при взрыве, он, Хара, вместе с женой и сыном только начинал свой долгий путь в мир живых. Три крохотных муравья взвалили на себя глыбу из дерева и металла и потащили по жаждущей влаги, растрескавшейся равнине.

Теперь я шел за сыном Касиано. Видел перед собой его спину, исполосованную рубцами, видел живое движущееся существо из плоти и крови, в котором обрела свое продолжение история призраков. Немыслимая, не постижимая история. Наверное, поэтому она и не кончилась, что была немислимой и не постижимой.

Вагон неожиданно появился на прогалине, где я меньше всего ожидал его увидеть. Мне стало не по себе.

В косых, просачивающихся сквозь листву лучах он медленно надвигался на нас, одинокий и неправдоподобный. Сначала я увидел колеса — они почти до половины утонули в высокой траве, затем большие темно-лиловые бревна, которые были подложены под колеса, чтоб помешать вагону погрузиться в поросшую травой топь. На колесах громоздилось некое сооружение, источенное временем и затянутое



мхом и плющом. Лес упорно хотел удержать эту махину в своих цепких объятиях, не менее упорно, чем когда-то хотел перетащить ее сюда сержант. Сквозь разбитые взрывом стены прорастали широкие листья крапивы. Я увидел изъеденные ржавчиной тамбуры, бронзовые поручни, покрытые струпьями плесени, зияющие дыры окон, затканые паутиной. В углу этой развалины и сейчас виднелась почерневшая горделивая надпись.

Кончиком ножа были выцарапаны крупные корявые буквы: «Сержант Касиано Амойте. 1-я рота. Битва за Асунсьон».

Имя изменено не полностью,

словно не до конца подернуто тиной забвения. Вместо Хара — Амойте, что по-индейски значит «находящийся на расстоянии», но не просто удаленный, а пребывающий за пределами досягаемости во времени и пространстве.

Вот все, что осталось от борца, который состарился и умер здесь, мечтая о несостоявшейся битве за горсть земли и крупицу свободы для своих ближних. Ему так и не довелось начать эту битву, но мысль о ней преследовала его до могилы.

Я залез в тамбур — поднялось облако пыли, раздался дребезжащий звон. На лицо налипла паутина. Меня тянуло войти в зеленоватый

полумрак. Я вошел.

Со стен свисали огромные осиные гнезда, воздух был наполнен сонным гудом, пропитан едким, дурманящим, сладковатым запахом, который исходит от всего того, что не поддается разрушительному действию времени, судьбы, смерти. Я вдруг почувствовал в груди странную пустоту. Разве мое сердце не пустой вагон, давящий на меня своей тяжестью и населенный лишь призраками, отголосками мнимой битвы? Я с раздражением отогнал от себя эту мысль: она пристала старой деве, но не мне. Что за отвратительный сплав цинизма с чувствительностью! Вечно он

подмешивается ко всем моим поступкам, даже самым незначительным! А пристрастие к громким словам! Действительность всегда гораздо красноречивее слов.

Над обломками скамеек плавали пористые столбики сверкающих пылинок, словно и воздух в вагоне стал пористым, как кора пробкового дерева. Мои руки нащупывали остатки различных предметов и понимали их немую речь. На бывшем карнизе лежал женский гребень. На банке из-под керосина — огарок свечи, рядом — огрызок сала, тоже черный, заплесневелый. Вероятно, тут сержант Амойте, все более и более недосыгаемый, набрасывал

план битвы, неумолимо вносил в него поправки. Душная тишина окутывала меня и все вокруг. Я напряженно думал о Касиано, пока голос проводника не заставил меня вздрогнуть:

— Они ждут вас. Хотят поговорить.

— Кто?

От неожиданности во рту у меня появился горький привкус.

Проводник не ответил. Он обмахивался тростниковым сомбреро и равнодушно разглядывал меня. Впервые я увидел целиком его лицо. Мне показалось, что у него тусклые глаза бутылочного цвета. «Глаза матери», — подумал я и, сжимая в

руке пистолет, спустился вслед за ним с противоположной стороны тамбура.

Человек пятьдесят ждали нас, стоя полукругом в высокой траве. Завидев меня, они все вместе выкрикнули приветствие. Я машинально поднес руку к полям сомбреро, словно отдавал честь перед строем.

Один из собравшихся, тот, что был повыше и поплотнее остальных, подошел ко мне и сказал:

— Я Сильвестре Акино. — Голос звучал дружелюбно, но твердо. — А это — мои товарищи. Люди из разных рот, но все из этой деревни. Мы попросили Кристобаля

Хару привести вас сюда. Хотим, чтобы вы нам помогли.

Я растерянно стоял, как перед судьями, обвинявшими меня в преступлении, о котором я не имел ни малейшего понятия, да и просто-напросто не совершал.

— Какая помощь вам от меня нужна?

Сильвестре Акино ответил не сразу:

— Мы знаем, что вы — военный.

— Да, — неохотно подтвердил я.

— И что вас сослали в Сапукай.

— Да.

— И что они вас чуть не расстреляли, когда в военном

училище раскрыли заговор<sup>[49]</sup>.

Я смотрел по очереди на каждого из них — грубо высеченные, худощавые лица деревенских жителей, неутомимых тружеников, в большинстве своем, вероятно, неграмотных, но твердо знающих, чего они хотят; лица, озаренные каким-то внутренним светом.

Обо мне им было известно все. Мои ответы оказались излишними.

— Вы могли поехать в ссылку в другое место, но выбрали здешние края.

Я подумал, что они знают, пожалуй, все, кроме причины такого выбора. Ее-то они не знают. Впрочем, как и я сам.



— Скоро революция начнется по всей стране, — продолжал Сильвестре Акино. — Мы формируем здесь повстанческий отряд и хотим, чтобы вы были нашим командиром. Нашим инструктором, — поправился он.

— Я нахожусь под наблюдением полиции. Полагаю, что и это вам известно.

— Да. Но вы можете иногда ходить на охоту. Охотиться они вам не запретят. Хара будет привозить вас на грузовике.

Наступила длительная пауза. Сотня глаз оглядела меня с головы до ног.

— У вас есть оружие?

— Для начала немного есть, а придет время — нападём на полицейский участок.

Руки сжимались, кулаки висели над коленями твердыми комьями сухой грязи. Руки, как и лица, — цвета здешних болот.

— Что вы нам ответите? — решительно спросил тот, который назвался Сильвестре Акино.

— Не знаю. Дайте подумать.

Но уже в тот момент мне было ясно, что рано или поздно я соглашусь. Начинался следующий круг, и я снова попадал в него. Я смутно догадывался о том, что заранее на все готов. Разве можно оставаться в стороне?

Я вернулся в вагон и подошел к Крестобалю. Он стоял, прислонившись к разбитой замшелой стенке. Двадцатилетний парень. Или столетний. Он пристально смотрел на меня. Красные осы гудели над ним. Душно пахло древесной смолой. Над лесом сгустились сумерки.

Я спустился на землю.

— Пошли, — сказал я ему.

# ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

## Празднество

### *1*

Мальчик повозился с засовом и медленно, словно ему было не с руки, приоткрыл кладбищенскую калитку, — он, очевидно, хотел проскользнуть незаметно. Скрип калитки напугал его. Он замер, рука цепко ухватилась за перекладину. Бойкие голубые глаза мальчика стреляли по сторонам.

Тихая солнечная съеста убаюкала ветвистые казуарины, и

они дремали, покачиваясь во сне. На проселке не было ни души, только по лесу сновали легкие тени зверьков.

Мальчик смотрел на ранчо, полускрытое апельсинными деревьями. Под навесом появилась женщина и махнула мальчику рукой, приглашая его войти. Он приободрился, сдунул со лба прядь, которая лезла ему в глаза, и снова принялся открывать калитку. Теперь он действовал еще осторожнее. Засов лязгнул. Мальчик, быстро схватив брошенные наземь узелок и кирку, прошмыгнул на кладбище.

Он петлял между могилами, сбивая киркой бурьян, а когда добрался до густых зарослей

кустарника, напустил на себя деловой вид, будто поглощен работой, и направился прямо в дальний угол кладбища, глубоко вдыхая запах цветущего черныбыльника.

Между могильными крестами в тени ветвистого лавра крепко спал человек. Мальчик остановился подле спящего и молча смотрел на него, не решаясь разбудить, а может, считая, что перед ним мертвец, только что выкопанный из земли или, наоборот, еще не погребенный. Наконец он позвал его, совсем тихо, словно и впрямь обращался к покойнику:

— Кирито!

Ему пришлось повысить голос и

дважды окликнуть спящего.

Человек вскочил, мгновенно стряхнул остатки сна, растерянно заморгал глазами, зеленоватыми, как плесень, которая облепляет днище каноэ, и с беспокойством уставился на мальчика:

— Чего тебе, Алехо?

— Мама прислала поесть.

Мальчик протянул ему узелок: миску, завязанную в тряпицу, через которую пробивались струйки пара.

Тот замахал руками, отказываясь от угощения.

— Здесь немного йопары, и все, — сказал мальчик.

— Зачем ты принес это сюда? А вдруг бы тебя увидели? Думаешь,

поверят, что ты мертвецов подкармливаешь?

Усталые глаза мальчугана опечалились. Он потупился и принялся сбивать ногой чахлую крапиву.

— Мама надеялась...

— Я же сказал, чтобы она мне ничего не присылала. И так у нее куча неприятностей из-за того, что она меня спрятала.

— Надо поесть, Кирито. Ведь ты уже два дня ничего не ел.

Мальчик снова протянул узелок. Кирито неохотно взял его. Алехо вытащил из обоих карманов по апельсину и отдал их. Кирито развязал узелок. В помятой жестяной



миске дымилась фасоль с мясом. Сверху лежала ложка и несколько лепешек из маниоки. Кирито накиннулся на еду.

— Разузнали что-нибудь? — спросил он с набитым ртом.

— Сильвестре и остальных арестованных сегодня увезли на поезде, надели на ноги кандалы и увезли.

— А куда, не слышали?

— Нет. Наверно, в Парагуари, потому что конвоиры были оттуда.

— Всех отправили?

— Всех, кто жив остался.

Кирито пристально посмотрел на мальчика. Жестяная ложка звякнула о зубы.

— Наши им принесли поесть, так солдаты даже близко их не подпустили. Боялись, что разговоры заведут.

Мужчина с жадностью проглатывал куски; лицо его невольно омрачилось.

— Я с матерью ходил на станцию, — продолжал мальчик без ребячьей гордости, — видел арестантов. У Сильвестре вся нога была в крови, а они ему все равно кандалы надели. Вместе с Гамаррой заковали. Я им бросил апельсин, угодил прямо в ноги. Когда поезд тронулся, Сильвестре с Гамаррой, наверно, разделили его и съели.

— Что ты еще узнал? — спросил

Кирито, глотая непрожеванные куски.

— Ходят слухи, будто тебя в лесу ищут. Вчера вагон сожгли. У реки до сих пор дымок виднеется. Говорят, прежде чем запалить, они всю землю вокруг перекопали. Думали, наверное, там оружие зарыто.

Кирито опять растерянно заморгал; ложка на мгновение повисла в воздухе. Он недовольно поморщился, как будто ему в лицо пахнуло гарью от сожженного вагона. Но никакой гари не было, — над фасолью стоял мутный и жирный пар.

. — В деревне тебя искать бросили. Уже все дома обшарили.

Клето Родаса по ошибке убили. Он прятался в колодце, они его там и пристрелили. Говорят, за тебя приняли. Несколько раз кричали: «Сдавайся, Кристобаль Хара! Все равно тебе крышка!» Вытащили Клето из колодца уже мертвого, глянули, а это не ты.

— Еще что знаешь? — нетерпеливо требовал мужчина.

— Кто-то сказал, что вокруг лепрозория часовых поставили.

— Вот где бы мне укрыться! — пробормотал Кирито так, будто разговаривал сам с собой. — Хоть бы ненадолго, пока солдаты отсюда не уберутся!

— Сегодня утром мама

прокаженным еду носила, так говорит, часовые ходят вокруг лепрозория, но близко подойти боятся.

— Ясно, к прокаженным они не сунутся.

— Тебе туда не пробраться, Кирито, — твое лицо им знакомо. Сразу же опознают и схватят.

— А ты не знаешь, проселок охраняется?

— Пока нет. Они тут всю округу прочесали, только сюда не заглядывали, — мальчик обвел рукою кладбище, — им ни в жизнь не догадаться...

— Ладно, что еще? — буркнул мужчина, выскребая ложкой фасоль

из миски.

— Мама рассказывала, что в управлении собираются устроить праздник.

— Праздник? — Восковое лицо Кирито снова передернулось, зеленоватые, словно распутившиеся почки, глаза заблестели.

— Праздник для офицеров эскадрона.

— И когда же будет этот праздник? — помолчав, спросил он.

Известие его явно оживило.

— В субботу вечером.

— Стало быть, завтра.

— Ага, завтра.

Кирито задумался, а мальчик, не смея нарушить молчание, не сводил с

него любопытных глаз.

— Алехо, скажи матери, чтобы прислала мне что надеть. Я пойду на этот праздник.

— Да ведь там же солдаты! — воскликнул недоверчиво мальчик. Уж не шутит ли Кирито?

— Ну и что?

— Chake га'е![\[50\]](#)

— А матери только про одежду скажи, чтобы прислала, больше ни слова. Там видно будет. Надо же мне отсюда выбраться.

Мальчик рассеянно посмотрел на заросли бамбука и вдруг быстро вскочил на ноги.

— Смотри, Кирито!

Беглец                      метнул                      цепкий,

настороженный взгляд в ту сторону, куда указывал Алехо. По дороге крупной рысью скакали трое всадников с винтовками на ремнях. Солдаты болтали и перекидывались шуточками. Временами слышался смех и звяканье длинных сабель, бьющихся о стремяна.

Застыв неподвижно в кустах, Кирито и Алехо следили за солдатами. Те не могли их заметить на таком расстоянии, но мужчина и мальчик не знали, куда направляется и чем займется этот веселый патруль. Спрятав измазанную миску и ложку, Кирито нырнул в высокую траву, подымавшуюся над старой осевшей могилой, и исчез из виду, будто



земля, разверзшись, поглотила его.

Мальчик, став на колени, принялся рвать траву, стараясь отвлечь внимание солдат, но те проскакали мимо, даже не взглянув в его сторону.

## 2

А в двух лигах от кладбища на земляном полу полицейского участка лежал другой человек. Сквозь неплотно прикрытую дверь просачивалась узкая пыльная полоса света, которая падала человеку прямо на грудь и делила его тело на две темные половины. Его лицо было

обращено к стене, почти касалось ее; всклокоченные волосы слиплись от пота. Человек был разут; его ноги не походили на ноги крестьянина. В пучке света, падавшего на руку, сжатую в кулак на груди, отчетливо обозначались тонкие фаланги пальцев и голубоватые вены.

Спиной к свету стояли двое мужчин — один из них в военной форме — и пристально смотрели на простертого перед ними человека. Ноги в сапогах, изрядно поношенных и заляпанных высохшей грязью, нервно стучали и шаркали по полу; ноги в гетрах выжидательно замерли поодаль. Раздался скрипучий, хриплый голос военного,

старавшегося не выдавать своего раздражения:

— Повторяю в последний раз — вы играете со смертью. В ваших же интересах рассказать нам все, что знаете, и дело с концом.

Человек, разрезанный светом на две темные половины, не шелохнулся. Только сжатая в кулак рука приподнялась и опять упала на грудь.

— Лейтенант Бера, — негромко сказал офицер, — надеюсь, вы меня поняли. — И он коснулся лежащего на полу кончиком сапога.

— Я ничего не знаю, — только и сказал тот, даже не повернув взлохмаченной головы.

В бесстрастном голосе не чувствовалось ни страха, ни возмущения — скорее полная апатия, граничащая с отчаянием.

— Вы отлично знаете, о чем я вас спрашиваю. Нечего прикидываться непонимающим, вы этим ничего не выиграете. Вы же сами обо всем рассказали прошлой ночью. — И, повернувшись к человеку в штатском, он бросил: — Верно, сеньор?

— Конечно, капитан! Не знаю, чего он артачится и не открывает нам всю подноготную. — Он наклонился над лежащим. — Простой ночью, в заведении Матиаса Сосы, вы здорово надрались, но самое главное я из вас

вытянул.

— Мало ли что пьяный наговорит. Пустая болтовня. — Слова узника, лежащего лицом к стене, прозвучали очень глухо.

— Тем не менее вы сказали правду, — проворчал капитан. — Не следует ли отсюда, что в пьяном виде вы заслуживаете большего уважения, чем в трезвом? Вас посадили в участок потому, что уличили в крамольных планах. А не вы ли присягнули свято блюсти законы нашей страны и воинский устав? Вы, Мигель Бера, кадровый офицер, воспитанник военного училища. — Капитан распалялся все больше. — Так-то вы исполнили свой

гражданский и солдатский долг? Вы связались с головорезами, которые задумали погубить и разрушить эту мирную деревню! — Он с трудом взял себя в руки — Еще хорошо, что надумали их выдать!

— Я никого не выдавал, — снова раздался безжизненный голос, который, казалось, доносился из-за кирпичной стены.

— Нет, вы их выдали. Но ведь вы только выполнили свой долг, — добавил офицер, как бы подбадривая арестанта.

— Я был пьян...

— Ничего подобного! — закричал офицер. — Пьяные врут! А все, что вы мне рассказали,

оказалось чистейшей правдой. Отряд бунтовщиков действительно существовал! И вы сами вызвались руководить этими бандитами, согласились обучить их боевой тактике и даже изготовлению взрывчатки. А это уже тяжелейшее преступление!

— Вы отправились в лес, сказав, что идете на охоту, и обманули меня, а я головой отвечаю за ваше поведение, — снова вмешался политический начальник. — Еще хорошо, что в пьяном виде...

— Нет! — бросив на говорящего выразительный взгляд, оборвал его офицер. — Он не был пьян, и он не доносчик. Мне хочется думать, что

он просто искал способ оправдаться перед своей совестью.

Лежавший на полу человек невнятно забормотал.

— Что? Вы что-то сказали?

Человек молчал, не желая повторять и объяснять свои слова, если он вообще их произнес. Рука, сжатая в кулак, сползла на бок. Освещенная солнцем грудь тяжело вздымалась, из-под расстегнутой грязной рубахи выглядывало изможденное тело.

— Не знаю, почему вы отказываетесь понять, что я пришел сюда, чтобы по-дружески вам помочь. Мы должны найти смягчающие обстоятельства,



облегчить ваше положение, пока еще не поздно. Я не убежден, что военный трибунал станет умалять вашу вину.

До них снова донеслось нечленораздельное бормотание, но узник не шевельнулся, и только грудь медленно поднималась и опускалась под узким солнечным лучом, в котором плясали пылинки, колеблемые человеческим дыханием.

— Вам бы лучше не отмалчиваться, лейтенант Бера, — многозначительно произнес политический начальник. — Самонадеянность не доводит до добра. Вы нам уже показали змеиную голову, так что же вы

прячете в кармане хвост?

— Нам нужно точно знать, кто связан с этим логовом бунтарей. Если вы его создали собственными руками, так уж наверняка знаете...

— Я ничего не знаю.

— Но вы должны знать хотя бы, где скрывается этот беглец. Не мог же он сквозь землю провалиться! В последний раз мои люди видели, как он, прячась за дохлой лошадью, прикрывал отступление своих товарищей. Наведите нас на его след! Этот Кристобаль Хара питал к вам особое доверие. Скажите, где он.

— Я ничего не знаю... Оставьте меня в покое, — снова повторил арестант все тем же бесцветным

голосом, с едва приметным оттенком горечи и отвращения.

— Вы негодяй! — прошипел капитан. — Я отдам вас в руки военного трибунала, и тогда поглядим, как вы станете изворачиваться!

Он прищелкнул каблуками и вышел. Политический начальник засеменил следом. Солдат задвинул засов, и узник остался наедине с собою в полутемной камере.

Карательный отряд неумоимо продолжал розыски. Три дня назад

захватили последнюю группу повстанцев, которые, спрятавшись в гончарных печах, сопротивлялись, пока не кончились патроны. Их всех перестреляли. Среди чудом оставшихся в живых был Сильвестре Акино, глава заговорщиков: пуля ему прошила ляжку. Его зверски мучили, истязали, даже разыграли сцену расстрела, но ничего путного из Сильвестре не вытянули.

После этого конный эскадрон не один раз прочесал заболоченные низины и сельву Кааньябе; солдаты обшарили всю местность на несколько лиг вокруг вагона, где было устроено потайное гнездо бунтовщиков. Обугленные останки

вагона все еще дымились посреди леса.

Возле железного остова, который теперь и в самом деле походил на мертвого часового, поставили стражу. Время от времени полицейские оцепляли болото, образуя настоящие кордоны, пока солдаты шныряли по дорогам и их лошади взбивали копытами пыль. В ранчо Коста-Дульсе все было перевернуто вверх дном, и только в смрадные хибары прокаженных каратели не решались вторгнуться. Их они прощупывали на расстоянии. Офицеры, стоя на постах, окаймлявших лепрозорий, не отрывали глаз от биноклей.

Бунтовщики, загнанные, как скот, в товарный вагон, были уже в пути. Но каратели неумолимо продолжали поиски того единственного смельчака, который совершил неслыханно дерзкий поступок, ускользнув из их когтей и тем самым бросив тень на блистательную операцию конницы из Парагуари.

Каратели старались развязать языки старикам, женщинам и ребятишкам, работавшим в гончарнях и на полях, — угрожали, сулили им деньги и продукты. Но никто ничего не знал, или, вернее, никто не хотел разомкнуть губы, накрепко спаянные новой ненавистью, всколыхнувшей

застарелую злобу. Она была  
разожжена чудовищными  
зверствами, которые напоминали  
расправу 1912 года, еще не успевшую  
забыться; тогда крестьянское  
восстание было подавлено пулями,  
нынче, как и в тот раз, пулями снова  
уничтожали повстанцев на болоте.

Деревенские домишки опять  
сровняли с землей. Все перевернули,  
все поставили с ног на голову.  
Каратели обыскивали церковь,  
дотошно осматривали коррали,  
колодцы, каждый водоем. Казалось,  
они гонятся за драгоценной добычей,  
искусно спрятанной общими  
усилиями заговорщиков, а не ищут  
человека, обычно сидевшего за рулем

тряской развалины, которая принадлежала хозяину гончарен. Хозяин ничего не знал о заговоре.

Теперь дона Бруно Менорета видели пьяным чаще обычного. Каждый божий день его можно было встретить в заведении Матиаса Сосы, где, широко расставив ноги, он сидел на стуле и заплетающимся от хмеля языком сетовал на то, какой убыток этот мятеж нанес его предприятию. Командиру эскадрона удалось из него выудить лишь сведения, известные всем.

— Сами поглядите, генерал, — упрямо бубнил каталонец, произнося особенно отчетливо твердое «л».

— Капитан... капитан



Мареко, — раздраженно поправил его собеседник.

— Да вы не сердитесь, капитан, я вас разом на целых три чина повысил... Все равно вам их скоро дадут. Будьте здоровы! — И дон Менорет сделал вид, что пьет залпом воображаемый стакан вина. — Вот так-то, капитан... А этот Кристобаль Хара был славный малый, уж вы мне поверьте! Таких работников, как он, днем с огнем не сыщешь. Все у него в руках спорилось. Прямо не знаю, как его угораздило связаться с бунтовщиками. Знаете, сюда часто приезжали туристы и разные богатые бездельники, чтобы поглазеть на вагон; Кристобаль их возил на

грузовике в лес и показывал эту штуку. Парень просто хотел малость подработать и делал это с моего ведома. Мне и в голову не приходило, что он занимается крамольными делами. Двадцать лет назад отец Кристобаля — Касиано Хара своими руками притащил в лес этот вагон. Он вроде памятки о прежнем восстании. Вы тогда были совсем мальчишкой, но наверняка слышали об этой заварухе. Вагон — местная достопримечательность. До сих пор все гадают, как этому сумасшедшему Касиано удалось припереть в лес такую громадину. Иностранцы охотно транжирят деньги, только бы поглядеть на знаменитый вагон, и

ясно, что сыну Касиано было лестно им его показывать. Не мог же я ему это запретить!

— Но меня-то интересует только одно: возил ли Кристобаль к вагону того офицера, который тут жил в ссылке? — нервно перебил его бледный толстогубый капитан. Он провел немало бессонных ночей, и поэтому глаза у него налились кровью. Разыгравшиеся события сильно взбудоражили капитана Мареко. Понимая, что власть в его руках, а солдаты готовы выполнять любое его приказание, он по-мальчишески хорохорился и распалялся.

— Возил, да, как же! Думаю

только, с ведома политического начальника. Думаю, что так. Да и сам лейтенант рассказывал о том, что затеяли на болоте эти парни. А почему бы вам его самого не спросить? Политический начальник тоже слышал об этом... За этими сведениями вы и пришли сюда? Но я ничего не знаю, да и откуда мне знать? Я человек деловой и в такие передряги никогда не вмешиваюсь.

Капитан резко встал и выбежал из кабачка. Он, конечно, подозревал, что каталонец нарочно прикинулся в стельку пьяным, чтобы поиздеваться над ним. Одним махом Мареко вскочил на горячего буланого коня и помчался галопом к полицейскому

участку.

Около гончарных печей стоял пустой грузовик. Он стоял на том же самом месте, где его бросили вечером накануне стычки с карателями. На дверце чья-то рука криво нацарапала горделивую надпись:

*Гончарни «Надежда»*

*Сапукай*

На краю кабины красовалась другая надпись; буквы были тоже кривые, точно их писали пальцем:

**Mbaevé tida cheapural...  
avavé nda cheyokol...[\[51\]](#)**

Казалось, это название и складное изречение, начертанное на брошенной развалине, которая стояла меж сараев и опустевших строений, посреди унылого болота с кочками подсохшей грязи и канавами, напоминавшими лунные кратеры, были придуманы в шутку, всем на удивление или на потеху играющим мальчишкам. Так и мерещилось, что из-за этих кочек сейчас вынырнет смеющееся лицо водителя. Но присутствие в кабине двух солдат из нового пополнения,

которые сонно клевали носом, зажав ногами винтовки, рассеивало это впечатление и придавало всей картине что-то зловеще-погребальное. Нерасседланные лошади, привязанные плетеными лассо к гуайявам, щипали блеклую траву и громко фыркали, стараясь избавиться от набившихся в ноздри лесных клопов.

— Не знаю, сколько еще нас тут будет мурыжить начальство, из-за прокаженных даже в речушке не искупаться, — заметил один из новоиспеченных солдат, запуская пятерню под фуражку и отчаянно расчесывая голову; при каждом его движении висевшая на боку длинная

сабля со звоном ударялась о металлический корпус кабины.

— Этот пеон дал деру, капитан и бесится, — ответил другой. Сквозь прорехи на гимнастерке выглядывала безволосая грудь. — Он прямо как сквозь землю провалился, даже следов его не найти.

— А нам за него отдувайся!

— Наш капитан только что новый чин получил, вот и хочет себя показать.

— Да мы их уже всех поймали. Чего ему еще надо?

— Этот парень ловко его провел. Потому он такой злющий.

— Да, из-за этого малого придется нам повертеться. Его



поймать будет труднее, чем девяносто бунтовщиков.

Пальцы солдата так и ходили в черных жестких волосах. Сабля по-прежнему тихонько позвякивала о кабину.

— А он, наверное, давно уж в Альто-Паранй. Там много бунтовщиков собралось. Выжидают время, чтобы всем гуртом подняться.

— Да там же наши части. Небось уже все их бунтарские норы обстреляли. Забыл ты, что ли, — на юг для подкрепления отправили еще один эскадрон нашего полка.

— Значит, там этого парня и сцапают, — вяло, словно нехотя, отозвался солдат в рваной

гимнастике. — Поймают его, это как пить дать. И чего мы тут копошимся?

— А как же? Наш эскадрон — лучший в Парагуари. Вот капитан и злится. Обязательно хочет поймать бежавшего бунтовщика. Слыхал, что он вчера говорил: какой-то жалкий пеон — и чтоб от нас улизнул!

— Капитан Мареко из хорошей семьи, окончил военное училище. Поэтому такой гордый!

— Он тут будет гордиться, а у меня от седла весь зад в мозолях, — заметил новобранец, выискивая вшей и давя их зубами.

Его собеседник расхохотался. Потом оба замолчали, уставившись

на пылающее меж кокосовых пальм огромное заходящее солнце, которое, казалось, застлало собой все небо. Вдали над лесом поднимался отвесный столб дыма.

— Поздно собрались сжечь вагон! — сказал молоденький солдат. — Не догнать им того парня, а?

— Хуандё, ты не видал, есть в Сапукае красивые девки? — спросил вшивый, сменив тему разговора.

— Ясно, есть, только они так напуганы, что больше на старух стали смахивать.

— Или, может, со страху от нас попрятались?

— Мы уложили с десятков этих

пеонов из гончарен. А когда умирают мужчины, женщины сразу стареют. В прошлый бунт у нас в деревне было то же самое. Я еще мальчонкой бегал, а помню, когда отца убили, у матери сразу голова побелела.

Собеседник слушал его монотонные негромкие сетования.

— Эх, встретить бы мне девочку лет пятнадцати, — вот бы поразвлекся. — Надвинув фуражку на глаза, он выпрямился, придерживая ногами винтовку. — Говорят, среди прокаженных есть учительница из Карапегуá, дочка одного француза. Красотка— глаз не отвести. Ее видали у ранчо, она к речке спускалась. А наши тогда зарывали

трупы.

Наступила длинная пауза, куда длинней предыдущих; только слышалось, как лошадиные зубы перемалывают траву да неотвязно гудят злые слепни.

— Не знаю, чего мы гоняемся за этими бунтовщиками да убиваем их, — сказал как бы про себя новобранец с безволосой грудью. — Кричат: «Стреляй их, не жалея!» А ведь они никому ничего худого не сделали.

— Приказ есть приказ, — заметил другой, в фуражке; он уже совсем клевал носом. — Мы служим родине — и точка. Для чего же нас держат?..

— Не понимаю я это, Лучи. Выходит, служить — значит стрелять друг в друга.

— Так эти же взбунтовались против правительства.

— Потому что правительство на них сверху нажимает.

— На то оно и правительство.

— Небось своих-то не притесняет.

— Как бы не так! Мой отец был либералом, да и дед тоже. А из бедности так и не выкарабкались. Наш участок в Лимпио с каждым годом все тощает: ртов прибавилось, а земля прежняя.

— Мой отец не был ни колорадо [52], ни либералом. И все равно его

убили. Потому что он хотел спрятать свою лошадь от карателей вроде нынешних.

— Спрятать лошадь?

— Да, у него был иноходец с белым пятном на лбу, — другого такого во всем Каагуасу не сыскать. Отец сидел дома, когда нагрянули войска, совсем как наши. Он вместе с иноходцем спрятался в задней комнате. Целых три дня он там пробыл, все надеялся, что отряд уйдет. А тут его иноходец взял да и заржал. Прибежали солдаты, хотели увести обоих. Отец стал противиться, тогда его пристрелили на месте, а лошадь увели. Мать, помню, плакала, причитала над

убитым отцом и проклинала солдат. А тот лежал с открытыми глазами и смотрел на улицу. Я думал, он смотрит, как сержант ведет под уздцы его иноходца, а сказать ничего не может. Но отец был мертвый, и лужу его крови уже облепили мухи.

— Будь твой отец либералом, Хуанде, его бы не прикончили.

— Дело не в том, Лучи. Нету на свете ни либералов, ни Колорадо. Есть толстосумы и бедняки. Одни наверху, другие внизу. И никак ты это не изменишь. — Безволосая грудь парня тяжело поднималась под рваной гимнастеркой.

— А мы-то что тут можем поделать? — протянул новобранец в



фуражке.

— Тебе сунут винтовку в руки и скомандуют: стреляй! Вот и будешь стрелять во всех, кто против правительства, даже если среди них твой собственный отец.

— Для этого мы служим в армии, дурак.

— Да, приказ есть приказ. А новобранец — только новобранец. — Серые глаза парня заблестели. Он пристально поглядел на своего сонливого товарища, помолчал, а потом доверительно, но не без опаски добавил: — Лучи, я хочу тебе что-то сказать...

— Чего?

— Знаешь, я выпустил пули в

болото. — Рука парня указала туда, где меж поросших травой тропинок приплясывали тусклые полосы света. — Понимаешь, я стрелял, но не в них...

Лучи, выпрямившись, удивленно заморгал.

— А в кого же тогда?

— Всю обойму высадил в болото и в воздух. Никто и не заметил.

— Но... — Парень явно не находил нужных слов, так он был сбит с толку и не то разозлен, не то напуган. — Зачем ты это сделал?

— Мне вдруг почудилось, что сейчас неизвестно, откуда появится отец на своем иноходце. Я пополз,

стал петлять в зарослях агавы, не смея поднять головы— все боялся отца увидеть. Я знал, что стоит мне взглянуть вверх, как отец уставится на меня мертвыми глазами и я увижу его залитую кровью грудь. Поэтому я и выстрелил в воздух, чтоб в отца не попасть...

— Ты, видно, совсем спятил, Хуанде, — проворчал Лучи. — Если капитан пронюхает, тебе несдобровать.

— Плевать я хотел. Можешь рассказать ему об этом...

— И не собираюсь. А если б он заметил? И вообще туг дело такое: или ты убьешь, или тебя прихлопнут. А бунтовщики запросто могли бы

тебя пристрелить.

— А зачем мы их убиваем? Они такие же бедняки, как и мы с тобой...

— Нет, теперь мы побогаче, — перебил его Лучи, — нам в армии по лошади выдали...

Хуанде долго смотрел в сверкающую знойную даль, не зная, на чем бы остановить свой усталый взгляд.

## 5

Товарный вагон был до отказа набит арестантами; раздвижные двери, на которых висело несколько

замков, опечатаны пломбой. В пыльном полумраке, наполненном лязгом бегущих колес, лица заключенных казались смутными пятнами. Большинство арестантов лежали на дощатом полу и, тяжело дыша, пытались заснуть. Кое-кто сидел, сгорбившись и притулясь к обитым железом стенкам этой тесной, громыхающей на колесах камеры, которая увозила их неведомо куда. Стоило кому-нибудь пошевелиться, как глухое звяканье цепей, которые связывали узников попарно, сливалось со скрежетом буферов. Кандалы были заклепаны кусочками рельсов. Эти грубые ножные кандалы изготовили при

помощи автогенной сварки в железнодорожной ремонтной мастерской, поэтому всяческие замки и пломбы на вагонах были явно излишни; они, по-видимому, преследовали единственную цель: изолировать мятежников от внешнего мира.

Вот уже много часов люди не ели и не пили. Вчера вечером их, скованных попарно, замуровали в этот вагон. Пока в мастерской прямо на лодыжках заклепывали кандалы под надзором самого Мареко, конвоиры поили заключенных из пропитанной машинным маслом бадьи, где держали воду для охлаждения металла. Попадая на

кандалы, вода яростно шипела, и брызги летели во все стороны. Эта процедура длилась целый вечер. С тех пор арестанты жевали только мякиш бессильной ярости, смоченный слюной, которой становилось во рту все меньше и меньше.

Затхлый воздух вагона-камеры, пропитанный запахом мочи и пота, становился все зловоннее и еще сильнее разжигал жажду. От удушливой пыли, непрерывно просачивавшейся в вагон, саднило и першило в горле, сохло во рту. Люди то и дело кашляли; казалось, вагон был набит астматиками и чахоточными. Раненые тихо стонали

и уже не столько думали о своих страданиях, сколько мечтали отдышаться.

Когда состав прибыл в Эскобар — следующую станцию после Сапукая, — заключенные поняли, что их вагон был прицеплен к хвосту пассажирского поезда.

Во время недолгой стоянки узники слушали, как шумят на платформе какие-то люди и как в эту разноголосицу вплетаются крики торговок алохой. Арестантам казалось, что звуки эти летят к ним из невероятной дали. Пробравшиеся сквозь дверные пазы струйки пыли покраснели. Очевидно, уже вечерело.

Среди плотно прижатых друг к



другу фигур выделялась одна— человек лежал на спине в самом углу и внимательней других вглядывался в щели деревянной стенки вагона. Бородатое лицо подбородком упиралось в грудь. Глаза арестанта не выражали ни страха, ни отрешенности, ни тем более той цепкой и бессильной тоски, которая так свойственна отчаявшимся узникам, не ведающим своей судьбы. В них застыла спокойная, даже жестокая ирония, словно он глядел со стороны и на себя, и на попавших в беду товарищей. Судя по широкой груди, это был мужчина высокий и грузный. Простреленную ногу в обмотках он закинул на здоровую.

Рядом лежал маленький квадратный толстяк, его приятель, закованный с ним в паре, и неторопливо растирал опухшую от кандалов лодыжку.

— Хотел бы я знать, куда нас везут, — неожиданно сказал он, но его слова потонули в грохоте колес.

Бородач сосредоточенно смотрел в дыру на месте оторвавшейся пломбы. Через некоторое время, когда, казалось, вопрос уже был забыт, коротышка повернулся и снова спросил:

— Как по-твоему, Сильвестре?

— Не знаю, — отозвался тот, не глядя на своего товарища. — Я тебе уже говорил, Полметра, наберись терпения. Подождем — там видно

будет.

— Не иначе как в Парагуари нас высадят. Там, кажется, при казармах неплохая тюрьма.

— Нас бы пешком туда отправили — от Сапукая до Парагуари десять лиг, не больше. Зачем им было нас заковывать? — сказал Сильвестре, вытягивая здоровую ногу и звеня цепями.

— Дай бог, чтоб высадили в Парагуари.

— Сдалось тебе это Парагуари! На праздник, что ли, собрался? Чем дольше будем ехать, тем лучше. В конце концов билеты бесплатные.

— Уж больно пить хочется.

— В Парагуари тебя пивом не

угостят.

— Я о твоей ноге беспокоюсь.

— А ты о моем здоровье не волнуйся.

Толстяк по прозвищу Полметра замолчал и скрестил руки на груди. Слегка приоткрыв рот, он изо всех сил старался собрать языком слюну.

— Я вот о Кирито думаю, — спустя некоторое время снова заговорил Полметра, лежа с закрытыми глазами. — Интересно, что с ним? Наверняка они его сцапали.

— Так легко он им в руки не дастся! — промычал бородач.

— Да, Кирито — ловкий малый, — восторженно отозвался

Полметра.

— Что ему эскадрон? Ветер в поле. И не от таких бед опасался — скрываться ему не впервой. Этим ищейкам в хаки его не поймать. Где им перехитрить Кирито!

— Подумать только, ведь я его чуть было не выдал. Они меня расстрелом припугнули. Тогда я закричал: «Капитан, я тебе сам покажу, где спрятался Хара!» У меня и вправду душа в пятки ушла, — сразу от запора избавился. И на том спасибо!

Призрачные тени повернули головы и стали прислушиваться. Кое-кто улыбался в темноте, прорезанной пучками мутного света,

пробивавшегося сквозь щели в стенках вагона.

— Помните тот кедр, который сожгла молния над пропастью Камачо-куе? — воодушевившись, продолжал Полметра. Почувствовав, что привлек к себе внимание, он стал искать глазами слушателей. — Так вот, в этом дереве было большое дупло.

— Как же, знаем, Гамарра, — отозвался кто-то.

— Мы, значит, дошли до этого кедра, я впереди конвоиров — как проводник. Мне всучили нож, и я расчистил вход в дупло — оно наглухо заросло бурьяном. «Он там», — сказал я; надо мне было что-

то говорить. Думал, капитанишка поверит. А он как зарычит и кабаньи клыки оскалил: «Ты что, паскуда, издеваться над нами вздумал?» Я стою ни жив ни мертв, опять меня понос со страху прошиб. «Что вы! — говорю капитану. — Я собственными глазами видел, как Хара залез в дупло». Гамарра пытался воспроизвести ужимки и визгливый голос командира эскадрона. «Как же он мог там уместиться?» — «Э-э, начальник, вы не знаете Хару! Да он сумеет спрятаться даже в норе у броненосца!» — «А может, в постели у твоей сестры, паскуда?» — заорал капитан. Тут я понял, что не смогу убедить его, — расстреляет он меня

и глазом не моргнет. «Какая еще сестра? — говорю. — Нет никакой сестры, ше ruvichá!<sup>[53]</sup> Хара спрятался здесь, больше я его и не видел...» Тогда капитан отвесил мне здоровенную затрещину. «Лезь туда же», — заорал он и принялся пинать меня сапогами в зад, будто хотел силой впихнуть в дупло, а солдаты вокруг хохотали.

— Мало тебе досталось — надо было тебя подальше запихать, — мрачно буркнул Сильвестре Акино и резко вытянул ногу, которая была прикована к лодыжке Полметра. Кандалы опять загремели. — Не стал бы в другой раз доносить!

— Что ты, Сильвестре! Я же все



наврал капитану, чтоб его сбить с толку.

— В том-то и дело, что не наврал, — перебил его бородач. — Накануне, когда нас всех взяли, Кирито действительно спрятался там.

— Не может быть! — От удивления у Гамарры глаза полезли на лоб.

— А если б они его схватили, ты был бы виноват!

— Но я думал....

— Запрячь бы тебя и этого лейтенанта Беру в одну упряжку, — с отвращением протянул Сильвестре. — Ему ничего не стоило выдать своих товарищей...

— Но его ведь тоже схватили...

— Это они для вида! Гад, еще революционером прикидывался! Надо было с самого начала держать с ним ухо остро.

— Сильвестре, — пробормотал Полметра упавшим голосом, — думаешь, лейтенант и вправду предал нас? Ведь его чуть не расстреляли как заговорщика...

Бородач не ответил. Он снова уставился на дыру, через которую в вагон просачивались жидкие пряди дыма. Арестанты погрузились в молчание. Вдруг колеса дробно застучали по мостику, вагон заходил ходуном. А через некоторое время поезд сбавил скорость и

остановился. Громкий лязг буферов прокатился по всему эшелону. С платформы до заключенных опять донеслись чьи-то возгласы. Послышались визгливые голоса торговок алохой и лепешками, теперь женщины кричали где-то совсем под боком. Тусклые людские силуэты, облепленные вязким полумраком, поднялись— звон кандалов и проклятия слились воедино. Жажда свободы снова пригвоздила арестантов к щелям. Гамарра, припав к дыре, жадно глядел на улицу. Он напоминал человека, которого сложили вдвое. Перед его глазами на фоне лилового холма тянулись огромные казармы.

— Э-э, да мы в Парагуари, Сильвестре, — сказал он, не глядя на него. — Похоже, что нас здесь не высадят, а то бы наверняка открыли двери.

Бородач что-то невнятно промычал и с негромким оханьем заерзал на месте.

— Эх, сейчас бы жестяночку с алохой! — протянул Гамарра, облизнув спекшиеся губы. — Я бы одним духом ее опорожнил!

К нему на четвереньках подполз другой арестант и, оттолкнув, занял его место. В полумраке вагона люди сильно засуетились, потные лица припали к щелям. Торговки алохой и лепешками проходили под самым

носом у арестантов. Те протягивали к ним руки. Некоторые царапались и барабанили в стенку вагона, издавая душераздирающие крики.

Потом внезапно наступила минутная тишина, и все услышали, как один из конвоиров, жуя лепешку, важно процедил торговкам:

— Сколько мы из-за них проторчали в болотах! Ничего, пускай теперь погнут в асунсьонской тюрьме или попробуют каторги в Чако. В другой раз неповадно будет... — Конец фразы он произнес невнятно.

— Но почему их везут в товарном вагоне! Ведь не скотина же! — возмутилась одна из торговок.

— Хуже скотины — настоящие бандиты, — заявил конвоир.

— Какие же они бандиты, если против властей выступили, she karaí? — удивилась женщина.

Заключенные ее не видели, но чувствовали, что она стоит совсем рядом, и старались изо всех сил ее разглядеть. Только ничего не выходило. Они лишь заметили, что у вагона начали скапливаться люди, которых, очевидно, влекло сюда не одно любопытство. Им казалось, что слова этой женщины встретили сочувствие у собравшихся. Конвоиры, не решаясь разогнать зевак, торопливо дожевывали лепешки и окидывали толпу надменными и

презрительными взглядами.

— Да они ж наши земляки, такие же люди, как вы, — не сдавалась торговка.

— Смотри, как бы полковник Рамирес тебя не услышал, — не то в шутку, не то всерьез пригрозил конвоир женщине, мотнув головой в сторону казарм.

— Да я с твоим полковником на «ты» и за руку, — отрезала торговка. — Его жена и мате не станет пить без моих лепешек.

— Погоди, вот засадим тебя вместе с этими головорезами, — вмешался в разговор начальник конвоя, но его слова потонули в общем смехе.

Разговор разом принял иной оборот. Теперь это была откровенная перебранка между конвоирами и торговкой, в голосе которой все явственней проступали язвительные нотки.

— А с какой стати вы меня засадите! Может, хотите задарма поесть моих лепешек?

Торговка все ближе подходила к вагону, заметно выделяясь в этом человеческом круговороте, куда вливались новые и новые люди. Она оказалась немолодой толстогубой крестьянкой. Вечерний свет подчеркивал топорные черты ее смуглого лица. На голове стояла большая корзина, а из-под нее



поблескивали лукавые глаза, в которых вспыхивали порой добродушно-насмешливые искры. Держа в руке жестянку с алохой, торговка с безразличным видом неторопливо остановилась у вагона.

— Говорят, этой ночью жители Альто-Парана выступили против Вилья-Энкариасьон и Кай-Пуэнте... Выходит, весь юг взбунтовался? — спросила она, прикидываясь простушкой, встревоженной таким известием.

Заклученные переглянулись и бросили колотить по доскам.

— Слышите, Ю'mitá! [\[54\]](#) — воскликнул Гамарра, стоя на коленях перед щелью, в которую

просачивалась гарь.

Наступила тягостная пауза: только гремели кандалы да пыль неудержимо пробивалась в товарный вагон. Лица снова будто приросли к щелям, и тут заключенные услыхали, как начальник конвоя цыкнул на торговку:

— Ты бы лучше заткнулась, тетка. Дай-ка мне кувшинчик алохи.

— Почему не дать? Только разреши мне и арестантиков попотчевать!

Начальник конвоя чуть было не огрел ее прикладом, но спокойная женская уверенность обескуражила его, и он замер под сверлящим взглядом меднокожей торговки.

— Ай-ай-ай, такой молодой, ладный парень, а какой сердитый! Давай вели открыть вагон. *Nei rue, che karaí!*[\[55\]](#)

Сильвестре Акино дал знак своим товарищам. На вагонные стенки обрушился шквал гневных воплей и ударов кулаками, — казалось, внутри вагона люди затеяли немыслимую потасовку. Колотили и цепями, даже куски рельсов пошли в ход. Темные лица заключенных прилипли к щелям. Они смотрели, как под крики толпы конвоиры и торговли махали друг на друга руками. Началась свалка. Прискакал галопом кавалерийский офицер: лошадь внесла его в самую гущу

людей. Начальник конвоя кинулся к офицеру и, заикаясь от волнения, стал рассказывать о случившемся. Торговки с корзинами и полными алохой жестянками стояли напротив вагона, а за ними в ожидании теснилась толпа, в большинстве своем состоявшая из женщин. Толстогубая торговка алохой подошла к офицеру. Заключение с восхищением следили за сдержанными, но настойчивыми жестами женщины, в которой чувствовалась душевная сила и доброта. Догадаться, о чем она говорила, было нетрудно. Офицер, выпятив грудь колесом и приподнявшись в стремянах,

растерянно озирался по сторонам. Заключенные понимали: торговка требовала от офицера того же, что и от начальника конвоя. Наконец офицер сдался и, судя по его недвусмысленному жесту, отдал приказ начальнику конвоя. Тот угрюмо вытащил из патронташа ключи и нехотя направился к вагону, откуда доносились приглушенные вопли, словно в огромном склепе разом воскресшие мертвецы стонали от мучительной жажды.

Кое-где вагонные стенки треснули и проломились, не выдержав мощного тарана, — узники били по доскам кусками рельсов. Но начальник конвоя вложил ключ в

замок, и крики немедленно стихли. Конвоиры, вытянувшись шеренгой за спиной начальника, образовали кордон. Стояла такая тишина, что было слышно, как поворачивается ключ в замке и со скрипом отодвигается массивная дверь, которую немного заедало в забитых землей пазах. Арестанты из всех сил налегали на нее — она отворилась, что-то протяжно запищало и захрипело, словно выпускало от жажды дух.

Мягкий вечерний свет потоком хлынул в вагон и, точно огненный столб, ослепил измученных людей. Бряцая кандалами, они всем скопом кинулись к выходу, щурясь и жадно

вбирая глазами закатный свет. Солдаты пытались загнать их прикладами обратно, но торговки загородили арестантов, поставив на пол вагона жестянки с алохой. Помогавшие торговкам ребятишки юркими обезьянами крутились под ногами. Трое конвоиров с грехом пополам навели порядок. И тут все увидели, как заключенные пили, — казалось, они пьют первый раз в жизни. Некоторые вонзали зубы в жестянку, алоха текла по перекошенным, одутловатым лицам. В одну минуту пол в вагоне сделался скользким и липким. Толпа глазела на то, как алоха сочилась сквозь щели в полу и стекала на землю.

Сильвестре Акино решил напиться последним. Гамарра протянул ему жестянку, и он не спеша осушил ее до последней капли. Женщины оделяли узников пахучими золотистыми лепешками, и те жадно жевали их. Смуглая торговка, по требованию которой открылась тяжелая дверь, не отходила от вагона и подбадривала заключенных шуточками и прибаутками, будто перед ней были не арестанты, а шумная мужская компания в ярмарочной палатке, хватившая лишку на радостях. Ребята вытаскивали из вагона порожние корзины и жестянки.

На пороге казармы стоял



толстяк в военной форме и, не отрывая глаз, следил в бинокль за происходящим. Очевидно, он и был комендантом гарнизона. Рядом с ним стоял офицер, приказавший открыть дверь, которая, впрочем, вскоре закрылась снова. Комендант вошел в казарму. Солдаты взяли на караул и застыли на месте.

Пассажирский поезд, задержавшийся из-за непредвиденного происшествия, медленно набирал ход, и вот состав уже мчался на полной скорости по склону Сер-ро-Леон, над которым неторопливо спускалась ночь

Только одних прокаженных каратели избавили от допросов. Они

оказались, так сказать, в привилегированном положении и как будто этим гордились. Прокаженные, словно нарочно, целыми днями торчали возле своих ранчо, выставляя напоказ полуобнаженные тела, опаленные недугом, который служил им чем-то вроде охранной грамоты. Солдаты подолгу наблюдали за тем, как они копошились под деревьями или спускались к речке. При этом вид у них был неприступный, а лица выражали почти презрительную неуязвимость. Каратели перестали искать меж этих распухших тел по-юношески гибкую фигуру Кристобаля Хары. Они уже не

надеялись увидеть его скуластое открытое лицо среди обезображенных лиц прокаженных, хорошо различимых в полевые бинокли; офицеры знали заранее — Кристобаля здесь не найти, и постепенно стали забывать о беглеце. Тем не менее каратели — особенно солдаты и сержанты — пристально и упорно следили за ранчо в лепрозории. Очевидно, они еще мечтали снова увидеть ту женщину с копной белокурых волос, которая издали показалась им воплощением молодости и женского очарования.

Им довелось увидеть ее один-единственный раз в тот вечер, когда

она спускалась к речке. Женщина появилась лишь на мгновение и сразу же исчезла на убегавшей в лес тропинке. Солдаты воровато озирались по сторонам, но перед глазами были все те же прокаженные, купавшиеся или кропящие водой свои страшные язвы. Этой женщины среди них не было. Может, она просто померещилась? Красивое стройное тело и шелковистые, ливнем спадающие волосы плохо вязались с привычным обликом прокаженной. Легенда об Ирис, дочери француза, бывшей учительнице из Карапегуа, загнанной в лепрозорий безжалостными родственниками, служила карателям

неистощимой темой для разговоров. Остальное дорисовывало воображение. Одиночество, скука, незримо витающая над головой смерть будоражили чувственность солдат и доводили их почти до исступления.

По ночам они видели, как восходит луна, и ее желтый, усеянный зелеными пятнами лик казался им лицом той женщины. Но женщина больше не появлялась.

В тот самый вечер, когда Сильвестре и его товарищей запихали в товарный вагон, капитан Мареко находился на одном из сторожевых постов у лепрозория. Вдруг солдаты странно засуетились,

а сержант кинулся к своему командиру:

— Смотрите, капитан! Вот она...

Мареко резко повернул лошадь. И в самом деле: из дальнего ранчо выскользнула женщина и неторопливо зашагала между кокосовыми пальмами. Солдаты точно окаменели. Брезгливая гримаса, искривившая рот капитана Мареко, который, видимо, рассчитывал увидеть нечто совсем иное, понемногу сгладилась, уступив место выражению всепоглощающего любопытства, вроде того, что застыло на лицах его подчиненных.

Омытая закатными лучами

солнца женщина и вправду казалась необыкновенно привлекательным видением: солдаты ждали его уже много дней, и к тому же прекрасный призрак был для них недосягаем и мог исчезнуть с минуты на минуту, унеся с собой тайну своего появления. Ее походка подчеркивала стройность ритмичнодвигающихся ног и красоту длинных рук. Ветер играл волосами, рассыпавшимися по плечам. Сквозь лохмотья проглядывали колени, полные бедра, гибкая и тонкая талия. Кокосовые пальмы прикрывали женщину тенью своих опахал, и ее силуэт временами расплывался. Мужчины глядели на нее во все глаза, — казалось, явь и

мираж борются между собой, стараясь заслонить друг друга.

Женщина дошла до поворота тропинки и направилась прямо к солдатам, нетерпение которых все возрастало. Возле ранчо маячили какие-то призрачные фигуры, но мужчинам было не до них: женщина, слегка наклонив голову и покачивая бедрами, проходила совсем рядом. Еще немного — и они смогли бы хорошенько разглядеть ее, но она скрылась за деревьями.

Капитан Мареко приподнялся в стременах, посмотрел в полевой бинокль и навел резкость. Его пухлые губы слегка дрожали, крылья орлиного носа широко раздувались.



Вдруг капитан выпустил из рук бинокль, и он повис у него на груди. Лицо снова обезобразила брезгливая гримаса. Капитан выругался. Солдаты замерли по стойке «смирно», а сержант, вытянувшись перед Мареко, намеренно эффектно щелкнул каблуками, решив, что командир призывал всех к порядку.

Женщина пропала из виду. И только теперь в нос ударил тошнотворный запах ранчо прокаженных, — его принес порыв ветра. Капитан прищепил коня, и тот помчался во весь опор к деревне. Чуть поодаль скакали солдаты.

Когда они добрались до кладбища, лежавшего на полпути

между болотом и деревней, уже смеркалось. Разозленный капитан вертел головой по сторонам, как вдруг на тропинке заметил какую-то подозрительную фигуру. Он резко осадил коня и, вытащив из кобуры пистолет, четко скомандовал:

— Стой!

Странное существо боязливо попятилось, и капитан спустил курок. Он, очевидно, промазал, потому что существо одним прыжком очутилось в бурьяне и, петляя по-змеиному, кинулось наутек, при этом оно так ловко извивалось, будто ни за что не хотело стать удачной мишенью для капитана Мареко. Тот взбесился и вслепую

разрядил всю обойму. Последние выстрелы ухнули возле кладбищенской ограды. Пустив лошадь галопом, капитан кинулся вдогонку за беглецом. Жертва уже трепыхалась в предсмертной агонии. Солдаты поскакали следом за командиром и несколькими пулями прикончили ее.

— Наконец попался, мерзавец, — завопил капитан срывающимся голосом.

Все поняли, к кому это относилось, и на мгновение растерянно замерли на месте. В полумгле безжизненно лежало непонятное существо, которое и отдаленно не напоминало человека

вообще и тем более того, за кем гнались солдаты. Но они решили, что скошенный пулями беглец запутался в диковинном пончо, укрывавшем его с головы до пят.

— Спешивайтесь, надо опознать его, черт побери! — взревел капитан.

Двое солдат соскочили с лошадей и сорвали тряпку с трупа. Показались тощие голенастые ноги с копытами, сильно вздувшееся брюхо и наконец остроконечная головенка с бородой, обмазанной кровавой пеной.

— Капитан, да это козел! — заикаясь, пробормотал солдат, держа за угол мокрую от крови мешковину.

От накатившейся злобы у

командира эскадрона перехватило дыхание. Он чуть было не вывалился из седла — в первый раз солдаты видели его в такой ярости. Кончиком сапога он вслепую старался поддеть ускользающие стремяна, ища точку опоры. Лошадь взвилась на дыбы, звякнули подковы.

— Это мой козел, — слышался за их спинами женский голос.

Капитан резко повернулся:

— Ты кто такая?

— Мария Регалада Касерé.

Темная небольшая фигурка бесстрашно выросла между лошадьми и солдатами.

— Ты что, вздумала издеваться

над нами? — угрожающе взвизгнул командир эскадрона.

— Нет. Это мой козел, — повторила женщина тем же спокойным голосом.

— Как ты узнала, что он твой?

— По мешковине.

— А зачем накрыла его? Боялась, что стащим твою дохлятину?

— Вы его выстрелами сильно напугали, — немного подумав, сказала Мария Регалада, — вот я его укутала в мешковину и заперла.

— А потом выпустила мне под ноги, решила посмеяться надо мной?

— Нет. Он сам убежал. Вырвался из пут и убежал.

— А ты где живешь? — Капитан немного смягчился.

— Там.

— На кладбище?

— Рядом с ним.

— И тебе не страшно?

— Нет. Я родилась здесь. Я могильщица.

— Черт подери, не баба, а солдат в юбке! — загоготал командир эскадрона, и младшие чины подобострастно и нестройно захихикали.

— Точно, капитан, — подтвердил кто-то из солдат, — она могильщица.

— Что ж, будешь теперь хоронить своего козла?

— Зачем же? Раз уж убили, освежую его, мяса накопчу.

— А не много ли козлятины для одного человека?

— Я за больными присматриваю. Они в лепрозории мяса не видят. В такой нищете живут.

Все замолчали, и в эту паузу ворвалась тишина леса. На дереве заухал филин. Робко всходила луна, поднимая над болотом желтый лик, «подобный лицу прокаженной».

— Отнесите козла к ней домой! — приказал капитан, пуская лошадь рысью.

Через полчаса он уже въезжал в деревню. Возле управления он заметил странную суматоху. Какие-то



женщины суетились в большом зале, убирая его множеством трехцветных флажков и ветками каабы. Дело близилось к концу: с крыши и с увитых лозами навесов в патио уже свисали вымпелы и еще не зажженные китайские фонарики.

Увидав проезжающего по улице капитана, женщины засуетились с удвоенным рвением, хотя все уже было готово к празднеству. Они кидались из стороны в сторону, жеманились и кокетничали.

Навстречу капитану вышел политический начальник.

— Как дела, капитан?

Мареко буркнул под нос какое-то подобие приветствия.

— Тут кто-то недавно стрелял на кладбище. Что-нибудь случилось?

— Ровным счетом ничего. Так, ложная тревога.

— Видите, капитан? — Политический начальник показал «а управление, аляповато украшенное не в меру усердными женщинами. — Здорово они поработали для сегодняшнего праздника!

— Какого еще праздника? — равнодушно спросил Мареко.

— Как? Забыли? В вашу честь нынешней ночью Сапукай дает настоящий бал.

— А, да, да!

— Дамы из церковной общины и учительницы трудились до седьмого

пота. Хотят вместе с вами хорошенько повеселиться. Самые молоденькие мечтают о ваших офицерах. Женщины, знаете, не любят упускать такого случая! Придут даже монахини. — Ом шел рядом с сидящим на лошади капитаном и, трогая кончики его сапог, заискивающе хихикал.

— Вы меня не проводите до кабачка? — только и сказал капитан в ответ на разглагольствования политического начальника. — Хочу малость промочить горло. Может, выпьем фруктового вина?

— Почему же нет?

Девушки разочарованно глядели, как герой, прославившийся ратными

подвигами на болоте, скакал по улице, ссутулясь в седле.

Чадный огарок, разогнавший тьму под навесом ранчо, освещал Марию Регаладу, которая ловко свежевала козлиную тушу. Рядом примостился сын Марии. Он сидел на корточках у миски и возился с козлиными внутренностями. Нож рассек печень, и лицо мальчика оживилось.

— Смотри-ка, еще одна пуля! — сказал он и, вытащив кусочек свинца, отшвырнул его подальше.

Руки Марии Регалады проворно разделявали голову. Мальчик вопросительно поднял глаза на мать, ожидая, что она с ним заговорит. Тишина и набегавшие тени давили на него своей бесплотной, но гнетущей тяжестью.

— Я сначала подумал, что они его сцапали. Мне казалось, что стреляют прямо на кладбище.

Мать приложила пальцы к губам.

— Тише, вдруг кто-нибудь услышит... Я же тебя просила, Алехо, — шепотом сказала она.

Мальчик пугливо огляделся и, понизив голос, заговорил:

— Я с ребятами шел из школы.

Услыхал выстрелы и чуть не крикнул: «Ой, Кирито!» Ребята убежали, а я остался один. Солдаты направились к кладбищу. Меня так и подмывало шмыгнуть за ними. Но у ограды стояли лошади. Я тихонько подкрался в темноте и увидел, что это ты разговариваешь с этим дядькой. А ты не боялась, мамочка?

— Нет.

— А вдруг бы они тебя схватили?

— На что я им?

— Солдаты хватают всех подряд... — Глаза мальчика казались синими каплями, повисшими в полумраке, и пылали от восхищения Марией Регаладой.

— Если бы я не вышла навстречу, все обернулось бы очень плохо.

— Почему?

— Потому что они стали бы доискиваться, кто хозяин этого козла. И наверняка обнаружили бы Кирито. Я уверена, что солдаты наткнулись бы на него. Поэтому я и вылезла из-за кустов, чтоб они ушли с этого места.

— Тебе даже козла отдали.

— Так ведь козел-то наш.

— Верно, но офицер сильно разозлился. Я слышал, как он кричал тебе, что ты вздумала с ним шутки шутить. Им ничего не стоило забрать козла себе.

— Да, а они принесли его прямо к нам домой. И с Кирито ничего не случилось.

Мальчуган машинально очищал кишки от кровавой жижи и экскрементов.

— Не знаю, как это они до сих пор его не поймали, — сказал мальчик, в голосе которого сквозила тревога. — Правда, кладбище они еще не обыскивали.

— Кирито знает, что делает.

— Значит, он знает, что искать его на кладбище им и в голову не придет?

— Да. В то утро, когда я увидела его в траве, я так перепугалась. Подумала, уж не мертвец ли это, не



размыло ли какую-нибудь могилу... Но вроде бы дождей не было, и вообще... Тут он заговорил: «Не пугайся, Мария Регалада. Я спрячусь на кладбище, меня здесь ни за что искать не станут. Они ведь гоняются за живым человеком, а тут одни мертвецы лежат». Так и сказал. Он взаправду точь-в-точь мертвец, вырытый из могилы. Нет, не будут они искать его на кладбище.

Мальчишка с трудом обмозговывал мудреную и непостижимую для него тактику беглеца. Мария

Регалада резала козлятину на кусочки — так легче приготовить чарки — при этом на такие тонкие,

что они смахивали на апельсиновую кожуру. Да, дело деликатное, требующее большой сноровки и старания; мясо волокнистое, расползается под руками, как пена. К тому же все изрешечено пулями.

Во дворе, где жались друг к дружке тенистые апельсиновые деревья, воняло козлятиной. Алехо пошел выкинуть остатки требухи и немного замешкался. Мать слышала, как он помочился в канаву. Потом вернулся, еле волоча ноги от усталости. В лунном свете его волосы голубели, а веснушки, точно слюдяные блески, сверкали на мальчишеских скулах. На лице застыло таинственно-непроницаемое

выражение— оно часто появляется у детей, которым давно пора спать, а они все еще бодрствуют со взрослыми.

Мать с сыном трудились до поздней ночи, пока луна не проплыла по небосводу и не спряталась, как думал Алехо, на дне озера Ипоа́, за дальними лесными урочищами. Время от времени одинокие выстрелы карателей вспарывали тишину на болоте, и огненные точки, маленькие, как спичечные вспышки, пронзали крошечную темноту.

Мария Регалада не сводила глаз с печки, где тлели дрова. Она принесла на кирпиче несколько

горящих углей и стала раскалять на жару кусок стального рельса, к которому кое-как была приделана деревянная ручка.

Наконец мать с сыном вошли в комнату. Там стояла огромная статуя святого Игнатия. Почерневшее от времени дерево растрескалось и выглядело невероятно древним. Рядом теснились статуи поменьше, сделанные топором. Вот и все, что сохранилось от того человека, врача-чужеземца, который построил здесь лепрозорий и исчез, оставив вместо себя тень своего безрассудного поступка, цепкое воспоминание в душе этой женщины.

Мария Регалада по-прежнему

ждала возвращения Алексиса —  
Алехо Дубровского. Множество  
свечных огарков и залитая воском  
подставка свидетельствовали не  
менее красноречиво, чем покорная  
самоотверженность Марии Регалады,  
о неистребимой надежде,  
придававшей смутному будущему  
желанные очертания; то, во что  
верила эта женщина, было  
безгранично просто и безгранично  
человечно, поэтому ее вера  
оказывалась сильнее любых  
превратностей судьбы. Да и чем, в  
сущности, была надежда Марии  
Регалады, как не воспоминанием о  
том, чего никогда не было? И это  
воспоминание во плоти ее сына

зрело вместе с возмужалостью мальчика, жившего подле матери в ожидании отца, которого он никогда не знал.

Мария Регалада пошарила в кожаном бауле и извлекла оттуда мужское платье. Сняла с углей накалившийся кусок рельса, заменявший ей утюг, и принялась разглаживать одежду. Алехо смотрел на мать с возрастающим интересом, его сонное лицо оживилось.

— Это папино, да?

— Нет, твоего дедушки.

Мальчик, конечно, не знал, что со времен Великой войны представители рода Касере из поколения в поколение были

могильщиками на кладбище в Коста-Дульсе и что сам он — последний отпрыск этого рода. Сейчас Алехо занимали другие вопросы.

Кладбище больше не было прибежищем только для усопших, а стало местом, где скрывался беглец с болота, которого нужно было спасти от смерти любой ценой.

— Ты отдашь одежду Кирито?

— Да.

— Он пойдет в ней на праздник?

— Да.

— Но ведь праздник устраивают для эскадрона, мамочка, — с наивной запальчивостью воскликнул мальчик. — Кирито угодит им прямо

в лапы.

— Он хочет туда пойти. Кирито знает, что делает, и нужно ему помочь. Больше отлеживаться на кладбище нельзя. А вдруг кто-нибудь в деревне помрет и его будут хоронить? Вон дон Климако Кабаньяс уже на ладан дышит. Не сегодня-завтра богу душу отдаст. А ведь он мировой судья, стало быть, похороны ему закатят пышные.

— Если Кирито пойдет на праздник, его сцапают солдаты, — снова сказал мальчик серьезно и озабоченно, как взрослый.

— Там его искать не будут. Дорога в деревню — единственная, которую не охраняют.



— А вдруг с ним случится то же, что и с козлом, — заметил Алехо без тени иронии, следуя естественной логике размышлений.

— Кирито знает, что делает, — упрямо повторила Мария Регалада.

Она, видно, не хотела посвящать сына в безрассудный план Кирито, казавшийся ей бесшабашной ребяческой игрой.

— Кирито мне вчера сказал, что надежнее всего укрыться в лепрозории, пока солдаты отсюда не уйдут.

— Но он не сможет войти к прокаженным. Там кругом часовые. Они только меня пускают в ранчо.

— Я думаю... — Мальчик с

покорным и безучастным видом зевнул. — Я думаю, что сегодня ночью он попытается удрать в горы, подальше от проселков.

— Да... Кирито должен жить, должен выполнить свой долг.

— А что это за долг, мамочка?

— Ему надо бороться, чтобы всем стало легче жить... Ладно, иди спать...

Алехо, клюя носом, поднялся с места, плюхнулся на свой топчан и сразу же заснул.

Сон взял под свое покровительство этого мальчика, похожего на ангела благовещенья, и впустил его в свои владенья, где странно переплетается будущее с

прошлым.

Зачатый в грехе и позоре, он был в этом ранчо живым доказательством той невинности и непогрешимой чистоты рода человеческого, которые всякий раз возрождаются в новом поколении.

Мать некоторое время смотрела на сына. Закончив гладить штаны и куртку, она снова открыла кожаный баул, вытащила оттуда еще один мужской костюм и принялась задумчиво расправлять морщинки и складки. Наверное, тишина больно давила ей на виски: Мария Регалада поспешила палец и потерла их. Потом коснулась самодельного утюга, но шипенья не последовало.

Впотымах она подошла к лохани и стала мыться. Тени плавно водили в комнате хоровод. Далекие вспышки выстрелов больше не пугали Марию Регаладу. Она слышала, как по дороге проехала группа солдат, получивших увольнительную по случаю праздника, слышала их смех и цоканье лошадиных копыт.

Мария Регалада стала одеваться. Рассеянно причесалась, вслушиваясь в ночные шумы, накрыла мальчика ветхим одеялом, взяла мужскую одежду и, задув огарок, притворила за собой дверь. Очутившись во дворе, она обошла дом и зашагала к кладбищу.

Праздник был в самом разгаре. В зале и во дворе толпились приглашенные. В этой пестрой толпе особенно много было военных, — давно не бритых, в форме цвета хаки и сапогах, к которым пристала засохшая грязь. От них разило потом, конюшней, вонючей болотной трясиной. Но все были весело настроены и держались весьма надменно, словно кичились тем, что приобщили собравшихся к лагерной жизни.

Каждому кавалеристу по-своему льстило устройство этого вечера: ведь его затеяла в честь доблестных

покорителей болота, и к их мужскому достоинству прибавлялся ореол славы. Это кружило головы женщинам и волновало их так, как лисий запах волнует кур.

В зале, ярко освещенном угольными лампами, собрались сливки местного общества; неторопливо прохаживались офицеры и унтер-офицеры; вели беседу крупные скототорговцы округи, арендаторы, коммерсанты — члены управления и даже железнодорожные служащие. И, само собой разумеется, собрание почтил своим присутствием священник.

В центре зала вокруг командира эскадрона почтительно теснились

его обожатели; у героя дня глаза налились кровью, язык заплетался.

Дамы из церковной общины предупреждали малейшее желание гостей, угощали их ужином; помогавшие им учительницы и другие девушки крутились возле приглашенных. Самые молоденькие барышни в прозрачных кисейных платьях брали штурмом троих лейтенантов, кокетничали с ними напропалую, улыбались и от волнения едва переводили дух. Те, что были постарше и не столь привлекательны, довольствовались более сговорчивыми унтер-офицерами, которые толкались повсюду. Остальные хлопотали с

угощением и точно змеи скользили меж танцующих пар, кидая на них завистливые взгляды и выжидая случая, чтобы отделаться от этих бокалов с горячительным, подносов с бутербродами и пирожными, в которые были воткнуты зубочистки с маленькими флажками.

Капитан Мареко не танцевал, что весьма озадачивало и молодых и старых. Ведь он был совсем зеленым юнцом, которому только чин и положение придавали внешнюю солидность. Все видели, что капитанишка был дошлым малым и умел при случае компенсировать свою молодость обычными средствами: надменными взглядами



и сознанием собственного превосходства. С видом завзятого повесы он милостиво взирал на всех девиц вообще, не останавливая выбора ни на одной из них. Капитана то и дело потчевали вином, и он все пил и пил, однако никто не мог упрекнуть командира эскадрона в том, что он не умеет вести себя в обществе.

Шум голосов заглушал музыку. Играл маленький оркестр — скрипка, арфа и три гитары. Музыканты восседали на сколоченных на скорую руку подмостках и без роздыха наябивали одну польку за другой. Арфист казался слепым. Он был оживленней

других и даже в перерывах наигрывал какие-то мелодии, прижимая к арфе голову, будто вдобавок был еще и глухим.

В патио толклись зеваки и всякая мелкая сошка, прибежавшая поглазеть на праздник из любопытства; больше всего им хотелось как следует разглядеть офицеров доблестной кавалерии. Тут же плясало не меньше сотни солдат, которые на время избавились от непереносимых своих спутниц — кривых сабель в ножнах. На галерее, в зыбкой полутьме, подкрашенной красным светом китайских фонариков, солдаты танцевали, тесно прижавшись к босоногим женщинам.

Облака пыли, поднимаясь с земляного пола, обволакивали пары, липли к обросшим щетиной или гладко выбритым лицам мужчин и к непроницаемым лицам женщин, которые сонно двигались, словно танцевали в объятиях самой смерти где-нибудь на поле сражения.

Музыка тут была едва слышна. Она скупо пробивалась из зала, и солдаты танцевали под собственное «тру-ля-ля», попадая в такт каким-то внутренним музыкальным чутьем. Руки их лежали на женских талиях, а подчас скользили по бедрам партнерш, и в мутных глазах вспыхивали огоньки вожеления. Здесь особенно был ощутим тяжелый

запах военного лагеря, исходивший от этих потных мужчин, затянутых в мундиры.

И тогда-то дон Бруно Менорет, не без удовольствия глазевший на бал, который он окрестил «солдатским карнавалом», неожиданно узнал — а может, ему просто померещилось — в слабом мерцании разноцветных фонариков очень знакомое лицо, единственное, какое он никак не предполагал здесь встретить. Дон Бруно Менорет подошел ближе и, к своему изумлению, воочию убедился, что перед ним не кто иной, как его шофер, отплясывающий с могильщицей в окружении

босоногих крестьян в надвинутых на глаза сомбреро, будто они стыдливо прятались от чужих взглядов.

Каталонец отошел от танцующих и побрел, шатаясь из стороны в сторону, словно ему разом ударили в голову винные пары, чем несколько не удивил всех своих знакомых. Некоторым даже почудилось, что он бормотал себе под нос: «Спятил... Совсем спятил!» Дело, очевидно, уже шло к полуночи, потому что в перерыве между танцами священник поднялся с места и попрощался с главным виновником торжества:

— Чудесный праздник, чудесный. Но мне завтра с утра надо

служить мессу.

— Конечно. Благодарю вас, что пришли, — сказал капитан.

— Буду молить господа нашего, чтобы свершились все ваши желания, — ответил священник, сердечно пожав капитану руку. — Да осенит вас благодать божья.

— Большое спасибо, отец, — поблагодарил капитан и отдал честь.

Священник вышел из зала, а за ним смиренно просеменили монашки, которые все это время сидели в углу и перемывали косточки гостям. Они столкнулись с доном Бруно. Тот шел с растерянным видом, разыскивая Мареко. Он налетал на всех, кто попадался ему на дороге, и

наконец добрался до капитана, взял его за руку и отвел в сторону. На его лице застыло таинственное и вместе с тем испуганное выражение, что, разумеется, не укрылось от глаз торговцев и чиновников.

— Послушайте, капитан... Я знаю, где этот человек, — выпалил он.

— Какой человек? — Налитые кровью глаза капитана вперились в дона Бруно, словно пытались хорошенько разглядеть зыбко очерченную тень.

— Этот Кристобаль Хара... мой шофер. Человек, которого вы разыскиваете.

— Где он?

Каталонец вдруг потупился, уставясь тусклым взглядом в пол, как будто перед ним неожиданно разверзлась зияющая пропасть. Никто — в том числе и сам дон Бруно — не мог бы сказать, действительно ли он решился выдать Кристобаля Хару или, напротив, придумал эту байку, чтобы выслужиться перед начальством, доказать свою невиновность выдумкой невероятной и бессмысленной, столь же невероятной и бессмысленной, как и само появление безоружного Кристобаля среди своих заклятых врагов, пришедшего, очевидно, только для того, чтобы бросить им



вызов, продемонстрировав свою отчаянную, поистине сверхчеловеческую храбрость.

Скорее всего каталонец сразу же осознал величие подобного безумства и, вопреки здравому смыслу, решил поставить на карту собственную жизнь, чтобы защитить это безумство, даже переступив границы дозволенного.

Никто не знал и никогда не узнает, чем руководствовался дон Бруно в эту минуту, потому что вдруг поднялся немыслимый переполох, люди с криками опрометью бросились прочь из зала, увлекая за собой толпившихся во дворе ротозеев.

—

Прокаженные,  
прокаженные! — испуганно визжали  
женщины.

Дикая паника завертела в своем  
водовороте офицеров, солдат,  
музыкантов, и только арфист,  
безучастный к суматохе, продолжал  
перебирать струны.

Капитан Мареко на мгновение  
застыл в этой толчее, растерянно  
хлопая глазами. Мимо него с  
воплями проносились люди. И тут в  
тусклом свете, словно порождение  
кошмара, перед ним выросли  
танцующие прокаженные, которые  
странно извивались в пляске,  
обнажая обглоданные,  
изуродованные лепрой тела.

А в полумраке галереи, где корчились в танце бесформенные силуэты и маячили причудливые львиные головы, танцевали Кристобаль и Мария. Смрадный запах военного лагеря мгновенно исчез, уступив место повсюду распространившейся приторной и тошнотворной вони, и в этом хаосе Кристобаль заметил, что обезображенные струпьями человеческие маски расплылись в сочувственных улыбках. Прокаженные обступали Кристобаля. Кольцо все сужалось и сужалось. Лицо Марии Регалады было спокойно, таинственно, непроницаемо.

Вместе с Кристобалем она неторопливо выскользнула в темноту, окруженная, словно телохранителями, этими чудовищными существами. В пустом зале арфа наигрывала ритмичный галоп.

# ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

## Обреченные

### 1

**1 января 1932 года**

Вот и Новый год. Здесь, в Пенья-Эрмоса, куда нас сослали, время утекает между пальцами. Для всех пятидесяти изгнанников, живущих на этом островке, дни тянутся монотонно, завтра то же, что вчера. Якоря нашей жизни брошены посередине неторопливой пятнистой, как шкура ягуара, реки, более километра шириной. Когда она

мелеет, то отдает прокисшей на солнце тиной. Если смотреть на реку очень пристально, она кажется вялой, неподвижной, мертвой, а подчас даже создается впечатление, что скалистый массив острова плывет против течения, а по краям его сверкают на солнце убегающие вдаль пропасти.

Раз в месяц шлюпка привозит нам почту и нехитрую снедь, а иногда в наш «санаторий» прибывает на ней и новенький. Последним привезли Факундо Медину, студента университета. За левые настроения его окрестили Левшой. Он вроде бы имел отношение к октябрьским событиям в Асунсьоне, которые

закончились расстрелом студентов, собравшихся у правительственного дворца. Огромная толпа требовала защиты Чако от посягательства боливийцев.

Теперь гражданских заключенных вместе с Левшой ровно полдюжины. Они нам приданы, так сказать, «сверх штата». Впрочем, здесь мы все разгуливаем в одних трусах, так что большой разницы между нами не заметишь.

Вчера вечером мы устроили роскошную пирушку. Зарезали трех овечек, купленных в складчину. Их на прошлой неделе привез нам лодочник. Заключенные и конвоиры побратались за едой. Даже начальник

— и тот пришел выпить и закусить вместе с нами. Он долго нес какую-то патристическую галиматью и под конец поднял тост «за товарищей по несчастью, которые ждут реабилитации...».

После этого он принялся пить наравне с остальными. В полночь балагур начальник, войдя в раж, погасил выстрелом один из фонарей, давая знак, что пора брать приступом жаркое.

Капитан Сайас любил похвастать, что прежде он был признанным чемпионом по стрельбе из пистолета., Теперь его перевели в запас и поставили сторожить заключенных. Конвоиры высадили в



воздух всю обойму, и от их непрерывной пальбы проснулся наш попугай. Он стал тоскливо кричать и лишь постепенно утомился.

Когда с жарким разделались, Миньо взял аккордеон и принялся импровизировать. Другой арестант подыгрывал ему на гитаре. Получилось что-то похожее на польку. Появились танцующие пары.

Грустно глядеть на пляшущих мужчин. Мутные глаза, странно трясущиеся руки, и хотя каждый изощряется в шуточках, всем ясно, как недостает здесь женщин. Сюда не пускают даже индианок, а в Пуэрто-Касадо их девать некуда. Толстый живот Сайаса вздрагивает от смеха.

Наконец капитан отправляется на боковую — капрал и двое солдат тащат его почти что волоком.

Я сидел под деревом и смотрел из темноты на этот кутеж. Чтобы не напиться, я ускользнул из бесшабашной компании. Обычно меня мутит от одного вида каньи. Так случилось и на этот раз. Я отхлебнул несколько глотков, чтобы не обидеть друзей, и меня сразу же вырвало. Стало полегче. Я глядел на пьяные лица и думал о побеге, план которого в лагере вынашивался уже несколько недель. В этот вечер, пожалуй, можно было его осуществить. Все складывалось как нельзя лучше.

С конвоирами можно было бы

справиться без особого труда; те, кто не умел плавать, легко переправились бы на тот берег в шлюпке. Но заговорщики перепились не меньше, чем конвоиры.

Рядом со мной в кустах кто-то тихо стонал. Человек, очевидно, лежал ничком, уткнувшись лицом в землю. Стоны были глухи и однообразны. Рвотная судорога сводила ему горло, и он не переставая охал. Я не двинулся с места.

Я знал, что это Хименес, а для него у меня нет лекарства. Его осудили на пять лет за убийство денщика, которого он застрелил, обнаружив, что тот сожительствует с

его женой. По ночам он иногда что-то бормочет о ней или чуть слышно стонет, как вчера вечером. Он пишет длинные письма и никогда их не отсылает. Каждый раз новое, разорванное на мелкие кусочки послание оказывается в уборной.

— Подходящий почтовый ящик для любовных излияний, — как-то раз сострил Ногера.

За глаза над Хименесом потешаются, но его, во всяком случае, не презируют.

Пока все спят как убитые, я спускаюсь к реке. Хочется освежиться. Плаваю до изнеможения, стараюсь избавиться от горьковатого привкуса во рту.

Часовой на сторожевом посту внимательно наблюдает за мной. Зачем? Я и не собираюсь удирать отсюда. Мне здесь хорошо. Теперь, пожалуй, мне везде будет хорошо. Сапукай или Пенья-Эрмоса — все одно. Я ничего не жду, мне ничего не нужно. Живу бездумной растительной жизнью. Наверное, я уже пропах тиной и потом.

Даже ветра — и того нет. Тяжелая томительная тишь, которую время от времени тревожат пронзительные крики попугая. У меня такое чувство, будто я на необитаемом острове. Я вижу, как от меня подымается пар, пока, не торопясь, я кропаю эти строки в

записной книжке. Зачем я их пишу? Очевидно, надеюсь при случае перечитать. Тогда они мне покажутся отражением чего-то нереального, какой-то чужой жизни, словно писал их не я, а кто-то другой. Я читаю эти строки вслух, будто разговариваю с незримым собеседником, который рассказывает мне о том, чего я никогда не видел и не слышал. Но даже и эта писанина надоедает. Перо беру редко.

От холодной воды головная боль прошла, но в теле еще большая вялость и лень. Сегодня я даже не смогу читать. Пакет с книгами, присланными из дому в прошлом месяце, так и лежит неразвязанный.

Пожалуй, самое разумное для меня — броситься на камни и лежать ни о чем не думая, как я лежал в детстве на краю обрыва в Тебикуари, глядя сверху на искрящуюся речную зыбь, взъерошенную северным ветром.

Но передо мной уже не милая сердцу река моего детства с ее стремительным течением, с песчаным берегом, который в этот час был полон прачками, перебиравшимися вброд повозками, приведенной на водопой скотиной, криками и голосами, людьми, которых я видел в воде вверх ногами на фоне неба, подернутого дымной завесой.

Нет, передо мной Рио-де-лас-

Короиас, как называли испанцы реку Парагвай, которую гуарани обожествили, что, впрочем, не помешало им превратить ее в ломовую лошадь. Эта река дала имя моей родине.

Воды поубавилось, и обнажилась широкая отмель. Вдали, в лучах рождающегося солнца блестят известняковые ущелья, словно они из чистой слюды. Островок как бы отдает швартовы и опять незаметно, полегоньку начинает плыть против течения.

**6 января**

Я снова сталкиваюсь с проявлениями явной



недоброжелательности — мне ее  
выказывают по мелочам.  
Проснувшись утром, я нашел в моих  
альпартгатах дохлую змею. Судя по  
аллегорическому смыслу  
подношения, это дар волхвов. А дня  
два назад у меня пропали часы,  
которые я потом обнаружил в  
трещине кирпичной стены.  
Противомоскитная сетка оказалась  
порванной в нескольких местах, в  
кувшин с кипяченой водой кто-то  
помочился. Люди притворяются, что  
это не их рук дело, и только иногда я  
случайно замечаю, как они  
заговорщически перемигиваются.

Пакет с книгами уже перерыли.  
Они постоянно пытаются уязвить

меня исподтишка и  
продемонстрировать свою  
неприязнь.

Только Левша относится ко мне довольно сносно. Он сперва рассчитывал, что обратит меня в свою веру, но теперь все меньше надеется на успех.

— Не будьте вы таким косным солдафоном, — сказал он вчера с напускной фамильярностью. — В жизни старое умирает, новое рождается. Так и в вас самом...

Левша со мной, по крайней мере, разговаривает. Я знаю, что потом ему за это достается.

— Брось ты этого болтуна, Левша. Уж кто-кто, а он не станет

связываться с твоей социальной революцией, — сказал ему негр Ногера.

Он — бывший курсант военной школы и потому питает ко мне особую неприязнь, прикрывая свое раздражение шуточками и балагурством. Его руку я чувствую во всех злобных каверзах, хотя, разумеется, они устраиваются с ведома остальных. Я не могу платить ему той же монетой: я уважаю стремление моего недоброжелателя остаться безымянным, но понимаю, что в этом молчании и заключено плохо скрываемое презрение.

Только бы они не начали травить меня в открытую...

**10 января**

Сегодня воскресенье.

Распаковал присланные мне книжки. Нашел старые асунсьонские газеты с сообщениями о расстреле студентов. Правительственные войска были якобы вынуждены прибегнуть к этой крайней мере, чтобы остановить лавину, грозившую гибелью президенту и его министрам. А виноваты во всем террористы, затесавшиеся среди студентов и подстрекавшие их. Я положил газеты на кровать Левше. Ему будет интересно ознакомиться с подобной мотивировкой.

Среди книг есть несколько

романов и мемуары падре Маиса, вложенные в посылку, безусловно, мужем Дельми, который всегда ненавидел Лопеса. Этого чтения хватит на несколько месяцев, а может, и лет. Я рассеянно перелистал «Войну и мир» и тотчас же вспомнил, что первый раз читал роман Толстого в Итапе. Я как раз приехал туда из военного училища на каникулы и лечился от болотной лихорадки. Помнится, я купил «Войну и мир» в надежде, что она имеет прямое отношение к военной науке. Сейчас я получил тот же самый экземпляр — с моими пометками. Скверная привычка — красным карандашом подчеркивать

чужие мысли, которые моя память так и не сумела присвоить себе.

Из «Войны и мира» я помню теперь только несколько бессвязных кусков. Но имя русского писателя привело мне на ум историю одного истребленного племени. У кого я это вычитал, уже не помню, но строчки так и стоят перед глазами: «Все атуры вымерли. Однако в тех краях есть попугай, который помнит несколько слов по-атурски...»

На что намекает автор, говоря об особой живучести этого попугая? Не знаю, почему мне вдруг пришло это в голову. Вернее всего, по ассоциации с криками нашего попугая, который орал целый день, пока не село

солнце. Кричал он хрипло, постарчески надтреснутым голосом, твердя одну-единственную известную ему фразу: «Yarıá-ke! Yarıá-raíteke...»<sup>[56]</sup> А в перерывах бормотал какую-то непристойность и, нахохлившись, выклевывал паразитов из своих перьев, раскачиваясь на заржавленном обруче. Это голубой попугай с оранжевыми крыльями. По-гуарани он называется агагака — радуга. Говорят, он здешний старожил. И кто только его обучил этой горько-иронической фразе, которую он бессмысленно лопочет как бы в насмешку над нами?

**17 января**

Проливной дождь, зарядивший на весь вечер, загнал нас в помещение. Картежники режутся в буру и двадцать одно, наполняя барак азартными криками, густым табачным дымом, запахом горячего пота. Они то и дело припадают к роговым кружкам с терере<sup>[57]</sup>. Стоящие на улице бадейки полны дождевой водой. Левша не теряет времени даром — проводит «политзанятия» со своими подопечными. Миньо наигрывает на аккордеоне.

Я лежу на койке и под этот страшный галдеж безуспешно пытаюсь читать циничную и



одновременно душераздирающую исповедь Фиделя Маиса. В ней он старается обелить свое поведение во время Великой войны, когда он соединял в одном лице и священника, и кровавого судью армии Лопеса. Перед глазами проплывает его жизнь: сперва рабское подчинение маршалу, потом — отречение от него и отвратительные нападки на покойного. Лопес в апогее славы был для падре Маиса парагвайским Христом, но после того, как его принесли в жертву у Серро-Кора, Маис стал поносить и проклинять Лопеса, называя его исчадьем ада, одержимым дьяволом, убийцей.

Темная душа у этого Фиделя Маиса.

Мне кажется, я слышу его голос; это он двадцать лет назад, в ту памятную страстную пятницу, освящал новоявленную Голгофу на холме Итапе с прокаженным Христом Гаспара Моры. Голос летел над толпой, собравшейся у подножия Итапе, над пылающим от зноя полем, и болтливый старик в пышном облачении, одряхлевший и выживший из ума, каркающим голосом читал проповедь. Мне даже вдруг почудилось, что он просто повторял какие-то непонятные слова на древнем наречии гуарани.

Меня смаривает сон, и, наверное, я все-таки вздремнул,

потому что внезапно услышал, как дождь шелестит о соломенную крышу. Хочется пить. Никому, конечно, и в голову не пришло протянуть мне кружку терере. Я пытаюсь снова углубиться в хитроумную *mea culpa*<sup>[58]</sup> падре Маиса. Нет, не могу сосредоточиться.

### 3 февраля

Пришла шлюпка с почтой и съестными припасами. Я видел, как оживились склонившиеся над письмами лица узников, словно это были не листки бумаги, написанные чьей-то рукой и оскверненные пытливой цензурой, а живые существа.

Я же никому не пишу и ни от кого писем не получаю. У лодочника я купил почти новую удочку с отличным крючком. Он ее держал на носу шлюпки.

Сначала заломил дикую цену, но в конце концов уступил. Я отдал ему последние деньги.

Поговаривают, что в Асунсьоне снова какие-то волнения. Сегодня там, наверное, большое веселье по случаю праздника святого Бласа, покровителя Парагвая. В Итапе обычно в этот день устраивали карнавал.

Вечером, когда я удил рыбу, ко мне подошел Хименес. Он сел на камень, погрузив ноги по колено в

воду, и тупо уставился на реку. Хименес чем-то напоминал калеку, свесившего в воду тощие культы. Он повернулся ко мне, желая завязать разговор, но почему-то медлил. Я чувствовал, что ему очень хотелось поговорить по душам. Наконец Хименес спросил:

— Какая у тебя наживка?

— Копченое мясо.

— Дорадо на него не клюет.

Этим только пираний приманишь.

— Мне все равно — я ужю для собственного удовольствия, — ответил я устало, не глядя на Хименеса и думая, что в Итапе мне и в голову не пришло бы заниматься рыбной ловлей.

— А-а, — протянул он, прислушиваясь к тому, как скользят наши отрывистые слова по радужно-зеркальной воде.

Он плюнул, потревожив спокойную речную гладь. Пора было возвращаться — кто-то громко бил в рельс. Ударам вторило эхо, отзывавшееся у дальнего лилового обрыва, так что казалось, будто нас зовут с того берега реки. Мы молча поднялись на косогор. Хименес то и дело оборачивался, глядя на воду безумными глазами. Он похудел и совсем извелся от горя! Недаром говорят: ничто так не грызет мужское сердце, как мысли о женщине, с которой его связывает не

постель, а душевная близость.

5 февраля

Поймал отличную бешенку. Мы поджарили ее на углях и съели вместо тошнотворной лагерной баланды. Я лежал на койке. Меня опять бил озноб. Застарелая малярия, видно, пустила корни в кровь и опутала нервы. Но стоит приступу пройти, как у меня словно пелена спадает с глаз и передо мною отчетливо возникают вещи, давным-давно забытые. Это единственное серьезное огорчение, которое приносит болезнь.

**20 февраля**

Перед самым рассветом Хименес пытался удрать на старой лодчонке. Это была затея, заведомо обреченная на провал. Давно вышедшая из употребления посудина сразу же дала течь во многих местах, а Хименес не умеет плавать. Не успел он добраться до волнорезов, как стал тонуть. Пятеро солдат — все отличные пловцы — вытащили из воды полумертвого беглеца и, бросив его на дно лодки, вернулись на берег. Все это было действительно немножко смешно. Некоторые, вроде Ногеры и Миньо, хохотали во всю глотку и отпускали язвительные шуточки, глядя, как Сайас мечется по



берегу, кричит как сумасшедший и яростно размахивает руками; не знаю, что его больше заботило: спасение беглеца или его наказание.

Последствия сказались незамедлительно: Хименесу дали тридцать суток карцера. Отныне остальным можно спускаться к реке только в назначенные часы, группой, под присмотром конвоиров.

— Вот что получается, когда им доверяешь, — вопил Сайас перед строем солдат.

Теперь уж мне не купаться поутру, наслаждаясь одиночеством, а вечером не ловить рыбу. Идиотская выходка Хименеса разом лишила нас той скудной свободы, которой мы

еще располагали.

## 29 февраля

На рассвете Хименес умер. Когда у него началась лихорадка, Сайас велел перенести его в барак и положить на койку. Последние три дня он лежал без сознания и тупо глядел в потолок. И поскольку наша трухлявая посудина была в ремонте, а шлюпка заглядывала только один раз в начала месяца, то своевременно отправить Хименеса в больницу не сумели, хотя спасти его было еще возможно. Не менее затруднительным оказалось и увезти труп, который от жары стал быстро разлагаться. Ногера сказал, что

Хименес даже умер неудачно, не в тот день:

— Будь год не високосный, так он умер бы в день героев<sup>[59]</sup>.

Похороны его превратились в пародию на погребение. Из разбитых ящиков склотили гроб. На крышке пестрели надписи, рекламирующие разные сорта мыла и керосин.

Могилу принимались рыть дважды или трижды, пока наконец не наткнулись на такое место, где окаменелый туф оказался податливым и позволил выкопать довольно глубокую яму. Сайас пытался произнести экспромтом что-то вроде надгробной речи, но вынужден был часто

останавливаться. Назойливые выкрики и заборная брань попугая то и дело пронзали барабанные перепонки вечера. Какой-то солдат погрозил ему прикладом, — тогда он замолчал. Все это было похоже на странный фарс.

Бедняга Хименес! Когда первая горсть щебня упала на кое-как сколоченный гроб, я подумал: о чем же хотел рассказать мне Хименес в тот вечер? Я понимал, что это не имело никакого отношения к пираниям и наживке. Наверное, я мог бы тогда помочь ему. Человек был на краю гибели, и ему нужна была неотложная помощь, что-то вроде искусственного дыхания. Ведь

один понимающий добрый взгляд подчас может спасти человеку жизнь. Но меня раздражала непроходимая глупость Хименеса. Я догадывался об истинной причине его бегства, хотя он не заикнулся о ней. Ведь удайся ему побег, он все равно пропал быв этой чертовой пустыне, где уже столько времени пекся на солнце. Теперь ему, по крайней мере, спокойно.

Завтра начнется следствие. Будут расспрашивать о чем угодно, только, разумеется, не о происшедшем. У Сайаса в этом деле совесть не чиста, на всякий случай он переменял к нам отношение. Но мы, конечно, не станем давать показания, чтобы

помочь                      восстановить                      его  
пошатнувшийся престиж. С тех пор  
как островок превратили в место  
заключения, на нем впервые умер  
человек.

## **20 марта**

Прибыл новый начальник в  
сопровождении следователя. Сайас с  
лицемерной угодливостью встретил  
его у причала. Вид у него был  
довольно жалкий. Капитан Киньонес  
не терял времени даром. Прежде  
всего, несмотря на воскресенье, он  
устроил самый тщательный осмотр  
заключенных, равно как и проверку  
их личных вещей, книг, писем и  
разного бумажного хлама.

Я знаю Киньонеса по военному училищу. Он был на курс старше меня, но прошло несколько лет — и мы оба стали офицерами. Мы даже поддерживали дружеские отношения и были на «ты». Теперь он притворяется, что видит меня впервые. Так-то лучше каждый точно знает свое место. Незадолго до заговора Киньонес попросил, чтобы его перевели в один из северных гарнизонов. Оттуда его прислали в Пенья-Эрмоса на смену провинившемуся Сайасу. О Киньонесе трудно сказать, что он сделал карьеру. Его это мало заботит, хотя человек он законопослушный, относящийся с уважением ко всякому

предписанию, военной дисциплине, иерархии чинов.

## 23 марта

Следствие началось. Показания давали все без исключения. Этой процедуры избежал только попугай, немало докучавший следователю своими назойливыми и насмешливыми криками.

Левша попал впросак. На допросе он страшно волновался:

— Лейтенант Хименес — жертва тюремного произвола в нашей стране. Уж если военные так умирают в лагере, можете себе представить, сеньор следователь, какова судьба гражданских лиц в



тюрьмах.

Сверкающие глаза на худощавом смуглом лошадином лице строго смотрели на дотошного следователя, как будто обвиняли и его в случившемся.

Эта выходка обошлась Левше в несколько суток карцера. Вдобавок гражданских заключенных изолировали от нас. Теперь они живут в другом бараке. Приказ Киньонеса строжайшим образом соблюдается. Отныне нам позволено встречаться с гражданскими только в столовой и в бане.

**3 апреля**

Сегодня утром Киньонес вызвал

меня. Он разговаривал отнюдь не как старый товарищ или друг, однако отнесся ко мне с некоторой доброжелательностью.

— Я ознакомился с вашим делом, — сразу сказал он, не спуская с меня спокойных карих глаз. — Мне кажется, что судьи перегнули палку и не совсем справедливо рассмотрели этот инцидент в военном училище. Больше того: я уверен, что вы причастны к нему по недоразумению, хотя все улики против вас... — Он протянул мне сигарету, не отрывая от меня испытующего взгляда. Потом, помолчав, продолжал: — Но скажите мне, что все-таки произошло в этом

Сапукае и как получилось, что вы оказались вместе с бунтовщиками? К сожалению, я не уполномочен пересмотреть все ваше дело. Однако нам обоим было бы выгодно прийти к взаимопониманию. Я никак не могу себе представить, что вы...

Он, должно быть, почувствовал, как все во мне кипит от гнева, поэтому и осекся. Меня бесило то, что посторонний человек, хотя и движимый благими намерениями, пытается перевернуть мое прошлое. О чем мне говорить с Киньонесом и о чем умолчать? Все, что мог, я уже сказал в свое время другим и умолчал о том, чего не хотел предавать огласке, хотя меня

подвергли моральным и физическим пыткам. Даже себе самому я рассказал лишь то, что считал нужным, остальное вычеркнул из памяти и запретил себе думать об этом. В протоколе суда были записаны туманные слухи, будто я предал восставших гончаров и такой ценой купил свободу. Свобода — слово, лишённое для меня всякого смысла! Собственно, эти наветы были единственным свидетельством в мою пользу, и обвинение в предательстве оказалось смягчающим обстоятельством, но я отвергал это с самого начала процесса. Какой мне был прок предавать несчастных заговорщиков

с болота? Впрочем, люди, клеймившие меня, в общем оказались правы, потому что напиться той ночью было равносильно доносу; по крайней мере, так рассудила моя совесть. Но именно этими соображениями я не могу поделиться ни с кем, тем более с Киньонесом, ограниченным служакой, ревнителем военной чести, образцом человеческой черствости. Мы — офицеры разной закваски; меня военная служба соблазнила только одним: франтоватой формой курсанта.

— Я согласен с приговором, — только и ответил я. — Меня выслали, и я отбуду свой срок. Я не прошу

поблажек или смягчения своей участи.

Киньонес не настаивал. Он отпустил меня, не сказав больше ни слова. Но беседа с ним разбередила еще не зарубцевавшиеся раны. Целый день у меня не шла из головы эта странная и мучительная история. Что случилось с беднягами, заплатившими жизнью за мое мнимое предательство? Передо мной встают их лица, тот памятный вечер, развалившийся вагон, заброшенный в леса Коста-Дульсе. Иногда, как сегодня, мне хочется думать, что ничего этого не было. И я сразу же чувствую, как начинает болеть сердце и ныть душа.

**27 апреля**

Киньонес претворял в жизнь свои нововведения исподволь, но с железной последовательностью. Теперь Левше стало труднее распространять крамольные идеи в те редкие минуты, когда гражданские и военные заключенные сходились вместе.

— Какая жалость! — говорил Ногера. — Хоть бы на нашем захудалом островке наладилось взаимопонимание между армией и народом!

Тем не менее узники опять потихоньку готовят план побега.

Даже я знаю некоторые его подробности. Моторная лодка, перешедшая теперь в распоряжение лагерного начальства, может сослужить добрую службу. Естественно, все меня сторонятся и в моем присутствии боятся разговаривать.

## 14 мая

Сегодня празднуется годовщина независимости Парагвая. По этому случаю — торжественная месса, поднятие флага и присяга перед знаменем. Специально приглашенный священники Киньонес по очереди краснобайствуют о любви к богу и



отечеству, о свободе и почитании национальных героев. Словом, церемония, в высшей степени уместная в лагере.

Накануне вечером, когда священник исповедовал всех готовящихся к святому причастию, конвоиры, изловчившись, поймали попугая и сунули его в карцер, чтобы он не вносил сумятицы и не докучал своими назойливыми криками.

## **17 июня**

Перед отбоем Киньонес сообщил нам о том, что сильный отряд боливийцев захватил парагвайский форт Питиантута. Небольшой гарнизон — капрал и

пятеро солдат — был уничтожен. Даже на нашем островке двадцать охранников.

Общее недоумение, беспокойство. В столовой Левше было теперь о чем поразглагольствовать.

— Посмотрите на этих пацифистов из правительства! — кричал он. — В Чако боливийцы уничтожают наши гарнизоны, а в Асунсьоне полицейские расстреливают молодежь, которая просит оружия для защиты от боливийцев!

— А вы что — милитарист? — насмешливо спрашивает Вальдес.

— Нет! — горячится Левша. —

Но уж коли война, так не одним же солдатам воевать.

— Все пойдем на фронт! — сказал, отодвигая пустую тарелку, артиллерист Мартинес, нелюдимый, мрачный человек. — Это наша земля, — все должны ее защищать.

— Боливийцы утверждают, что хозяева этой земли они, — вмешался Левша.

— Все дело в королевских грамотах, — заметил Вальдес.

— Или в моли, — с серьезным видом вставил Ногера.

— Какая еще моль? — спросил Миньо.

— Моль Аудиенсии Чаркас<sup>[60]</sup>, — ответил тот. — Помните, мы в

школе проходили по истории? Моль, которая завелась в архивах Чукисаки<sup>[61]</sup> и Асунсьона.

— Не понимаю, какое она имеет отношение к теперешним событиям. Моль! Скажет тоже, — раздраженно фыркнул Мартинес.

— Самое прямое! Это прожорливое насекомое съело королевские указы, пограничную полосу, принцип *uti possidetis*<sup>[62]</sup>, поглотило реки, все подчистую — и теперь никто ничего не понимает. Ни наши юристы, ни их.

Больше уже никто не мог сдерживаться, и каждый хохотал во все горло.

— Мы будем сражаться за

грамоты! — размахивал руками Левша, стараясь перекричать остальных. — Но не за грамоты, съеденные молью в Чаркас и Чукисаки, как говорит Ногера.

— А за какие? — оборвал его тот на полуслове.

— За грамоты и новенькие акции, хранящиеся в несгораемых сейфах помещиков, торгующих танином. Каждый из этих помещиков посильнее нашего правительства, да и всего Парагвая. Вот что вы мне скажете о Касадо? [\[63\]](#) Стоит нам войти в Чако, как мы сразу оказываемся в его владениях. Стало быть, мы будем просить, чтобы нам дозволили умереть за его земли.

— Этого я уж совсем не понимаю, — возмутился один штабной офицерик, по-обезьяньи жестикулируя. — Зачем же нам умирать холостяками за сеньора Касадо?

Ответом ему был общий гогот — всех рассмешила эта наивная игра слов. Левша терпеливо выжидал, пока узники угомонятся, и снова пошел в атаку.

— Нам предстоит не только сражаться за эти самые грамоты и отстаивать интересы парагвайских латифундистов, но и умирать за них и за акции заграничных нефтяных компаний.

— Нет, мы будем сражаться и

умрем патриотами! — закричал Мартинес.

— Да, только наш патриотизм будет отдавать керосином, — отрезал Левша, опустив уголки губ. — У крупных предпринимателей острый нюх. Издали чуют, что Чако пахнет нефтью. Целое море нефти скрывает эта земля.

— Так нам и надо защищать нашу нефть! Или ты хочешь отдать ее боливийцам, дьявол тебя задери? — взревел артиллерист.

— Она достанется не им, — ответил Левша. — Даже если они получают всю область Чако. Вот про это мы и должны открыто сказать тем, кто готовит войну, ребята! —

крикнул он и стукнул кулаком по столу. — Всем, кто готовит ее в Парагвае и за границей, разным компаниям «Стандарт», «Касадо» и прочим.

— Смени пластинку, Левша, — шепнул ему, подмигивая, Ногера, заметив приближающегося к ним начальника лагеря.

Появление Киньонеса положило конец разгоревшемуся спору. Несмотря на наши шуточки и балагурство, каждый понимал, что война не за горами. Даже для нас. Правда, нам она представляется сейчас чем-то нереальным и бесконечно далеким.



### 3 августа

Когда план побега хоть и медленно, но все же начал принимать более или менее отчетливые очертания, неожиданно нам объявили о помиловании и зачитали приказ о нашем переводе. Перебрасывают всех. Объявлена всеобщая мобилизация. Всякому понятно, что не сегодня-завтра начнутся бои. Тридцать первого превосходящие силы противника захватили форт Бокерон. Киньонес познакомил нас с выдержками из приказа высшего командования, находящегося в Консепсьоне. Да, на сей раз речь идет не о простой стычке. Очевидно, нарушившие

границу боливийцы стягивают войска в надежде перерезать главную водную артерию — реку Парагвай; это все равно что перебить нам хребет. Если удастся завладеть рекою, они сложат нас вдвое и загонят в мешок.

Всех заключенных отправляют в Чако. Там мы будем нужнее, чем здесь. Прогнозы Левши сбылись; впрочем, остальные тоже говорили правду. Наши идейные разногласия разом были сведены на нет. Отныне никаких политических дискуссий. Между Колорадо, либералами и беспартийными заключен мир; между сторонниками войны и ее противниками воцарились согласие

и взаимопонимание, словно мы и в самом деле завтра окажемся на воле. Теперь даже со мной кое-кто перекидывается словом. Киньонес стал обходиться с нами по-дружески.

## **5 августа**

За нами пришла лодка. Вечером мы отчаливаем. В осиротевшем лагере остаются только капрал, двое солдат и попугай. Взбудораженный предотъездной суматохой, он так истошно вопил, что даже охрип. Ногера на прощание приласкал птицу: поцеловал ее прямо в крючковатый клюв. Все на радостях смеялись, выкрикивая патриотические лозунги. Попугай

что-то буркнул в ответ и, как обычно, спрятал под крыло лысую голову. Когда скалистый остров опустеет, эпитафией на могиле Хименеса будет только хриплый крик этой большой птицы.

Шум и веселая болтовня продолжались и в лодке. Я устроился на корме и смотрел не отрываясь, как постепенно удаляется островок. Теперь мне опять казалось, что он уверенно и стремительно плывет против течения. В последний раз я увидел, как на фоне багряного неба меж зеленых листьев скользнули два мягких голубых крыла.

**13 августа**

Из Пуэрто-Касадо мы в полночь поездом приехали на сто сорок пятый километр. Довольно долго тряслись в вагоне, потом пересели на разбитые грузовики, которые без остановок дотащили нас до тыловой базы. По дорогам тянутся бесконечные обозы, отряды новобранцев. Идут мимо дорожных комендатур. Мелькают названия, пахнущие родным домом: Касанильо, Посо-Асуль, Кампо-Эсперанса... В свете фар они то появляются, то исчезают в волнах пыли. Чтобы отогнать сон, пишу эти записки.

Рано утром на небольшом песчаном холме показался форт

Исла-Пои. За ним сверкает озеро. Играет яшмовая чешуя воды, по берегу лепятся чахлые кустики.

Настоящий оазис на этой прокаленной солнцем равнине, которая по воле случая превратилась в кратер действующего вулкана, пожирающего бездонной пастью пепел людских караванов. Здесь лихорадочно готовятся к контрнаступлению.

## **14 августа**

Всех нас, ссыльных, раскидали в разные стороны. Меня направили в Н-ский полк, стоящий на формировании, а там сразу же поручили сварить похлебку из

пушечного мяса по рецептам полевого устава.

Множество мужчин в военной форме оливково-зеленого цвета беспорядочно копошатся на громадной пустынной равнине, словно черви в гниющем куске сыра. Но они не черви, а люди, и они не родились на этой бескрайней, пористой, как пемза, земле. Они ходят по ней пленниками собственной судьбы. Их мобилизовали наравне с грузовиками и вьючной скотиной.

## **20 августа**

С сегодняшнего дня у меня в денщиках солдат по имени Ниньо

Насимьенто<sup>[64]</sup> Гонсалес. Его в шутку окрестили «Вифлеемским младенцем». Я встретился с этим парнем, когда из Асунсьона пригнали свежую партию новобранцев. Он оказался сыном Лагримы Гонсалес. Я подумал об этом с самого начала, как только увидел его имя в списках мобилизованных. Помнится, Лагрима как-то заверяла меня, что если у нее когда-нибудь родится сын, то она назовет его Ниньо Насимьенто. Какие только причуды не бывают у женщин. С тех пор прошло много лет. Сколько? Целая жизнь.

Незадолго до заговора я был у Лагримы на улице Генерала Диаса,



512, в публичном доме возле военного госпиталя. Кто-то сказал мне о ней. Я тогда заканчивал очередной курс лечения моей застарелой малярии. Пришел вечером. Лагрима увидела меня и смутилась. Мы прошли в ее комнатенку. Она стыдливо переоделась за ширмой, засмеялась нервно, растерянно, хотя и старалась воспроизвести смех той молоденькой девочки, какой я ее знал прежде. Но смех этот был уже не тот. Мы просидели два часа на кровати — ровно столько отпускалось клиенту — и, как робкие влюбленные, чувствовали себя не в своей тарелке. Говорили об Итапе, о школе,

вспомнили знакомых, постепенно привыкая друг к другу: многое нас связывало и одновременно разъединяло. Уже в конце разговора она спросила, не хочу ли я с ней лечь в постель. Я отказался. Это было бы похоже на кровосмешительство. Я подарил ей доставшийся мне от деда перстень и вышел на улицу. На душе было мутно и пусто, будто я разом постарел.

«Вифлеемский младенец» меня не знает, впрочем, и я до нашей встречи не подозревал о его существовании. От матери он унаследовал карие лукавые глаза. Он вполне мог бы быть моим сыном, но он — мой денщик. Перипетии войны

сделали меня его командиром. Неумолимые законы случая, видно, предпочитают действовать в самом средоточии хаоса — там есть где им развернуться в полную силу.

## **25 августа**

Высунула нос вражеская авиация. Самолет пролетел низко над тыловой базой, обстрелял ее из пулемета, сбросил несколько бомб. Обошлось без потерь. Маневры одинокого «юнкерса» лишь позабавили солдат: многие из них совсем недавно сменили крестьянскую одежду на военную форму и видели самолет впервые в жизни. А через полчаса следом за

«юнкерсом» появились два парагвайских «потеса». Выхлоп у них был шумный, как дыхание у астматиков, и рев они издавали невероятный. Какой-то шутник свистнул при виде этих воздушных колымаг, которые с опозданием завладели небом над нами и теперь чванились, как два лесных павлина.

Мы поспешно сооружаем укрытия — некоторое подобие блиндажей. Вырыли огромные ямы, навалили поверх стволы деревьев — вот и накат.

## 31 августа

Во время тактических учений рядом с нами оказался взвод

автоцистерн. Среди  
реквизированных для штаба  
грузовиков я вдруг заметил  
обшарпанную развалину и тотчас  
узнал в ней машину с гончарен в  
Сапукае.

За рулем, как и следовало  
ожидать, сидел Кристобаль Хара —  
единственный, кто спасся на болоте  
от карателей. Сквозь плотную завесу  
пыли очертания его фигуры казались  
расплывчатыми, но я был убежден,  
что это Кристобаль. То же смуглое  
худощавое лицо, как всегда немного  
подавшееся вперед, по-прежнему  
молчалив и сосредоточен. В другом  
грузовике сидел Сильвестре Акино.  
В общем, они попали из огня да в

попымя. Война реабилитировала и их: из политических преступников, приговоренных к каторге, они превратились в галерных рабов-водовозов, которые будут доставлять воду на фронт, где отмывается национальная честь. Раньше, словно стена, их отделяла от мира пустыня. Теперь она станет для них дорогой.

Я ушел в размышления и забыл, что у самого озера, напротив свалки, проводится учебная атака на вражеские траншеи, но когда слышались холостые выстрелы, я очнулся и понял, что происходит.

**5 сентября**

В казино собрались офицеры.

Народу много — яблоку негде упасть. Командующий лично решил приветствовать подразделения, которые первыми двинутся отвоевывать Чако. Что и говорить, затея с Чако утопическая, и он — автор этой утопии, во имя которой еще совсем недавно расстреливали людей. Подполковник Эстигаррибиа, приземистый человек с вкрадчивыми манерами, старается не привлекать к себе внимания. Полевая форма ему явно велика. Этот человек с внешностью доброго чадолюбивого папаши в мундире кажется мрачным и бесчеловечным гигантом.

— Это будет война коммуникаций, — неожиданно

прогнусавил бывший ученик  
Фоша<sup>[65]</sup>, будто заговорил сам с  
собой. — Победит сторона, которая  
сумеет перерезать коммуникации  
противника, и прежде всего те, по  
которым к нему поступает вода.  
Следовательно, это будет война  
жажды, — помолчав, добавил он,  
подчеркнув последние слова. — Я  
пью за нашу победу!

Станный тост! Странная  
стратегия! Станный командующий!

По ту сторону фронта — Кундт,  
немецкий офицер, наемник. В этой  
латиноамериканской пустыне  
столкнутся две европейские школы  
тактики. Борьба, правда, будет  
вестись весьма примитивными



средствами, но интересы при этом преследуются отнюдь не примитивные. Это один из способов приобщить к цивилизации наш захудалый край, погрязший в рутине с первого дня творения.

Пока я пишу эти строки, «Вифлеемский младенец», ковыряя в носу, следит за мной. Я поднимаю на него глаза, и он, автоматически щелкнув каблуками, уходит. Как бы мне хотелось поговорить с ним, расспросить о разных вещах, а не кропать эти записки. Но по уставу командиру не положено изливать душу своему подчиненному. В армии мораль питается недоверием.

**7 сентября**

Наш полк — часть пятитысячной группировки. У нас одна цель — отбить у неприятеля форт Бокерон. Согласно боевому приказу мы входим в первую колонну (главные силы). Нам предстоит выйти по старой дороге прямо к крепости. Вторая колонна двинется к Бокерону по новой, более прямой дороге. В точно назначенный час обе колонны сойдутся у крепости и, зажав ее в клещи, внезапной одновременной атакой раздавят, как кокосовый орех.

Я тщательно пересчитал своих солдат — сто тридцать шесть человек. Все они новобранцы, но

парни что надо. Потом отдал необходимые распоряжения командирам взводов. Рота готова к выступлению.

Мы выйдем, едва займется заря. Ждать уже недолго. Понемногу светает, но утро с трудом выбирается из цепкой ночной темноты. Глухой шум тыловой базы, непрекращающийся всю ночь, замирает под тяжестью навалившейся тишины. Скорей бы сигнал к выступлению. Бледнеют понемногу человеческие силуэты, сереют постройки, снуют лиловые тени, клубится вязкая беспокойная пыль. Рядом красным пятном маячит огонь костра, в котлах булькает

солдатская похлебка.

Многие уже на ногах. Многие, как и я, наверняка даже не прикорнули за ночь. Все следят за палевым зыбким горизонтом, а он линяет на глазах. Меж подорожников и тростниковых зарослей — стылое голубое сияние. Это озеро. Озеро Исла-Пои, хвастливо переименованное в «Озеро победы». Единственный водоем на многие километры. К его берегу подъезжают темные грузовики и набирают воду в цистерны. Высоко в небе разливается свет, отражаясь в воде. Откуда появилось это озеро, сколько ему лет — сказать трудно. Оно лежит на покато́м животе холма, у развилки

двух дорог, ведущих к полю сражения, и покрыто мелкой рябью. На этой иссохшей, задубелой от зноя равнине лишь озеро — свидетельство жизни. Над ним реют стаи птиц: они стонут от жажды, словно предсказывают нам ту же участь. От этого трепетного водного лона и зависит исход борьбы.

## 5

### **9 сентября (у Бокерона)**

Мы окунулись в купель, до краев налитую кровью. Задуманные «клещи» обернулись против нас самих. Наши пошли в атаку, но она

захлебнулась еще на подступах к переднему краю обороны противника. Мы не заметили, что в лесу скрывается вражеская огневая точка. Напротив крепости, прямо к юго-востоку, полумесяцем зияла громадная впадина шириной более километра. Она была плоской и плешивой, как деревенская площадь. Лес тянулся вдоль поля и подходил вплотную к самому горлу этой котловины. И всякий раз, когда наши очертя голову бросались в атаку, они падали наземь, как вышелушенные из початков зерна маиса; их косил свинцовый град вражеских пулеметов. Горный массив Пунта-Брава ошетинился огнем. Наши

батареи стреляли на глазок. Их мины и снаряды пробивали огромные бреши в нашем ударном эшелоне, не долетая до позиций боливийцев. Фланговые цепи расстроились и сбились в кучу, тесня друг друга; в этой адской круговерти человеческих тел парагваец убивал парагвайца. Хотя наш батальон был отведен в резерв, вскоре его зажали с обеих сторон отступившие фланги. Остальные тоже дрогнули и побежали. Солдаты кинулись наутек, и даже пули не могли остановить начавшейся паники. При первой же стычке моя рота понесла большие потери, и в этой мясорубке пропал «Вифлеемский младенец».

К восьми часам утра лобовая атака окончательно захлебнулась. На покато́й площадке впадины осталась только груда трупов, отчетливо видная в полевой бинокль. Разрывы боливийских снарядов целый день сотрясали погибших, и казалось, будто их бьет озноб. Я долго следил в бинокль за бесформенной кучей тел, застывших в причудливых позах. Я был почти уверен, что среди этих сжигаемых солнцем мертвецов нет моего денщика.

Тянется изнурительная перестрелка. Наши пушки опять вслепую бьют по густым зарослям. В воздухе гулко разносятся их надменные, но, увы, бесполезные



раскаты. Надсадно кашляют минометы, им вторят щелканье винтовочных выстрелов и дробь автоматных очередей. Бесконечные вереницы раненых, смертельно-бледных, истекающих кровью, ползут по тропинкам в тыл.

Темнеет. Полная деморализация. Усталость. Бессилие. Ярость. Тучи огромных, как слепни, москитов терзают нас. От них нет никакого спасения. У меня болит локоть: во время отступления его царапнула пуля. Но еще больше мучает спекшееся от жажды горло, жжет в груди, будто там ноющая язва. Воду опять не подвезли. Мы ее по-прежнему ждем, сплевывая

пропитанную пылью слюну.

**10 сентября**

Наше неустрашимое командование отдало новый приказ окружить противника. Наспех реорганизованные части снова устремляются в гущу боя. Правда, теперь они действуют с большей осмотрительностью, чем вчера, но, увы, не с большим успехом. Нынче по чистой случайности наше положение не такое отчаянное: мы оказались под прикрытием огромной кучи мертвецов в котловине. Прячась за этим смердящим бруствером, мы продвигаемся черепашьям шагом и вслепую отыскиваем злополучную

огневую точку противника. Все спрашивают друг друга, где же крепость. Бокерон ощерился стеной колючей проволоки, и мы ползаем перед ней на брюхе, точно затеяли какую-то странную игру, похожую на «жмурки».

В этой котловине смерть танцует под певучий аккомпанемент пуль. От такой музыки волосы встают дыбом, свинцовый прибой захлестывает нас. А в небе низко над нами кружат самолеты с желто-зелеными знаками на крыльях и сбрасывают прямо на голову смертоносные бомбы, поливают огнем из пулеметов.

Над фортом то и дело

распускаются зонтики маленьких парашютов, которые, грациозно покачиваясь в воздухе, спускают большие тающие глыбы льда для изнывающих от жажды боливийцев. Да, их командование заботится о здоровье своих офицеров.

Один из этих тюков со льдом, обложенным опилками и обтянутым мокрой дерюгой, угодил прямо на наши позиции. Этот упавший с неба кусок льда произвел такое же опустошение, как разорвавшийся снаряд.

**11 сентября**

Удушливый

зной.

Из

наполнившей

воздух

пыли

получилась горючая смесь, которая держит легкие «од прозрачным огненным прессом. Жажда — белая смерть — разгуливает под руку с той, другой — красной; обе надели на голову каски из пыли. Санитары и водовозы работают без передышки, не щадя себя. Воды все равно не хватает. Да и как может жалкий десяток грузовиков обеспечить драгоценной влагой две дивизии? С пункта снабжения наши спасители тащат на плечах канистры с водой, петляют по извилистым тропкам сельвы, и большая часть бесценного груза по дороге расплескивается, испаряется или разворовывается. За двое суток офицерам выдали на

каждого по полкотелка, а солдатам без малого полфляжки почти кипящей воды. От мясных консервов, которые входят в наш рацион, страшно хочется пить. Целые подразделения, обезумев от жажды, опрометью бегут с передовой, накидываются на автоцистерны или на несчастных каторжников с канистрами. Двоих из них мародеры прикончили штыками прямо у наших позиций. В назидание остальным негодяев расстреляли тут же перед порожними канистрами, из которых, стоя на коленях, они лакали воду, окрашенную кровью. Да, не случайно подполковник Эстигаррибиа поднимал тост за войну жажды: вот

она перед нами. К ночи появился «Вифлеемский младенец» и рассказал, что с ним приключилось; ни один мускул на его лице не дрогнул. Оказывается, в самом начале паники и неразберихи он попал в лес, заблудился и долго ходил от одного поста к другому, пока не добрел до своих. Потемневшие глаза парня светились лукавым самодовольством. Странно, эти скитания как будто отвлекли его от мыслей о воде.

## **12 сентября**

Жизнь на позициях снова вошла в привычный ритм, но надолго ли? Равновесие крайне неустойчиво.

Дезертиров и охотников за водой поубавилось — с ними слишком сурово расправляются. Теперь изобрели новый способ «окапываться»; солдаты сами себя увечат, чтобы воспользоваться законной привилегией раненых — эвакуацией или котелком воды. Дезертиров, симулянтов, мародеров немедленно предают военно-полевому суду и расстреливают. Дисциплина понемногу налаживается.

Все говорит о том, что осада Бокерона затянется надолго. Командиры всех частей, от батальонного и выше, отдали приказ: каждому солдату на командных



пунктах вырыть индивидуальные убежища глубиной в метр, завалить их сверху стволами деревьев и присыпать землей.

«Вифлеемский младенец» пришел ко мне и возмущенно заявил, что наш командующий велел выкопать себе щель трехметровой глубины.

— Копайте, копайте! — приказал он ординарцам.

— Докопаемся до того, что нефть брызнет, — проворчал кто-то из них.

Дело, конечно, не в том, с каким лукавством рассказывал мне об этом «Вифлеемский младенец», парень язвительный и с юмором, а в том,

что едкие пары недовольства деморализуют армию. Ведь брызнет-то нефть, а не вода.

И снова я, словно воочию, вижу солдатские изнуренные лица: колонна ползет по старой дороге, спины горбятся под тяжестью снаряжения, головы запрокинуты, а глаза прикованы к сверкающему озеру, которое стало для жаждущих такой же навязчивой идеей, как захват крепости Бокерон.

## **13 сентября**

Мы идем в разведку. Наши войска перерезали дорогу на Юхру — основной путь к крепости, занятой неприятелем. Теперь-то уж

мы соединимся с северной колонной. Командование хочет загнать боливийцев в ловушку, а для этого ему нужно знать, где и как на этом участке располагаются оборонительные рубежи противника. Но боливийцы ловко замаскировали тылы Бокерона. Прикрыли, так сказать, зад. Стыдливость, прямо скажем, излишняя.

Мы змеями ползем по иссохшему жнивью, стерня и колючки впиваются в тело, — больше километра горячей земли. Впереди меня двадцать человек в оливково-зеленых отрепьях; люди приникают к полю, обливаются липким потом, который тут же

превращается в розоватый клейстер. Никаких важных сведений мы не раздобыли, зато в назидание нам открылась еще одна картина из «трагедии жажды». На поросшем тростником островке, на ничейной земле, — индейский колодец, развороченный боливийскими и парагвайскими снарядами, угодившими в него одновременно. Спрятавшись за стену кустарника, я смотрел в бинокль на то, какой урок преподала нам мертвая природа. Вокруг колодца валялись трупы — целая груда. Людей здесь накрыло огнем. Одни едва успели окунуть лицо в воду и теперь пьют вечность неторопливыми глотками. Другие

лежат, крепко обнявшись, тихие и умиротворенные. Хаки и оливковозеленые мундиры смешались. Они прошиты пунцовыми нитками запекшейся крови и как бы спаяны в нерушимом братстве.

## **14 сентября**

Погиб командир батальона. За минуту до его смерти мы ожесточенно спорили и орали что есть мочи, стараясь перекрыть свист шрапнели. Я просил у него разрешения перевести роту на менее уязвимые позиции. Командир ответил мне грубостью. Я толком не расслышал его слов, очень

разозлился, но тут вдруг увидел, что он взмахнул руками и странно, с каким-то женским кокетством прищурился, потом медленно покачнулся и повис у меня на шее. Обескураженный такой разительной переменной в поведении командира, я не понял, что же произошло, пока наконец мои пальцы не погрузились в кровавую патоку, сгустившуюся у него на спине.

В батальоне я был самым опытным офицером, поэтому мне пришлось заменить убитого и переселиться в его блиндаж.

**15 сентября**

У осажденных явно скудеют

силы. Теперь зеленожелтые самолеты сбрасывают на парашютах не ледяные глыбы, а медикаменты и съестные припасы, которые большей частью попадают на наши позиции.

## **16 сентября**

Винт, соединяющий обе половины «клещей», заново подмазан и подкручен. Теперь, когда мы получили подкрепление, они плотно сомкнулись, не оставив зазора. Численность наших войск выросла вдвое. Около десяти тысяч хорошо вооруженных солдат и офицеров затягивают петлю на горле полумертвого бастиона, но он живуч, как кошка. Порою чудится, что перед

нами обезумевший от голода и жажды ягуар. Он сидит на задних лапах и зализывает раны. Лес вокруг него объят пожаром, а он спрятался в нем невидимкой, готовясь к решающему прыжку. Сейчас он единым духом перемахнет через расставленные нами капканы и даст выход яростному опьянению, которое подчас помогает этим хищникам вырваться из тисков смерти.

Командование отдало приказ атаковать крепость с тыла. С началом этой решающей операции придут в движение все наши растянувшиеся с севера на юг части, которые станут понемногу сжимать концентрические кольца, словно



анаконда, обвинившая свою жертву.

Батальон под моим командованием направляется на левый фланг; нам поручено захватить дорогу на Юхру, находящуюся во власти Корралеса, и выставить патрули в малоизвестном секторе около форта Арсе, чтобы предотвратить возможное просачивание противника в этот район. Приказ отдан устно и сформулирован не очень четко. Насколько я понял, передо мною поставлены совершенно разные задачи, для выполнения которых у меня явно недостает сил. Посылаю адъютанта, пусть дадут приказ в письменном виде. Батальон —

игрушка, которой забавляется каждый сумасброд. То его отводят в резерв, то выдвигают в боевой эшелон. Сегодня ему поручают убирать мусор, а завтра — стирать белье.

## 17 сентября

Конца битвы за Бокерон даже не предвидится. Отбита еще одна атака. Да, крепкий орешек эта крепость.

Напрасны все перистальтические конвульсии наших линий. Орешек не расколоть и не проглотить. Есть что-то колдовское в неистовой и слепой одержимости, с которой горстка незримых, засевших в лесу

защитников крепости  
сопротивляется нам. Мы ведем  
борьбу с призраками, наделенными  
неиссякаемой роковой силой, силой  
обреченности, которая может  
побороть усталость, отчаяние,  
предсмертную агонию.

Помню, в детстве отец велел  
мне прикончить кошку, покрытую  
лишайями. Преодолев отвращение, я  
засунул ее в мешок и принялся  
вслепую наносить удары ножом, пока  
не онемела рука. Каково же было мое  
изумление, когда из развязавшегося  
мешка выскочила израненная кошка  
и с душераздирающим воем, от  
которого сжалось мое сердце, стала  
кататься передо мной.

**18 сентября**

Шли всю ночь. Было очень тяжело. На рассвете наткнулись на вражеский отряд, который, очевидно, хотел пробиться к Бокерону. После короткой стычки неприятель предпочел отступить, оставив в качестве трофеев нескольких убитых да издыхающую ослицу.

Мы опять оказались на грани катастрофы: авангардная рота, атакованная с фланга, дрогнула и обратилась в беспорядочное бегство, грозя увлечь за собой остальные подразделения. К счастью, боливийцы отступили, и мы снова быстро построились в колонну, хотя

минуту назад были на краю гибели. Потеряли пятерых, в том числе и командира этой роты. Принять ее я приказал своему адъютанту. Вчера ночью наши дозоры напоролись на засаду противника и погибли. Их перестреляли трассирующими пулями. Мы сильно приуныли и, обескураженные неудачей, были вынуждены избрать новое направление. Так мы забрели в какое-то ущелье, но что это было за место — никто не имел ни малейшего понятия.

В самой чащобе среди низкорослых деревьев и на редкость густого колючего кустарника ущелье перерезала свежепроложенная тропа.

Мы думали, что это и есть одна из дорог, связывающих Арсе и Платанильос. Где-то вдали на северо-востоке бухала артиллерия. Я стал прикидывать: мы, очевидно, километрах в двадцати от Бокерона. Решил хотя бы на время окопаться здесь; по-моему, дорога явно имеет оперативное значение.

Выслали две группы. Одна ведет разведку в направлении Юхры, другая должна пробиться к командному пункту армии. Пусть нам дадут указания и обеспечат водой. Главное — обеспечат водой, если предстоит тут задержаться.

Сумятица и неразбериха понемногу улеглись. Я приказал

похоронить убитых: и своих и боливийцев. Вырыли ножами братскую могилу. На наше счастье, грунт оказался песчаный, с прожилками кристаллической соли, которая в отблесках костров сверкает, как иней. Павшие солдаты оставили нам полупорожние фляжки; из этих скудных запасов мы смогли выделить раненым по глотку воды. Остальным же после двух дней строжайшего поста пришлось довольствоваться куском «жаркого», приготовленного из дохлой ослицы.

## **19 сентября**

Посланные нами группы пока что не вернулись. Снова собрал

офицеров на совещание. Разговаривали долго, наконец принимаем решение: будет вода или нет, — батальону окапываться на этом клочке испепеленной земли. Один офицер что-то хрипло промямлил о служении отечеству, выкатив мутные глаза, в которых, правда, уже не было прежнего энтузиазма.

Осмотрев местность, мы укрепили ущелье с обеих сторон, превратив его в довольно надежный опорный пункт. На флангах оборудовали пулеметные гнезда, каждый солдат вырыл себе окоп. Наши позиции прикрыты постами боевого охранения и передовыми



наблюдательными пунктами. На флангах мы соорудили «загоны» для захвата пленных. Но если учесть, какая опасность нависла над нами, — все принятые меры предосторожности смехотворны и бессмысленны.

Неподалеку от ущелья лес внезапно как бы проваливается в котловину, засыпанную наносной землей: когда-то здесь, очевидно, была река или озеро, которое потом высохло, не знаю уж, в какую геологическую эпоху. По его дну мы наверняка проходили вчера ночью. Из белесого песчаного лона выступает край большого камня. Он похож на гриб, а цветом напоминает тронутую

патиной бронзу, которая поглощает свет. Очевидно, поэтому он и не блестит. В этом районе Чако совсем нет камней. Должно быть, перед нами аэролит.

## **20 сентября**

Батальон окопался в этой доисторической яме. Результаты не замедлили сказаться: трое раненых скончались. Теперь я толком не знаю, сколько у меня осталось людей и каковы наши потери. Но они, видимо, не уменьшаются. Мы просто делаем очередной шаг на пути к гибели. Во всяком случае, нами по-прежнему владеет отчаяние.

У подножия бутылочного дерева,

позади пулеметного гнезда для меня соорудили укрытие. Сидя в окопе, я не без удовольствия созерцаю открывающийся взору пыльный амфитеатр, где разыгрывают трагедию худосочные, почти голые герои, у которых уже кости торчат. Все очень постарели, все в рубцах, шрамах, обсыпаны шелушащейся паршой. Нагие ветви отбрасывают на них сетчатую тень, и люди кажутся призрачными марионетками; они, словно пьяные, топчутся на одном месте, хотя представление давно окончено. Когда я окидываю взглядом позиции, я не узнаю своих солдат. Обожженные солнцем пергаментные лица не отличить друг

от друга: они перекошены, облеплены струпьями, глаза под лохматым навесом бровей обезображены катарактой пыли.

Где-то на севере рвутся бомбы, содрогается земля. Канонада час от часу все глуше и глуше, словно это прокатывается гром перед надвигающейся грозой, которая так и не разразится. О высланных группах — ни слуху ни духу. Мы отправили еще одну, дав ей задание любой ценой привести подкрепление. Трое солдат с сержантом, еле волоча ноги, двинулись в путь. Я снял с руки компас, хотел отдать им. Но, как назло, стрелка застряла и ни с места — то ли она размагнитилась, то ли,

наоборот, ее удерживала какая-то таинственная сила. Пусть ориентируются на канонаду.

Если я не ошибаюсь, Леон Пинело [\[66\]](#) в своей книжке утверждает и даже доказывает, что земной рай был расположен в этих краях, в самом центре Нового Света, в сердце Колумбова материка. Пинело называет это место «истинным, доподлинным, зримым» и уверяет, что именно здесь был сотворен первый человек. Стало быть, какие-то из этих деревьев можно спокойно счесть древом жизни и древом познания. Не исключено также, что в озере Исла-Пои купались Адам и Ева, озирая

сияющими глазами чуда первого сада. И если космограф и теолог Пинело прав, то перед нами пепелище Эдема, обращенного в прах карающим господом, и теперь по нему блуждают потомки Каина, напялив на себя разноцветную военную форму. А библейская глина, из которой сотворен человек, снова превращается в прах.

## **21 сентября**

Противник опять пытался пробиться к нам, заплатив за это убитыми и добрым косяком пленных, угодивших в наш «загон». Скучная награда за то, что нам удалось выжить. Мои солдаты кидались друг

на друга с остервенением бешеных собак. Пришлось отдать строгий приказ: делить воду из фляжек мертвецов поровну. По глотку на каждого. У некоторых от нетерпения дрожали руки, и они разливали воду. Паши «гости» даже глоток не смочили. Отныне мы с ними соревнуемся: кто же дольше выдержит?

Вырыта еще одна братская могила. Шире и глубже прежней. Мертвецов слегка присыпали землей, но места там хватит и для других. На этих работах мы используем пленных.

Сегодня во время стычки с неприятелем отличился мой денщик,

выкинув один из своих номеров, доказывающих, что он парень находчивый и отчаянно смелый.

В самый разгар вражеской атаки пулемет, который прикрывал мой окоп и защищал вход в ущелье, перегрелся, и его заело. Пулеметчик растерялся. Тогда «Вифлеемский младенец» выскочил из укрытия, вспрыгнул на пулемет и помочился на раскаленный ствол, полусерьезно-полушутливо приговаривая:

— Дай я тебя малость освежу, старая перечница! Промочу тебе пасть, зараза!

Не знаю, по случайности или нет, но пулемет опять заработал. «Вифлеемскому младенцу» нельзя



отказать в смекалке. Так в этом «саду  
улад» началась для нас весна.  
Сегодня поутру над плюмажем агавы,  
среди жестких и зубастых, как пила,  
листьев расцвело несколько  
крошечных лиловых цветков, которые  
быстро сморщились и пожухли,  
точно губы умирающего. Цветы  
прожили меньше суток. Их пряные  
соки, очевидно, вытянула мошкара,  
потому что от нее несет нежным  
ароматом агавы.

## **22 сентября**

С каждым днем огненное кольцо  
теснее сжимает нас. А над нами все  
то же раскаленное небо. Оно словно  
рассол, который неумолимо сочится

сквозь голые ветки. Даже под деревьями нет тени, где можно было бы укрыться.

В ожидании воды люди жуют волокнистую мякоть кактуса, несъедобные луковицы какого-то растения или обжигающие язык корни агавы. Но теперь и эти «яства» не утоляют жажду. Наоборот, нас мутит и подташнивает, от рвотной судороги сотрясаются прилипшие к спинам животы. Я видел, как солдаты жадно подбирали корни, не дожеванные другими. Их лица выражали тупое удовлетворение поживой, словно им посчастливилось раздобыть бог весть какое лакомство. Некоторые

иначе стараются поддержать скудеющие силы — терпеливо мелют зубами бархатистые цветы агавы, освежаясь пенистой жижей собственной блевотины. К четвертому дню этого поста обезумевшие от голода солдаты принялись грызть мягкие куски кожаной амуниции. Ясно, что таким чарки не наешься.

## 23 сентября

О нас забыли. Даже неприятель больше не высовывает носа, не досаждают нам, не подкидывает мертвецов и их солдатские фляжки, не собирается разом с нами покончить. А между прочим, именно

теперь это ему удалось бы без  
особого труда. Тот, кто попал к нам в  
плен, перестал быть нашим  
противником. Пленные ничем не  
отличаются от моих солдат: нагие  
живые трупы.

Глядя, как они локоть к локтю  
покорно дожидаются смертного часа,  
я вспоминаю о том одиноком  
водоеме с поросшими тростником  
берегами, невозмутимо  
существующем на ничейной земле  
позади Боке-рона. Нам уготована  
участь осажденной крепости. Здесь  
мы в миниатюре воспроизводим эту  
осаду, с той только разницей, что  
парагвайцы и боливийцы загнаны в  
один мешок. Мы заарканены судьбой

и слепо противимся безликому врагу, для которого все мы одинаковы.

Высылать новых разведчиков больше не имеет смысла.

Мы потеряли всякую надежду на то, что придет автоцистерна с водой, равно как и отчаялись в возможности выбраться из этого окаянного ущелья, которое так остервенело обороняем. Даже самый здоровый из нас делает каких-нибудь сто шагов и валится, будто сраженный молнией. Кремнезем высосал из нас последние капли пота, осушил слезные железы. Тот, у кого в мочевом пузыре еще есть моча, может считать, что ему повезло. Этим «напитком» здесь оживленно

торгуют. Зажав в руке фляжку, «Вифлеемский младенец» ползает от одного солдата к другому, но никак не может раздобыть живительной влаги в обмен на жалкие остатки солдатского пайка: две полусгнившие, затвердевшие галеты. Он в ярости швыряет их в кактусы и, опустившись на колени, как безумный, роет ногтями песок, прячет голову в ямку и замирает в ней, словно гильотинированный, сотрясаясь всем телом от судорожных рыданий. Да, за эти несколько дней мы превратились в неандертальцев. Спасти нас может только чудо, но в этом уголке проклятого богом Эдема забыли, что

такое чудеса.

От мух стало разить аммиаком. Быстрые, зеленые, зеркально-ртутные насекомые помогают нам совладать с оцепенением, в которое все мы погружены. Одна из этих липучих тварей вот уже несколько минут мельтешит у меня перед глазами, сверкая, как пучок солнечных лучей. Я ловлю ее на лету, но в моей руке — только золотой крестик, висящий на цепочке.

**24 сентября**

Ветер унялся. Защищенная переплетом ветвей, зыблется извечная белесая сонная пыль Чако и обнажает трещины, избороздившие

ноздреватую котловину, дыхание которой испепеляет наши легкие. По ущелью разлит ржавый призрачный свет, тусклый и безжизненный. Мы во власти возрастающего отупения, наши мысли чахнут и исчезают. Контуры предметов сплюснуты и размыты. Мы задыхаемся от вони, тонем в мутном одуряющем мираже. И только страданиям нет конца. Они на редкость живучи.

**25 сентября**

Снаряжение, оружие, боеприпасы валяются как попало. Временами я перестаю их видеть, потом вижу снова, но уже в другом месте. Это я, наверное, закрываю и



открываю глаза, бессознательно  
ворочаясь с боку на бок. В ушах  
непрерывный звон. Нижняя челюсть  
как из свинца, язык распух и  
одеревенел. Мне кажется, что во рту  
— целый муравейник.  
Галлюцинации берут меня в кольцо.  
Вспыхивают, гаснут, и никак от них  
не избавиться. Огненные жала  
буравят мне череп; от жгучего холода  
стягивает руки и ноги, словно они  
опущены в глубокую яму со льдом.  
Только что мне померещилось, будто  
за ветками теплится толстая свеча.  
«Дьявольщина! — подумал я. — Что  
это? Заупокойная месса по мне?» Но  
никакой свечи нет и в помине: на  
стволе автомата горит темное

солнечное пламя. Не хочу больше думать вслух. Какой у меня странный голос! Голос мертвеца.

И вдруг ущелье заискрилось зеркальной гладью, только почему-то не видно зеленых берегов. Передо мной озеро Исла-Пои. Оно соблазняет меня, приманивает, поблескивает меж наполовину срубленных, отражающихся в воде деревьев. И все это рядом с моим окопом!

Точно замороженный, я ползу к нему и зарываюсь головой в его теплые воды, стараясь подольше насладиться темной, сладостной глубиной, но тотчас же задыхаюсь и, вырвавшись из водного плена,

выплываю грязь и землю. Озеро  
лопается, как мыльный пузырь.  
Временами я переносусь из ущелья  
туда, где был прежде, вижу себя  
ссылным на островке. Я болтаю с  
Хименесом, а на его плече сидит  
попугай, спрятав голову под крыло  
ослепительной голубизны. Порой в  
памяти всплывают картины далекого  
детства и отрочества. Вяжущая  
мякоть кактуса заставляет меня  
снова почувствовать вкус сосков  
Дамианы Давалос и вспомнить ту  
удивительную ночь среди развалин,  
когда я теребил губами ее грудь и пил  
молоко. А то вдруг на бескрайней  
равнине появляется сгорбленный  
старичок Макарио Франсиа. Он

несет мне воду в ладошке. Скорей, скорей... Вот он уже рядом, я тычусь ртом в протянутую сухонькую ладонь, но касаюсь только черной дыры, выжженной на руке украденной унцией...

## 26 сентября

Теперь уже трудно отличить живых от мертвых, — разве что последние еще более неподвижны. Сначала мы их хоронили, но теперь бросили. Излишняя роскошь. Мы даже приняхались к трупному смраду. Ведь это гниют наши тела. К утру умерли еще трое. У кого достанет сил стащить их в яму и забросать землей? Они лежат в

зарослях спокойно и невозмутимо, вздувшиеся, обезображенные. У окопа валяется мой денщик. Его посинелые губы странно искривлены, на лице — печать смерти. Он скалится, обнажая обмазанные землей зубы, и скрюченными пальцами протягивает мне жестяную фляжку.

Зеленые мухи заползают ему в ноздри и снова вылетают на волю. Иногда какая-нибудь муха, неотвязно жужжа, начинает кружить надо мной, — она разведывает, жив я или умер. Думаю, ее бесит мое упрямое сопротивление смерти. Но не мне тягаться с этой мухой в долготерпении. У нее времени

много, гораздо больше, чем у меня. Другая муха устроилась на листке из записной книжки. Между строками за ней протянулся влажный след, но не успел я и моргнуть, как он уже высох. Потом она села на тыльную часть руки, вперила в меня глазки, покрытые несметными фасетками. Я понимаю, что от них ничего не утаится. Муха знает обо мне больше, чем я сам. В этой капельке вулканического стекла гнездится память всего мира. Она испытующе глядит на меня, носясь гигантским радужным многогранником глаз, в которых отражается все ущелье, и сучит волокнистыми ножками, каждая из которых может причинить

мне такую же боль, как укус гремучей змеи. Зачем я отгоняю эту муху? Она все равно не отвяжется и будет приставать. Она точно ноготь, бередящий затянувшуюся рану до тех пор, пока оттуда не брызнет кровь. Как много этих мух. Миллионы, а может, и больше. Вся котловина гудит, словно гигантский улей.

## **27 сентября**

Мне не положено терять рассудок. Ведь я еще командир и должен разделить судьбу своего последнего солдата.

Нечеткие силуэты дрожат передо мной, точно языки пламени, теряющиеся в этом бескрайнем

огненном мареве. Сквозь жужжание мух, от которого у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки, пробиваются стоны и предсмертные хрипы умирающих. Происходящее похоже на кошмарный сон. Я напрягаю последние силы, судорожно цепляясь за остатки разума и за жалкий огрызок карандаша.

Мне все труднее держать его в руках. Можно подумать, что я пишу стволом обугленного дерева. Огрызок то и дело выскальзывает из пальцев, и я долго шарю вокруг, прежде чем нахожу его.

**28 сентября**



Эта белая смерть — ненасытная шлюха. Она незримо и неотступно кружит повсюду. Смерть залегла между трупов и, набрякнув от зноя и тишины, стережет нас. Желтое, помутившееся от желания око смерти маячит в густых зарослях. От нее приторно смердит. Мы чувствуем, как она склоняется над нами, как ее пальцы лихорадочно ощупывают наши простертые тела. Едва она успевает прикончить одного, как принимается за другого, а то и за нескольких сразу, — змеиные глаза придирчиво нас осматривают. Первого она загипнотизировала, второго опутала щупальцами и сжала так, что у него хрустят позвонки.

Предсмертные судороги длятся мгновение, и последний стон замирает на вспухших губах. Никаким целомудрием смерть не умаслишь. Вот она накинута на моего денщика, совсем еще мальчика. Но им она не смогла овладеть. Я его застрелил собственной рукой. «Вифлеемский младенец» сам попросил меня об этом, чтобы разом прекратить нестерпимые муки. Теперь он уже знает, что делается по ту сторону жизни, и, судя по застывшей на его лице улыбке, ему, видно, там очень весело.

**29 сентября**

А здесь наоборот! Меня будто

терзают в адском пекле или живьем раздирают на части. Уж лучше бы покончить с собой... Как трудно умереть! Наверное, я бессмертен.

Я достал из кобуры пистолет и, вытащив из-за пазухи цепочку, намотал ее на спуск. Крестик заблестел на солнце. И в эту показавшуюся мне бесконечно долгой секунду, когда я приставлял дуло к виску, до меня донеслись глухие стоны. Собрав последние силы, я подполз к пулемету, нажал на гашетку — и подмел ущелье огненной метлой, чтобы очистить его от этих потусторонних воплей. В наступившей тишине я отчетливо разобрал пыхтение грузовика. Оно

все приближалось. Наконец машина появилась на тропе. Автоцистерна с водой... Она искушала меня, дразнила, глумилась надо мной. В облаке пыли машина медленно шевелила горящими колесами, чертя зигзаги по высохшей котловине. Я выпустил всю ленту, но грузовик неумолимо двигался вперед, и мне было не под силу разрушить это чудовищное порождение собственного бреда. Машина шла прямо на меня, расплескивая воду, и струи бешено сопротивлялись огню. Грузовик налетел на дерево. Он здесь... Он зовет меня...

# ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

## Боевое задание

### 1

— Почему не явились сразу?

Слова прозвучали неразборчиво: их заглушал шум, проникавший сквозь кирпичные стены. Низкий и просторный барак под соломенной крышей, в котором разместился штаб, ходил ходуном.

Службы штаба были отделены друг от друга дощатыми перегородками. Здесь, как и во всем лагере, царила та же лихорадочная

сумятица. Звенели телефоны, трещали радиопередатчики, верещали аппараты Морзе. Грузили и сгружали продовольствие, боеприпасы. Солдаты то влетали в барак, то опрометью выскакивали оттуда. Где-то далеко на западе глухо и монотонно ухали орудия.

Начальник штаба сидел в небольшой комнатухе. Ему пришлось повysить голос, и не потому, что вокруг стоял невообразимый гвалт. Просто он очень нервничал и почти кричал на полного бородатого человека с забинтованной рукой, который стоял перед письменным столом и виновато смотрел на командира.

— Почему явились с опозданием, сержант Акино?

— Был на перевязке в госпитале, майор... — с какой-то кроткой гордостью протянул тот, показывая на повязку.

— Где ранили?

— Около Посо-Валенсия.

— Каким образом?

— Так ведь... — Человек осекся и принялся пощипывать взлохмаченную грязную бороду, стараясь найти нужные слова. Сержанту было трудно объясниться по-испански. Вот он и тянул слово за словом, точно переводил в уме то, что собирался сказать.

— При каких обстоятельствах

вас ранили?

— Нас неожиданно атаковал целый взвод, — торопливо объяснил Акино. — Мы не смогли отбиться. Это были наши же солдаты. Они теперь самые опасные, куда страшнее боливийских самолетов и снайперов...

Слова Акино снова потонули в невообразимом геме: за дощатой перегородкой ожесточенно заспорили адъютанты; голоса их срывались на крик. Командир вскочил с табурета и, кинувшись к дыре в перегородке, прорычал:

— Да заткнитесь вы, черт вас задери!

Крики

немедленно



прекратились, и теперь в приглушенном шуме только аппарат Морзе продолжал лопотать на своем языке точек и тире. Через отверстие в стене, заменявшее окно, виднелось голубеющее в низине озеро, расцвеченное яркими солнечными бликами.

Бородач метнул злобный взгляд на заправлявшиеся у берега автоцистерны и повернулся к ним спиной. Начальник штаба, сияя преждевременной лысиной, крупными шагами мерил комнату, он был намного ниже сержанта, карие живые глаза светились несокрушимой энергией и сознанием воинского долга. Он снова сел на

табурет. Матовое лицо смягчилось. Командир просматривал бумаги, — иные из них были скомканы и запачканы. Это были донесения и сводки, полученные с фронта. Вдруг он сильно стукнул кулаком по этим грязным измятым бумажкам, словно хотел разом их разгладить.

— Я вас вызвал, чтобы дать очень важное задание. У меня просят одну автоцистерну. Притом срочно, безотлагательно. Нужно выехать немедленно.

— Мы как раз формируем взвод, майор,

— Нет, нужна только одна автоцистерна, — сухо оборвал его командир. — Главное — подыскать

опытного водителя.

— Такой у нас есть.

— Кого вы имеете в виду?

— По-моему, капрал Кристобаль

Хара подходит для этого, — ответил не раздумывая Акино.

— Шофер должен быть бывалый и находчивый.

— Он не подведет, майор. Мы с ним односельчане, и я его знаю как облупленного. Краснеть за него не придется.

— Операция будет очень рискованная.

— За ее выполнение я отвечаю головой.

— Надо подвезти воду и оказать медицинскую помощь батальону,

отрезанному от наших позиций неподалеку от Бокерона. Стало быть, придется перейти линию фронта. Парень может не вернуться. Больше того, даже не добратся до места. Справится?

— Разрешите поехать мне, — вдруг сказал сержант.

— Вы командир автовзвода. Выполняйте свои обязанности. А пока что передайте приказ в полевой госпиталь. И чтобы там без проволочек нашли санитарную машину.

— Слушаюсь, майор.

Акино повернулся и вышел из комнаты.

Холм Исла-Пои возвышался над испепеленной солнцем равниной, четко вырисовываясь на пламенеющем вечернем небе. Он напоминал гигантское гнездо термитов, раздавленное колесом телеги. Только копошились здесь не муравьи, а люди, затерянные среди грузовиков, артиллерийских орудий, повозок, лошадей, ослиц, волов. Тяжелый, накаленный зноем воздух содрогался от пронзительных выкриков, конского ржання и рева моторов. Под раскидистым деревом расположился маленький оркестр, который наигрывал, вернее пытался

наигрывать, бессвязные обрывки военных маршей. В дьявольской сутолоке этот неотъемлемый атрибут военного парада казался особенно неуместным и диким; тем не менее солдаты, уходя в бой, старались чеканить шаг. Босые ноги землистого цвета и лица землистого цвета. Земля вздымалась пыльным облаком к небу, грозя поглотить людей. Да, они были только муравьями — муравьями, которых породила война; теперь они ползли на передовую с винтовками на плечах и вещевыми мешками за спиной.

Сержант направился к госпиталю. В нос ему ударил запах карболки. Топчаны, колченогие

койки, сплетенные из веток носилки были разбросаны как попало вокруг большого ранчо, битком набитого ранеными. Над ним на крепкой бамбуковой палке болталась выцветшая тряпка с намалеванным красным крестом. Некоторые раненые лежали прямо на земле, других выгружали из хлебного фургона, превращенного по прихоти войны в санитарную машину, иные уже не двигались под одеялами; их безжизненные тела уносили в самый дальний конец тыловой базы.

Сержант долго кружил меж стонущих, истерзанных людей и наконец вошел в госпиталь. В закутке, служившем приемным

покоем, он нашел фельдшера и передал ему приказ командира. Прочитав бумагу, тот даже присвистнул:

— Санитарную машину? А где я ее возьму?

— Очень срочно требуется, — ответил сержант.

— Да, но у меня нет машины, — ответил фельдшер и, мотнув головой в сторону фургона, из которого выносили раненых, добавил: — Он у нас единственный. Остальные в разъезде.

— Надо его немедленно освободить.

— Попробуйте, если сможете. Я бессилен что-либо сделать.



— Есть приказ.

— Поговорите с дежурным врачом. — Фельдшер неохотно встал и пошел звать свое начальство.

В коридор выскочила сестра милосердия и, немного робея, подошла к бородачу.

— Как у тебя рука, Сильвестре? — спросила она на гуарани.

— Прекрасно.

— Что же тебе здесь нужно?

— Санитарную машину.

— А я-то думала, что ты к нам пришел ложиться.

Сержант расхохотался.

— Из-за такой царапины? Нет, меня разве что мертвым сюда

затащишь! Хотя вообще я не возражал бы. — И, быстро изменив тон, добавил: — Побывать бы с тобой, Сальюи. Но уж при этом быть здоровым и в полной форме. Ты не против?

Девушка прикинулась, что не понимает намека. Преждевременные морщины старили ее маленькое скуластое лицо и придавали ему озабоченное, отсутствующее выражение. И только когда девушка улыбалась, черты разглаживались и лицо становилось по-детски простодушным. Фартук Сальюи покрывали пятна, старые и новые, вокруг которых вились мухи. Голова была повязана тряпицей, такой же

грязной, как и фартук. По спине змеились черные косы, отливавшие синим металлическим блеском.

— А зачем тебе машина?

— Предстоит серьезное дело. Добровольцы будут нужны позарез. Ты не хочешь, Сальюи?

Девушка пожала плечами.

— А знаешь, кого посылают?

— Кого? — спросила та, стараясь скрыть любопытство.

— Кирито.

Лицо Сальюи странно передернулось. Большие потухшие глаза вопросительно поглядели на бородача.

— А куда? — спросила она с притворным равнодушием.

— За линию фронта... Неплохая поездочка! Только обратного билета не предвидится, — скорчив рожу, сострил сержант.

— Почему посылают именно его?

— Надо же кого-то послать...

Сальюи задумалась. Но вернулся фельдшер с дежурным врачом, и тот сразу принялся спорить с сержантом.

Девушка ушла так же незаметно, как и появилась.

На берегу озера выстроились в очередь за водой автоцистерны —

старые                    грузовые                    машины,  
реквизированные в самом начале  
войны; кузова у них были заменены  
цистернами. Откуда взялись эти  
развалины, догадаться было  
нетрудно: на многих еще  
сохранились надписи мирного  
времени — названия товаров,  
артикулы, политические лозунги,  
забавные поговорки, озорные  
присловья.

Полуголые солдаты, исхудавшие  
до того, что торчали ребра,  
передавали друг другу канистры, до  
краев наполненные водой. Их  
принимал сидевший на цистерне  
мужчина и выливал содержимое  
прямо ей в глотку. На берегу озера

набралось уже около десятка грузовиков. Люди трудились слаженно и четко. Мокрые тела блестели в потоке света. Солдаты перебрасывались солеными шуточками и смеялись; однако живой конвейер не прерывался и работал исправно. Солдаты вылезали из зеленоватой воды, снова входили в нее; радужно искрящиеся канистры проплывали вровень с загорелыми лицами мужчин в нахлобученных на лоб засаленных матерчатых шляпах.

Шеренгу замыкал небольшой облезлый форд. На кабине было написано: «Сапукай, 1931». Сидя верхом на цистерне, солдат опорожнял протянутые ему

канистры. У него были резкие черты лица, поджарая мускулистая фигура. Работал он молча, не обращая внимания на зубоскальство товарищей. На медной спине полосами чернели шрамы.

По склону холма спустился сержант. Завидев начальство, солдаты бросили остричь, и канистры еще проворнее замелькали в руках.

— Капрал Хара, к командиру...

Мужчина на цистерне недоверчиво покосился на сержанта. Тот махнул рукой, поторапливая его. Хара передал канистру своему напарнику — низкорослому толстяку, спрыгнул на землю и,

напялив гимнастерку, ушел. Толстый увалень вскарабкался на место Кристобая, поплевав на руки, схватил протянутую канистру и, кряхтя от натуги, с трудом опорожнил ее.

— Живей, Гамарра, пошевеливайся, Полметра! — полетели насмешливые выкрики.

— Молчать! — повернувшись к ним, гаркнул сержант, все это время украдкой наблюдавший за Кристобалем, который спускался по откосу.

Вереница водоносов продолжала споро и ритмично работать; покачивались канистры, блестели голые мужские торсы.



Они склонились над картами, разложенными на столе. Командир, зажав между пальцами красный карандаш, отметил крестиком какую-то точку на одной из них и прочертил длинную линию.

— Вот, — сказал он, — наверняка здесь. Чуть подальше от дороги на Юхру. За этой лесной полосой должно находиться ущелье.

Кристобаль Хара молча смотрел на карту.

— Лес и пустыня, — добавил майор. — На всем этом участке господствует противник, а у него одна цель: подбросить подкрепление

к Бокерону.

Некоторое время оба молчали. Сверля Кристобаля острым взглядом, командир сурово спросил:

— Готовы выполнить это задание?

— Да, майор.

— Отлично. Ваш ответ мне по душе. — Голос майора заметно потеплел, и в нем проступила шутливая строгость. — Хоть на транспорте у нас еще есть настоящие парни. Собирайтесь в путь. Вы поведете грузовик, следом пойдет санитарная машина с медикаментами и продовольствием. В штабе дивизии получите последние указания. Там же

возьмете связного: ему, наверно, уже удалось добраться.

Кристобаль Хара кивнул головой.

— Отправляйтесь. Чем скорее, тем лучше. Поедете по старой дороге. Никаких добровольцев с собой не брать. И постарайтесь, чтобы никто ничего не узнал. Сами подыщите людей в помощь. Идите, желаю удачи... Да... смотрите за машинами в оба...

Кристобаль отдал честь и вышел из комнаты. Выправка капрала удивила майора. Он посмотрел ему вслед, чуть подавшись вперед, словно собрался было окликнуть Кристобаля, но раздумал и снова

склонился над бумагами.

## 5

Сестра милосердия поставила на пол два ведра с горячей водой, отодвинула дерюгу, прикрывавшую вход в наспех оборудованную операционную, и заглянула туда. Гаснущие вечерние лучи сочились в окно. Хирург продолжал операцию. Помощники подавали ему инструменты, которые поблескивали на солнце. У людей были потные, осунувшиеся от усталости лица... Под окровавленными перчатками хирурга вздрагивал разрезанный

живот больного. Казалось, хирург свежует говяжью тушу.

Несколько врачей работали без отдыха днем и ночью с самого начала обороны крепости. Бокерон бесперебойно поставлял раненых в госпиталь — кровавая лавина катилась сюда с фронта и перевязочных пунктов. Здесь тоже было своеобразное сражение, и бои, казалось, не кончатся никогда. Одни за другими прибывали носилки, на которых лежала бесформенная масса, перемазанная землей и кровью.

Сальюи выпустила из рук холщовую тряпку и вышла, а через минуту была уже на кухне. У плиты

хлопотала женщина, готовившая еду для раненых. Когда-то повариха, очевидно, была красивой и пышнотелой, как многие крестьянки, но время исказило ее черты, покрыло лицо корой грязи. Сальюи подошла к ней.

— Все еще нет? — спросила стряпуха, с тревогой глядя на девушку.

— Нет, — отозвалась Сальюи, — его имя не значится в этих списках. А привезли человек двести.

— Прямо места себе не нахожу, — сокрушенно и кротко сказала стряпуха. — Жду-жду Крисанто, а его и среди раненых нет.

Иногда так хочется повидаться с ним, а как погляжу на этих несчастных, думаю, уж лучше не надо. Лучше ждать.

— Я уезжаю, Хуана Роса, — помолчав, сказала Сальюи и положила руку на плечо товарке, не отрывая взгляда от земляного вала, окаймлявшего озеро.

— Куда же ты собралась, милая моя девочка?

— Попробую уехать с ним. Не знаю только, удастся ли. Но я попробую. Его посылают далеко.

Знаю, что ему оттуда не вернуться. Вот и хочу уехать с ним. Прошу тебя, Хуана Роса, займи мое место. Я уже предупредила нашу

докторшу.

— Ладно, Сальюи.

— Я должна ехать с ним.

— А ему ты уже сказала об этом?

— Нет еще... Я жду его.

— Когда он уезжает?

— Сейчас... Если больше не свидимся, возьми мой узелок с бельем и тряпками. В нем завязаны золотые кольца и деньги. Справишь одежду своему сыну, когда вернешься домой.

Глаза у Хуаны Росы увлажнились. Она вытащила из-под фартука пачку сигарет и протянула Сальюи. Та взяла одну сигарету, прикурила над плитой и сделала



несколько торопливых затяжек.

— Буду молить господу, чтобы ты встретила с муженьком, Хуана Роса, — сказала Сальюи, выпуская дым из ноздрей.

Они распрощались, как сестры. Приставленный к кухне капрал и несколько солдат с шумом ввалились в помещение, таща походный котел. Капрал начал отпускать в адрес женщин сальные шуточки, но те и бровью не повели. Сальюи вышла, не сказав ни слова. По земляной насыпи шагнул Кристобаль Хара.

— Кристобаль! — окликнула она его.

Он не ответил и, казалось, даже не замечал девушки. Только пошел быстрее. Сальюи тоже прибавила шагу. Наконец, запыхавшись, догнала.

— Мне надо с тобой поговорить.

— Некогда.

— Я знаю, что тебя посылают далеко...

Кристобаль, и без того недовольный и насупившийся, совсем помрачнел. Но Сальюи упорно продолжала:

— Тебе же все равно понадобятся санитары, а в госпитале их можно по пальцам перечесть. Я

хочу поехать с вами.

— Не нужны мне никакие санитары, — смерив девушку взглядом, отрезал Кристобаль. — Не хватало только... бабы... — Он на секунду заколебался и не закончил фразы, проглотив готовое сорваться с языка ругательство, смысл которого, вероятно, превосходил то, что он намеревался сказать.

— Я поеду с тобой, Кристобаль.

— Зачем? Каждому надо знать свое место, — ответил он, не глядя на Сальюи.

— А если я попрошу взять меня?

— Нет. На что мне лишняя обуза?

Она точно одеревенела. В

оцепенении смотрела, как он шел крупным пружинистым шагом. Подойдя к озеру, Кристобаль вдруг пустился бежать. И весь лагерь разом пришел в движение. Поначалу Сальюи даже не поняла, то произошло. Хара был уже далеко, расстояние между ними все увеличивалось, словно презрение Кристобаля отшвырнуло девушку на много лет назад, в глубь того времени, когда она была унижена и посрамлена. Земля уходила из-под ног Сальюи. Вдруг лицо ее преобразилось. Едва заметная улыбка чуть растянула губы. Даже в обычно тусклых глазах появился блеск. Они широко раскрылись и

пристально смотрели вдаль, не замечая, как три стремительные кометы со свистом вспороли небо над тыловой базой.

И в это мгновение, словно прозрев по вышней воле, Сальюи навсегда отреклась от себя.

О ней здесь никто ничего толком не знал, как, впрочем, и она сама, начисто вычеркнув из памяти ту женщину, какой она была раньше. Стерлось даже ее прежнее имя — Мария Энкарнасьон. Про нее болтали разные небылицы, но все они питались местными пересудами и кривотолками. Некоторые пытались связать ее появление в армии с первой мобилизацией

тысяча девятьсот двадцать восьмого года, когда женщины сотнями уходили вслед за мужьями. Но в ту пору она, очевидно, была еще зеленой девчонкой, у которой едва намечались груди. По другим слухам, какая-то офицерская жена привезла ее нянчить детей, а потом ей отказала, потому что... Словом, сплетни мешались и путались, но слава авантюристки за ней упрочилась, и все потому, что она, словно ветошь, была выброшена за борт лагеря, а красота и детское простодушие, столь неуместные в здешних краях, выделяли ее на фоне гарнизонных будней.

Когда ее спрашивали, как она

здесь очутилась, девушка обычно отвечала так:

— Приехала посмотреть на карнавал, да вот и осталась.

Война изменила ее: когда набрякшая от крови луна молодой хищницей всплыла на горизонте Чако, Мария сбросила прежнюю личину, как змея сбрасывает летом кожу.

Незадолго до войны, во время строительства у озера так называемого «нижнего поселка», ей удалось выпросить себе хижину из пальмы и необожженного кирпича. На другом берегу озера, на холме, стояли каменные дома, в них жили офицеры со своими семьями.

Вечерами их жены и родственницы прогуливались по площади вокруг мачты, на которой трепыхался флаг. Из своей хибары Мария разглядывала добропорядочных расфранченных бабенок и подолгу смотрела на девиц, кружившихся в танце под духовой оркестр; их силуэты вырисовывались на фоне лиловато-песочного неба. Она, наверное, завидовала их кричащим, обтягивающим гибкие талии платьям, туфлям на высоком каблуке и даже вздувшимся животам беременных сеньор, которые они носили напоказ— «пупом вперед». Лунными ночами она вглядывалась в ярко освещенные окна, откуда летела



музыка и веселый гам семейной вечеринки. У девушки же не было ничего, кроме худой славы, которая все росла, обволакивая ее хибару на берегу озера. Прохладный ветер из пустыни рвал циновку, заменявшую дверь, и тихонько шуршал, словно царапался иссохшими пальцами. Прямо перед циновкой сидели на корточках мужчины и дожидались очереди; когда светила луна, они прятались от патруля в бурьяне. Но патрульный тоже навевался в хижину: спешивался и ждал вместе с другими, пока не наступит его черед, или, пользуясь своей властью, лез напролом и прилипал, как пластырь, к тростниковой циновке,

прислушиваясь к глухой возне, мужскому страстному шепоту, женским насмешливым словам, а порой и ленивым пощечинам, которыми Сальюи награждала посетителя, чтобы ускорить наступление томительной тишины. Временами она выскакивала на порог проветриться. Волосы были в беспорядке, грудь и живот, рельефно очерченные лунным светом, выпирали из-под дырявой, пропитанной потом комбинации. В такие моменты эта маленькая женщина обладала безграничной властью над распалившимися мужчинами. Кто-нибудь угощал ее сигаретой, другие совали в руки

заранее принесенные подарки, украденные для нее со склада: галеты, мате, муку, банки с мясной тушенкой, а порой и бутылочку пива.

Она принимала подношения и не благодарила, словно они ей полагались по праву. А когда была не в духе, то гнала прочь посетителей и, позевывая, отправлялась к себе, хрипло бормоча под нос что-то невразумительное. Иногда под гитару и арфу ей пели серенады. Они ей особенно приходились по вкусу. Она мечтала и уносилась мыслями куда-то далеко. Тогда тростниковую циновку никто не смел отдернуть. Хибара без дверей превращалась в неприступный дот. А когда кто-то из

посетителей заболел дурной болезнью, то под пьяную лавочку эту маленькую женщину окрестили Сальюи<sup>[67]</sup> Такое занятное прозвище подходило к ней как нельзя лучше. Она не рассердилась, наоборот, ей даже понравилось это прозвище. Ей понравилось, что человеку можно изменить имя. Она еще не была сестрой милосердия, тогда она была попросту «заразной тварью», как несколько запоздало обзывали ее те, кто считали себя жертвами этой греховодницы и потому в отместку придумали ей ироническое прозвище. Она не докучала никому просьбами о встрече. Кто хотел — тот и приходил, причем не всегда с

ней расплачивались за любовь даже продуктами.

Но как только год назад в Исла-Пои появился Кристобаль, Сальюи нашла в себе волю и мужество вычеркнуть из памяти прошлое и забыть обо всем. Его приезд разом перевернул ее жизнь, и как вычесывают вшей из головы, так Сальюи словно вычесала частым гребнем копошившиеся в ней воспоминания. Она будто заново родилась и обрела целомудрие. Все, что оставалось в ней женского, вдруг громко заговорило, и Сальюи почувствовала себя раненым, у которого нога уже ампутирована, а ему все еще мерещится, что она у

него есть и нерасторжимо связана с изуродованным телом. Познав страшную глубину падения, Сальюи ощущала теперь, как воскресает забытая девичья честь, как, подобно почке, растет, набухает и раскрывается в ней желание новой жизни, как оно черпает силы в высоком очистительном чувстве, которое родилось в ней отнюдь не потому, что она была ослеплена.

Волна всеобщей мобилизации пригнала сюда облезлый грузовик с гончарен Сапукая. Бывшие повстанцы, сосланные в этот гарнизон, встретили его ликованием. Сальюи видела, с каким достоинством и самообладанием

Кристобаль — высокий, поджарый, загорелый — молча вылез из машины и чуть приметной улыбкой приветствовал товарищей. Его спокойствие явилось неоспоримым доказательством той надписи, которая украшала кабину тряской колымаги и звучала издевкой над теми, кто захотел бы принять ее всерьез.

Поначалу Сальюи вместе с некоторыми другими подымала на смех Кристобаля Хару, но с каждым разом все внимательнее и пристальнее вглядывалась в волевой и все-таки нежный рот этого пришельца из Сапукая, в его зеленоватые глаза, которые, казалось,

были подернуты плесенью. Она стала ходить за ним по пятам, но парень смотрел сквозь нее. Он, единственный из всего автозвода, не сидел на корточках перед тростниковой циновкой. Сальюи поджидала его ночи напролет. Потом велела Сильвестре Акино и прочим поклонникам привести к ней Кристобая. Но тот предпочитал после отбоя играть в карты в интендантском бараке или отправлялся в индейский поселок племени маской, где проводил долгие часы, беседуя с касиком Канайти на односложном жестком наречии. Кристобаль распалял Сальюи, сам того не подозревая.



Свою досаду она вымещала на остальных, безотчетно негодовала на себя. Но так длилось недолго.

Нет, это было не презрение, а нечто худшее. Безразличие, абсолютное равнодушие. Сальюи толком не понимала, что это было. Она мучилась над разгадкой тайны, сетовала на собственное бессилие, на свою неспособность сломить гордеца, который смотрел на нее как на пустое место. Да и могла ли она понять мужчин, если знала их только по тем кратким встречам, когда они меньше всего похожи на людей? Сальюи сталкивалась лишь с самцами, одичавшими от тупой лагерной жизни и озверевшими в

этой мертвой пустыне. Для нее все они были на одно лицо — сначала тени у ее хижины, потом безликие, грузные, обуреваемые похотью тела. Дары Сальюи были скромны. Она ненадолго утоляла их жажду, словно поила из фляжки озерной водой, оделяла суррогатом любви и вдобавок — венерической болезнью. Но постепенно, незаметно для чужого глаза Сальюи изменилась до неузнаваемости. Попранное женское достоинство пустило ростки. Больше никому не удавалось пройти за тростниковую циновку, тем не менее никто не верил в то, что Сальюи жаждет очищения. Она была беззащитна перед сплетней.

Запятнанное прошлое цепко держало ее в клетке, как пойманного попугая. Прежде ее не осуждали, а теперь, когда она внутренне переродилась, стали чернить. Сальюи для всех осталась потаскушкой с озера, «птичкой» из поселка Пситакоз [\[68\]](#) который ей же и был обязан своим названием. Ее даже собирались выслать из гарнизона. Жители «верхнего поселка» всем весом своей безупречной репутации давили на обитателей легкомысленных домишек «нижнего». Комиссия радеющих о нравственности дам пожаловалась на Сальюи гарнизонному командованию, но тут вспыхнула война и началась

эвакуация гражданского населения; только это спасло грешницу от высылки.

Военные машины увозили перепуганных женщин, бежавших от бомбежек в Пуэрто-Касадо, и скоро на базе осталась только та, которую вчера хотели выкинуть из поселка, как запаршивевшую кошку. Сальои вспомнила обо всем этом, потому что в тот день, с началом засухи, на поля опустилось несметное множество бабочек — тысячи, миллионы. Они нахлынули, как волны прибоя, и в мгновение ока равнина покрылась золотистой трепещущей лавой. Даже зелень озера подернулась желтой пеленой.

Духота была такая, что горло словно сжимало тисками. Ехавшие на грузовиках офицерские жены, поминутно кашляли и выплевывали набившихся в рот бабочек.

На следующее утро Сальои пошла работать в еще пустовавший госпиталь, куда потом, когда началась осада Бокерона, стало бесперебойно поступать размолотое снарядами пушечное мясо. Вскоре здесь появилась и Хуана Роса. Теперь в лагере было две женщины. Две юбки, утонувшие в пучине запорошенных пылью гимнастеров.

И вот она стоит на земляном валу; частые огненные вспышки освещают ее лицо. Беспорядочное

движение, суматоха — автовзвод двинулся в путь. Кристобаль уезжает, она остается. Сальюи сделала несколько шагов и снова застыла на месте, борясь с собой. Потом, повернувшись спиной к озеру, опрометью побежала в госпиталь.

## 7

Хмурое небо как бы напряглось и ощерилось. Самолеты разрезали синеву, наполняя пространство ревом моторов и грохотом непрекращающихся взрывов. Три боливийских «юнкерса», в четком строю атакуя тыловую базу,

сбрасывали бомбы. Земля исторгала из глубин огненные смерчи пыли, камней и металла. Эти внезапные извержения разметывали в разные стороны людей, грузовики и животных; в довершение воздушные пираты проносились на бреющем полете, прочесывая местность свинцовым гребнем пулеметных очередей. Шерстили так и эдак. Сверху холм Исла-Пои, очевидно, напоминал гигантский муравейник, развороченный и распотрошенный снарядами.

Наскоро построенные оборонительные сооружения вступили в бой, но противовоздушных батарей у них не

было, и огонь вели всего несколько пулеметов, которые отхаркивали пули целыми лентами. Полагаться на них особенно не приходилось. Между тем самолеты, неотступно преследуемые белесыми облачками разрывавшихся пуль, развернулись веером. Один из «юнкерсов» камнем повалился на землю, прочертив небо дымной полосой. Остальные взмыли ввысь и, пламенея в лучах заходящего солнца, стали маневрировать, выписывая прихотливые зигзаги. Пропеллеры рвали на части закатное пламя, которое было краснее, чем огненные языки пулеметных очередей. Бомбы падали куда попало, вздымая к небу фонтаны пыли и



обломков. Две из них почти одновременно угодили в озеро, вырвав из его глубины оранжевый водяной столб. Хибары на берегу пылали. Несколько бомб упало в поле. Гигантское пламя охватило жнивье, мигом превратив его в огромный костер, словно разожженный каким-то индейским племенем во время ритуального празднества.

Паника постепенно уступила место организованным действиям. Солдаты помогали носить раненых в укрытия. Повсюду в полной темноте сновали санитары с носилками. В мгновение ока все блиндажи были набиты до отказа. Тогда санитарам

пришлось уносить раненых в лес. Колючки кактусов и кошачьи когти кустарника впивались в одеяла, бинты, повязки и, стаскивая их, обнажали только что зашитые культы. Одна бомба попала в это скопище призраков, неподвижно лежавших на земле. Кольчуга наглухо сросшихся кустов частично предоохранила их, но какие-то носилки все же взлетели на воздух и запутались в густой кроне бутылочного дерева вместе с чьей-то оторванной рукой и грудой искалеченного железа.

Санитары не трусили. Они снова принялись за дело. Бегали, согнувшись в три погибели, почти

припав к земле, и волокли за собой стонущих раненых. Среди санитаров самой отважной была Сальюи. Она мелькала змеей, втаскивала раненых на носилки, отдавала приказы, распоряжалась, командовала, словно сержант на поле боя. Волосы у нее растрепались, глаза лихорадочно горели, а маленькая фигурка в клубах дыма и пыли как будто выросла. Вот она потащила за руки мужчину, у которого оторвало обе ноги, и спрятала его под деревьями. Она металась с фляжкой из стороны в сторону, поила тяжело раненных, раздавала таблетки, останавливающие кровотечение, и, как умела, делала перевязки. Какой-

то изможденный парень,  
корчившийся в агонии, вцепился ей в  
руку и забормотал:

— Мамочка, мама! Anima  
chereyatei![\[69\]](#)

Она зажмурилась. Этот солдат,  
уже находившийся по ту сторону  
жизни, назвал ее именем, которое  
было для нее сказочно недоступным.

Костистые пальцы, обтянутые  
тонкой кожей, ослабели. Она  
медленно высвободила из них свою  
руку и закрыла юноше  
остекленевшие глаза. Потом быстро  
ушла.

Между тем автозвод сумел  
целым и невредимым укрыться в  
лесу, не потеряв ни одной машины.

Бредовый кошмар стал понемногу рассеиваться. Желтые самолеты растаяли в воздухе. Избавившись от своего смертоносного груза, бомбардировщики улетели, и на смену им запоздалыми призраками на горизонте возникли медлительные «потесы».

Из-под груды обломков и щебня подымался к небу жалобный, раздирающий душу крик.

Ночь наступила внезапно. Воздух отдавал порохом, пепелищем,

пожаром. Суматоха еще не утихла. Всюду толкались люди — одни разгребали обломки завалившихся построек, другие тушили пожар, третьи спасали снаряжение. Теперь раненых из блиндажей и укрытий в лесу снова тащили в госпиталь. Только убитые невозмутимо лежали там, где их настигла смерть. Темноту рассеивали факелы и фонари. Там и сям сновали человеческие фигуры, облитые плотным известковым снопом света, отбрасываемым автомобильными фарами.

На опушке леса, в колючем кустарнике маячила чья-то тень. У нее не было ни фонаря, ни факела. Больше того, она словно бежала от

света.

Это была Сальюи. Она что-то разыскивала среди трупов. Вдруг над одним из них она склонилась, но тотчас же отпрянула и подошла к следующему, с закинутой за плечи винтовкой. Тот был не так грязен и окровавлен. Воровато оглядевшись по сторонам, она взяла мертвеца за руки и оттащила в заросли. Там она сняла с него винтовку и принялась поспешно раздевать.

Взвод медленно продвигался вперед. Грузовики шли гуськом и,

обогнув берег озера, свернули к старой дороге. На берегу все еще горели ранчо, превращаясь в груды красных головешек, отражение которых дрожало на озерной глади; казалось, они тлеют под водой.

Сильвестре Акино вел головную машину. Фары ее отбрасывали желтоватый свет, — можно было подумать, будто дорога густо смазана яичным желтком. Автоцистерна Кристобаля Хары замыкала колонну. Рядом с ним сидел, скрючившись, Гамарра, — он выглядел совсем коротышкой. Его кидало из стороны в сторону, но он упрямо пытался заснуть. Впереди них тарахтела санитарная машина. Водителем был



Ривас, санитаром — Аргуэльо. Они и были теми самыми «добровольцами», которых выбрал себе в помощь Хара: все трое односельчане, из Сапукая. По этой же причине, когда Кристобаль прибыл на тыловую базу, Сильвестре Акино, не раздумывая, включил его в состав своего автовзвода. Так бывших мятежников с болота война превратила в «солдат, сражающихся за отечество».

Ничто так не связывает людей в трудные дни, как сознание того, что они *оуоvаlле гуá*<sup>[70]</sup> частицы земли, на которой родились. И нет лучшей почвы для всходов взаимного доверия. Хара не перекинулся со

своими товарищами ни единым словом, не спросил, хотят ли они отправиться с ним в рискованный рейс и хватит ли у них сил. Он даже не назвал их по именам, а просто указал на каждого пальцем и отрывисто произнес местоимения, которые с этого момента стали безличными.

— Nde... jha nde... jha nde<sup>[71]</sup>.

Просека все сужалась, продвигаться вперед стало еще труднее и утомительнее. Дорога то и дело петляла.

Выехав в поле, автозвод вытянулся в прямую полосу, будто прошитую светящейся ниткой. Грузовики смахивали на

приплюснутых светляков, которые ползли среди низкорослой чахлой растительности до тех пор, пока лесная прогалина или поляна не поглощала их. Тогда каждая машина плыла в одиночку по волнам ночной темени. Подчас из-за поворота неторопливо выныривало бутылочное дерево и угрожающе выпячивало свое раздутое пузо, а в зарослях сновали зыбкие тени, отдаленно напоминавшие человеческие фигуры. Но то были колючий кустарник или кактусы в пыльных плащах, вырванные из ночи светом автомобильных фар.

Время от времени из тьмы выплывали остовы грузовиков и

скелеты лошадей, которые служили вехами, отмечавшими трудные участки дороги, искореженной вражеской авиацией.

В оврагах и на прогалинах ночь была другая. Она пахла ветром, смолой, сырым тростником. Выбравшись из душного плена индейских извилистых тропинок, где от пыли и москитов нечем было дышать, а смрадный запах лесных клопов и вонючек доводил до одурения, водители, облегченно вздохнув, ловили свежий воздух широко открытым ртом.

К их спинам кротко припадало безбрежное пространство: оливково-черное небо, усеянное блистающими

искрами светил, поле, светляки и звезды — все сливалось в одно неделимое целое.

Так машины продвигались вперед. Земля становилась все суше, колеса увязали в зыбучих песчаных наносах. Старые моторы пыхтели и кашляли. Большую часть времени им приходилось работать на первой скорости. Шины буксовали в кучах песка, шоферы вылезали из кабин и отгребали песок лопатой или мачете, стараясь сдвинуть машину с места. Руки водителей приросли к переключателям скоростей. Коробка скоростей то исправно работала, то вдруг начинала скрежетать, и мотор выходил из строя.

Нужно было напрягать последние силы, чтобы освободиться от цепких объятий дороги, которая никак не хотела оторваться от колес. Машины медленно двигались по прогалине, она разевала пыльную пасть и грозила их поглотить. Так они тащились уже больше двух часов, а прошли только полторы лиги. До места, где располагался командный пункт дивизии, оставалось еще не меньше пятнадцати. Но если бы этим исчерпывались все трудности! Над водителями тяготела другая опасность: мародеры и бандиты как свои, так и вражеские, — которым шоферы могли дать отпор лишь с помощью заржавленного карабина да

нескольких ручных гранат, спрятанных в вещевом мешке.

Усталость и сон понемногу одолевали водителей. Перед самым выездом с базы они успели проглотить по котелку горячей бурды — больше ничего не удалось съесть из-за бомбежки.

Они въехали в просторную и гладкую, как озеро, котловину. Желтое пятно головной машины маячило впереди, указывая дорогу. Кристобаль Хара заметил, что машина Сильвестре вдруг затормозила. А минуту спустя ее свет замигал настойчиво и призывно.

— Может, стряслось что с Акино? — потягиваясь, пробормотал

Гамарра. — Вроде бы сигналит.

Хара не ответил. Он напряженно вглядывался вперед. От тусклой лампочки, горевшей в кабине, на лицо ему легли тени.

## 10

Из-за плотной завесы пыли вынырнула фигура: человек, подняв руки, остановился посреди дороги. В сухом желатине света, летевшем из фар, силуэт приобретал все более и более явственные контуры. Сильвестре Акино резко затормозил.

— Güера рога!<sup>[72]</sup> — пробормотал, он. — Наверняка



дезертир.

— Или мародер-боливиец, — заметил его помощник Отасу, берясь за карабин и прицеливаясь.

Акино стал включать и выключать фары, желая ослепить незнакомца, но тот медленно шел им навстречу, не опуская рук.

— Стой! — крикнул струхнувший Отасу и щелкнул затвором.

Человек замер на месте. Руки вытянулись по швам: в его осанке не было ничего вызывающего, агрессивного. Это был низкорослый солдатик, без всякого оружия, даже без винтовки.

— Mávaiko-nde? — прокричал

Акино на гуарани традиционный вопрос и тут же повторил его по-испански: — Кто идет?

Солдат молчал.

— Ты наш или боливиец? — настаивал Акино.

Солдат беспомощно разевал рот, но не произнес ни звука, и снова пошел к автоцистерне. Тут Акино откинулся на спинку сиденья. У него глаза полезли на лоб от удивления, но почти сразу лицо стало добрым и лукавым.

— Буду стрелять! — произнес Отасу.

— Не надо.

— Почему, сержант?

Солдат подходил все ближе. Свет

бил ему в лицо, отчего оно казалось желтушным, беспокойным и в то же время решительным. В двух шагах от автоцистерны он снова остановился. И тут все признали в солдатыке Сальюи. Подрезанные ножом волосы торчали из-под шляпы белесыми космами. Стянутая с убитого солдата военная форма висела на ней мешком. По ткани от света фар бежали желтые и темные пятна.

— Ты куда это, Сальюи? — почти по-отечески спросил ее Акино.

— Можно мне сесть в машину? — только и сказала она.

— Ты что, решила малость освежиться? — съязвил Отасу.

Она даже не удостоила его взглядом. Стояла и ждала, когда ей освободят место в кабине.

— Уступи ей место! — приказал Акино.

Отасу, враждебно косясь на Сальюи, неохотно вылез на подножку. Машина взревела и поехала дальше, по прогалине. Вся колонна — от ведущего до хвоста — снова пришла в движение. Стеной перед ними стояла пыль, и конические пучки света ввинчивались в густой мрак, указывая дорогу темным пыхтящим увальням... Акино и Отасу завязали тряпками рот и нос.

Сальюи сидела с отсутствующим

видом, куря сигарету за сигаретой — подарок Хуаны Росы. От сильной тряски ее кидало то к одному, то к другому спутнику в странных масках.

Время от времени она кашляла — одолевала пыль.

— Как у тебя хватило духу прийти сюда? — мягко заговорил Сильвестре.

— Не было другого выхода.

— А Кирито знает, что ты тут?

— Он отказался взять меня с собой.

— Почему же ты мне не сказала, что хочешь ехать с нами?

— Он тут главный — с ним я и разговаривала.

— Ну а теперь что собираешься

делать?

— Буду с вами, если не прогоните.

— Вернее, с ним?

— Для того и пришла.

— Не прогонит уже, не сможет.

У нас расстреливают только дезертиров, — засмеялся Акино.

— А я и есть дезертир... — серьезно сказала она.

— Хорош дезертир — сам под пули лезет.

Он замолчал, глядя во тьму и не видя, как зияющая пасть леса разверзается перед пепельно-серым носом машины, с трудом преодолевающей ухабы и рытвины. Сальюи собралась было что-то

спросить, но помешал приступ кашля. Акино протянул ей рваный носовой платок. Сальюи швырнула окурок в темноту и завязала рот.

## *11*

Автоцистерна Кристобаля отчаянно выла, буксуя на узкой прогалине. Тучи moskitov влетали в кабину, словно разъяренные осы. Хара машинально отмахивался, стараясь освободиться от назойливых тварей, кусавших ему лицо и руки.

Несмотря на резкие толчки и больно хлещущие ветки, Гамарра дремал, завернувшись с головой в

одеяло, — точно надел скафандр.

Кристобаль Хара был отличным водителем — что и говорить. Казалось, он неотъемлемая часть машины, ее живая, одухотворенная часть, вырабатывающая мощные токи нестигаемой воли, управлявшей металлическими нервами и сухожилиями облезлого грузовика. О шоферской сноровке и ловкости Кристобалья знали и на тыловой базе, и на передовой. Его автоцистерна была вся в дырах, наспех зачиненных и залатанных. Хара никогда не увиливал от трудных маршрутов и не щадил себя. Над изречением, украшавшим закраину кабины, давно никто не смеялся. За Кристобалем



упрочилась слава лихого водителя; некоторые даже полушутя, полусерьезно говорили, что грузовик Крестобалю пойдеш и без горячего, — он сам потянет его на трое. Перед выездом он осмотрел свою машину так придирчиво и тщательно, как никогда. На этот раз ответственность за выполнение задания лежала целиком на его плечах. Теперь уже речь шла не о доставке кирпича из Коста-Дульсе в Сапукай.

Когда все было готово к отправлению, Сильвестре Акино подошел к Крестобалю и сказал:

— Командир попросил у меня опытного водителя— я назвал твое

имя. Знай я, куда они тебя пошлют, разве бы я предложил...

Кристобаль пропустил его слова мимо ушей. Он продолжал внимательно и быстро осматривать машину. Поршень, свечи зажигания, покрышки в порядке — в случае чего не подведут и выдержат. Кто-кто, а Кристобаль понимал, как это важно на извилистой старой дороге. Если две машины столкнутся в узком месте, им никак не разойтись. Тогда одному из водителей придется дать задний ход до первой поляны или котловины.

На этой дороге между шоферами уже не раз возникали стычки, каждый оспаривал свое право

пройти первым. Но автовзвод вез воду к своим, осаждавшим Бокерон, и поэтому уступал дорогу только санитарным машинам. Кроме них, он ни с кем не считался. Как-то ночью, в разгар наступления, машина Сильвестре Акино встретила нос к носу с автомобилем из главного штаба. Дело было на одной из фронтовых дорог. Штабной шофер выскочил из кабины и бросился к Акино.

— Назад! — напористо и категорично потребовал он. — Дай мне дорогу! Я везу главнокомандующего!

Акино, скрестив руки на руле, равнодушно поглядывал на крикуна.

— Ну и вези своего командующего, — сказал он, — а я везу воду.

— Назад! Назад! Он торопится!

— Я тоже.

Но тут в ярком свете фар они увидали, что из кабины вылез человек среднего роста, смуглолицый, в помятой военной форме без нашивок, в сверкающей каске. Акино сразу же выскочил из машины и вытянулся по стойке «смирно» — этого человека он ни с кем не мог спутать.

— Выходит, что дорога твоя, сынок, — сказал тот мягким слегка гнусавым голосом, который был отчетливо слышен, несмотря на

рокот моторов.

— Нет, — не дрогнув, ответил Акино. — Дорога для всех... кто выполняет боевое задание.

— Но, сынок, не только у тебя важное задание.

— Виноват... Не думал, что это вы...

— Теперь ты видишь, что это я, придется уступить, — добавил он, — и не теряй попусту времени. — При этом главнокомандующий ни разу не повысил голоса.

— Слушаюсь!

Но тут до них донесся странный шум. Он становился все громче. Казалось, где-то глухо и настойчиво щелкали бичом: это Кристобаль Хара

с товарищами, вооружившись лопатами и мачете, вырубали заросли, мешавшие машине съехать на обочину. За несколько минут была сделана полукруглая платформа, и утрамбованную землю покрыли ветками. Теперь колонна могла беспрепятственно пройти. Вода и главнокомандующий встретились друг с другом, как встречаются две равные державы, и ни одна из них ни на йоту не поступилась своими прерогативами.

— Вот и не пришлось главнокомандующему уступать нам дорогу, — хвастливо рассказывал о случившемся сержант Акино.

Так единственный раз в жизни

Кристобалью довелось одним глазком взглянуть сквозь пыльную пелену на главнокомандующего армией Чако, пока он, Кристобаль, воевал с густой, непроходимой сельвой, расчищая дорогу автоцистернам с водой.

Крепко держась за руль, Хара раскачивался из стороны в сторону, глядя вперед широко открытыми глазами; его внимание и воля были целиком подчинены инстинкту водителя.

Что-то мягкое, будто вата, ударилось о ветровое стекло и рикошетом отлетело в кабину. Это был бекас. Он бил крыльями и пищал от страха, стараясь вырваться на волю. Когти больно вцепились в

лицо Кристобалью. Ему пришлось схватить птицу обеими руками и вышвырнуть в окно. Машина на секунду потеряла управление и одним колесом напоролась на агаву. Послышался громкий сухой треск.

Цистерна с водой накренилась. Кристобаль на полном ходу затормозил и выпрыгнул в темноту. Гамарра встрепенулся и отчаянно замахал руками, пытаясь освободиться от своего скафандра. Вырванный из сладкой дремы внезапным треском и толчком, он как сумасшедший заголосил под спеленавшим его одеялом.

— Что случилось? — вопил он, сорвав тряпку со рта.



Кристобаль внимательно рассматривал проколотую переднюю шину.

— Неси домкрат, — бросил он Гамарре.

— Домкрат? — отозвался тот, недоумевая, в чем дело.

— Да проснись ты наконец, тащи инструменты.

— А-а, так бы и сказал, — зевая и потягиваясь, буркнул Гамарра.

— Шевелись, Полметра!

Полметра сразу как подменили; он сосредоточился, мигом поднял сиденье, вытащил домкрат и гаечные ключи, впопыхах один выронил, поднял и, сунув в рот, зажал зубами.

— Мне приснилось, будто нас

атаковали боливийцы, — бормотал он, не выпуская гаечного ключа.

— Все лучше, чем эта чертова шина, — устало сказал Кристобаль.

— Yagua reví!<sup>[73]</sup> — недовольно проворчал Гамарра и присвистнул.

Подслеповатый, мерцающий свет фар освещал спутанные заросли и медленно растекался по накренившемуся грузовику и двум мужским фигурам, опустившимся на колени перед проколотой крышкой. Зубчатые лапы агавы вонзались им в грудь и больно царапали.

Солнце уже поднялось высоко, когда автоцистерны подъехали к новой котловине. Она была такой же, как и прежняя, разве что чуть поменьше, и вся поросла низкими деревьями: этот зеленый амфитеатр раскинулся прямо посреди сельвы. Овевавший лицо ветер приносил с собой аромат цветущего гуайяко и терпкий запах черных ос.

Отасу стоял на подножке первой автоцистерны и, сонно покачивая головой, пересчитывал машины. Одиннадцать.

— Не хватает грузовика Кристобаля, — сказал он.

Сальюи сразу же обернулась и стала глядеть через овальное окошко

в задней стенке кабины.

— Что с ним могло стрястись? — озабоченно спросил Акино, пристально всматриваясь в суживающуюся к началу и поросшую травой прогалину, по бокам которой тянулись шпалеры кебрачо.

— Вот мы и добрались до ущелья Гарганта-де-Тигре, — объявил Отасу и, устроившись поудобнее на сиденье, стал искоса поглядывать на дорогу. — Слава богу, пройдем его засветло, а не ночью.

И вдруг до их слуха донеслась канонада. Стреляли где-то совсем рядом, с маленькими интервалами, но странный нарастающий гул скоро перекрыл все: и грохот артиллерии, и

урчание автомобильных моторов. Командир автовзвода встревожился не на шутку. На полном ходу он высунулся из кабины, нажал до отказа на стартер и, круто съехав к обочине, прокричал:

— Воздух! Сворачивайте! В кусты!

А через минуту над лесом, прямо над их головами появился «юнкере». Заметив колонну автоцистерн, он открыл сильный пулеметный огонь и в упор обстрелял грузовики. Свинцовый шквал пронесся по пыльной ленте дороги, взметнув к небу земляные столбы.

Водители растерялись, поднялась паника. Машины

заметались и врассыпную ринулись к лесу. Одна автоцистерна и санитарная машина буксовали, изо всех сил стараясь сдвинуться с места, но «юнкере» пронесся на бреющем полете, полив их сверху огненным дождем и вдобавок сбросив бомбу, которая упала рядом с санитарной машиной, но не разорвалась. Люди опрометью выскочили из машины и бросились к зарослям. Подкошенный свинцовым ураганом санитар остался лежать на месте. Автоцистерна неподвижно замерла в кювете. Сквозь разбитое ветровое стекло был виден ничком повалившийся на руль водитель. Из головы его струйкой текла кровь на

уцелевшие                      остатки                      стекла.  
Изрешеченная           пулями           цистерна  
выбрасывала           несметные           водяные  
фонтаны. Грузовики           забивались  
поглубже в лес, пытаясь надежнее  
спрятаться от смертоносного ока  
желтого           стервятника,           который  
неотступно кружил в небе, сотрясая  
землю           оглушительным           треском  
пулеметов и взрывами бомб.

Грузовик           Акино           с           грехом  
пополам укрылся между деревьями  
на опушке. Сальюи с лихорадочной  
поспешностью           забрасывала           его  
всеми           ветками,           какие           только  
попадались под руку. Сильвестре  
Акино, не выпуская руля, командовал  
из           кабины,           громко           кричал           на

товарищей, стараясь излить охватившую его ярость. Он негодовал на собственное бессилие, его помутившиеся от гнева глаза то и дело обращались к застрявшему в кювете грузовику. Но вдруг тот взлетел на воздух, взметнув столб земли, воды и огня. Искалеченные куски железа разлетелись во все стороны. Решетка радиатора со свистом пронеслась над головами, срезая макушки деревьев. Вокруг черной зияющей воронки, разверзшейся посреди котловины, горел бензин, плясали языки пламени, бросая багровые отблески на огромную кучу искромсанного металла. Когда завеса пыли и дыма



рассеялась, все увидали четкие контуры санитарной машины, чудом оставшейся невредимой.

«Юнкере» появился снова и, чертя вензеля, пророкотал над лесом, но бомб не сбросил. Казалось, он просто забавляется тем, что запугивает водителей, внимательно следящих за его акробатическими трюками. Люди, пытаясь совладать со страхом, нестройно кричали, стреляли по самолету из карабинов. Вдруг Акино указал пальцем на санитарную машину и закричал:

— Глядите, глядите!

Между колесами темнело цилиндрическое пятно — неразорвавшаяся бомба.

— Механизм может сработать с минуты на минуту, — бросил Сильвестре, вылезая из своего зеленого убежища. Никто не успел опомниться, как Сальюи уже бросилась к санитарной машине. Все произошло мгновенно, так что Акино не смог даже удержать ее и только крикнул:

— Не смей! Погибнешь!

Но Сальюи летела, не обращая внимания на предостережение, и в один миг добежала до санитарной машины, изрядно поцарапанной осколками и продырявленной пулями. При падении бомба вырыла в песке яму и, залегши в ней, притаилась под пыльным покровом.

Сальюи, распахнув дверцу, исчезла в машине. Она работала четко, не теряя самообладания. Быстро обшарила все вокруг, вытащила походную аптечку, набрала полные руки медикаментов, пакетов с бинтами, вату и стремглав побежала к лесу. «Юнкере», снова взмыв над прогалиной, прочесал ее пулеметной очередью. В двух шагах от Сальюи за клубились облачка пыли, взбитой пулями. Девушка припустила во весь дух, змеей прошмыгнула между пылающими обломками грузовика и мертвым санитаром. Водители остолбенели, Акино бросился ей навстречу и в ярости выхватил свертки из рук.

— Ты что, одурела? Не могла подождать?

— Сам же говорил, что машина вот-вот взорвется, — едва переводя дух, пробормотала она.

— Здесь командую я, и давай подчиняйся моим приказам.

Сальюи присела на подножку, зажав коленями походную аптечку. Из своего убежища насмерть перепуганный Отасу смотрел на женщину округлившимися от изумления глазами. Самолет еще рокотал над лесом, но его круги становились все уже и уже. Наконец, словно утомившись, он набрал высоту, сделал петлю и пропал из виду.

Люди некоторое время ждали, что он появится снова. Водители молча и терпеливо смотрели на мутное небо.

— Вот гад! — в сердцах выругался Акино. — Учужал нас, паразит, теперь целый день покоя не даст.

Сальюи сосредоточенно разбирала спасенные медикаменты и тщательно их сортировала. Время от времени она украдкой поглядывала на дорогу.

Сильвестре Акино искал глазами своего помощника. Тот валялся в кустах. Он подошел к Отасу, его широкое лицо передернулось.

— Ты что тут прячешься, как кролик?

— Меня лихорадит.... — пролепетал Отасу.

— От страха? Пойдешь за Кристобалем.

Отасу неохотно поднялся.

— Живее, трусливая собака! — прикрикнул на него Сильвестре и отвесил звонкую затрещину.

Отасу заковылял, продираясь сквозь колючий кустарник и не переставая потирать лицо. На его губах, как у пьяницы, выступила слюна.

Прогнозы командира автовзвода оправдались. Всякий раз, когда машины готовились отправиться в путь, зловещая тень желтого стервятника всплывала над головами водителей, словно угадывала их намерения. Злобно фырча, он реял прямо над макушками деревьев в горячем воздухе, насыщенном пылью, порохом и дымом.

Тогда люди решили переждать в лесу, в тени этого ненадежного убежища, которое плохо спасало их от падающих отвесно солнечных лучей. Одни выскребали остатки консервов из банок, подъедали все до последней крошки, а потом обсасывали пальцы. Другие дремали,

надвинув на глаза грязные, засаленные шляпы. Они не видели санитарной машины, застывшей над неразорвавшейся бомбой посреди прогалины, и не читали надписи, которая украшала бывший хлебный фургон и казалась теперь неуместной шуткой. «Пекарня гуарани, Асунсьон. Фирменные хлебцы и галеты на сале».

— Ривас, подкинь-ка мне еще галет, — бросил шоферу Сильвестре.

— Ты же столько съел, — ответил тот, — смотри, лопнешь.

— Давай, давай, не жмись. Не зря же нас пекарня Дубреса угощает своей стряпней. Грех не попользоваться... — С этими



словами он поддел ногтем упавшую на колени крошку, слизнул ее и сразу повалился на спину, закрыв лицо шляпой.

— А ты, Ривас, здорово улепетывал, это тебя и спасло, — продолжал шофер.

— Кому же охота умирать раньше времени, дружище?

— Да, вот Аргуэльо отработался. Бедняга!

— Из-за собственной глупости. Не торопился из машины вылезти.

— Зато поторопился умереть.

Уткнувшись головой в зыбучий песок, санитар недвижимо лежал на самом солнцепеке.

Борода Сильвестре, колючая, как

веник из болотницы, торчала из-под полей шляпы и щекотала ему грудь. Время от времени он перебрасывался фразами с сидящей в машине Сальюи.

— Его все нет и нет, — шептала она.

— Погоди, приедет.

Потом долго молчали. Мошкарá облепила порожние жестянки, валявшиеся в траве. Вверху, в сплетении веток, дрожал пучок оранжевого света: сверкала выкрашенная под бронзу решетка радиатора.

— Да, чужая душа — потемки, — слышался вдруг голос Сильвестре. — Я, честно говоря,

думал, что все это просто твоя блажь... Мало ли какая дурь приходит в голову женщине — sarakí<sup>[74]</sup>, — нашел он на гуарани точное слово. — Но такая блажь стоит иной жизни. Другим человеком становишься, Сальюи.

Она посмотрела на Сильвестре, но ничего не сказала. Сказать ей было нечего.

## 14

Уже смеркалось, а водители маленькими группами все прогуливались по лесной опушке в ожидании сигнала к отправлению.

Сильвестре Акино расхаживал по прогалине, поглядывая то на небо, то на вырытые бомбами воронки. Еще дымились обугленные останки автоцистерны, а чуть поодаль, загораживая проход, торчала осевшая, намозолившая глаза санитарная машина. Акино подошел к ней неуверенным шагом. Сначала никто не знал, что он задумал, а Сильвестре все кружил вокруг фургона, оглядывая его со всех сторон... Наконец остановился в нескольких шагах от бомбы.

Но тут у въезда на прогалину появился грузовик Кристобая с сидящими в кабине мрачным, насупившимся Отасу и Гамаррой.

Крепыш приветствовал товарищей громкими криками, сдабривая их самыми солеными остротами из своего обычного репертуара.

Стоявший поодаль Сильвестре Акино знаком велел ему замолчать. Тот осекся. Машина Кристобаля продолжала двигаться, Акино снова поднял руку.

— Стой! — разнесся по прогалине его зычный голос.

Хара затормозил, бросив на Сильвестре недоумевающий взгляд: что случилось? Акино показал на бомбу:

— Дай-ка я сперва вырву этот зуб!

Некоторые водители поднялись

с мест и удивленно уставились на командира, затевавшего столь рискованную операцию. Они видели, как он бросился на землю и пополз к бомбе по той самой колее, которую, буксуя, проложила его машина. Все сбились в кружок и беспокойно переговаривались. Ожидание становилось все тревожней и томительней. Сальюи не отрывала внимательных глаз от машины Кристобаля. Запыленное стекло рдело в последних лучах заката, и лицо шофера нельзя было разглядеть из-за этого слепящего отблеска.

Рука Сильвестре, дотронувшись до ударного механизма, стала легонько поворачивать детонатор.

Акино напрягся, по щекам его бежали крупные капли пота, припорошенная песком борода была белой, как у старика. Он принялся вывинчивать детонатор.

Ужас и разъедающая душу тревога исказили лица водителей, как только они услышали этот зловещий скрип, который словно и не собирался утихать. И вдруг — столб огня гигантской магниевой вспышкой осветил всю окрестность до последнего камешка. Прогалина содрогнулась от яростного взрыва, отзвуки которого мало-помалу затихли в лесной чаще; но воздушная волна обратилась ливнем пылающего песка и раскаленных обломков, так

неторопливо и медленно падавшего на землю, что казалось, ему не будет конца.

## 15

При свете фар и костра, пожиравшего останки санитарной машины, двадцать мужчин молча и деловито закапывали воронки. Вместе с ними трудился не щадя сил Кристобаль Хара. Он отдавал приказания, поторапливал людей, которые, обливаясь липким потом, споро орудовали лопатами и мачете. Сальои таскала ветки и бросала охапками в ямы, В какое-то



мгновенье ее глаза встретились с глазами Кристобая. Тот уставился на Сальюи, словно увидел ее впервые. Оба пришли в замешательство, которого, впрочем, никто не заметил. Он снова налег на лопату и с удвоенным рвением принялся заваливать землей и утрамбовывать зияющий кратер. Кристобаль тушил огонь. Неожиданно в колючих зарослях он наткнулся на что-то мягкое и мокрое. Это была шляпа Сильвестре. Кристобаль нагнулся, поднял ее и незаметно сунул в карман брюк.

— Готово! — закричал он. —

Все по местам, выводите машины.

Шоферы рассыпались по лесу.

Кристобаль сделал несколько шагов и остановился у обочины дороги, рядом с двумя неказистыми крестами, сделанными из веток. Под ними, в воронках, ставших солдатскими могилами, лежали двое его товарищей, двое *oyovalle guá*—плоть от плоти его родной земли, принесенные ей в жертву. Да, они покоились у ног Кристобаля, но были бесконечно далеки от него. Он наклонился и поднял горсть сухой земли. Потом разжал пальцы, и в этом смутном прощальном жесте угадывался инстинктивный протест. Далекие годы детства, события прошедшей жизни — все, что осталось позади и уже не имело

будущего, обратилось теперь в струйку песка, падавшую из руки Кристобалья по непреложному закону тяготения, который все возвращает земле и соединяет с ней, хотя, пожалуй, всей мертвой земли Чако не достанет, чтобы покрыть прах погибших и засыпать ямы глубиной в человеческий рост.

Автоцистерны меж тем выстраивались в колонну. Кристобаль прибавил шагу и скоро оказался усвоен машины. Ривасу он велел занять место Акино. Отасу сел с ним. Повернувшись, Кристобаль увидел Сальюи. Она стояла прямо перед ним, прижимая к груди походную аптечку и бинты.

— Залезай, — сказал он.

Гамарра помог девушке подняться, взяв часть ее поклажи. Машина Кристобая взревела и вырвалась вперед.

## 16

И снова перед автомобильными фарами расступалась сельва, открывая извилистую дорогу. Колючие ветки царапали крылья, барабанили по верху кабины и по цистерне. Колеса скрипели, буксуя в песчаных наносах. Кристобаль выжимал невероятную скорость, используя каждую колдобину, ветку

или твердую насыпь у стертой колеи.

Всех троих душил кашель, они поминутно отплевывали кисловатую, пропитанную гарью пыль. Сальюи как замороженная смотрела на светлую ленту, бегущую перед ними. Она не чувствовала даже москитов, которые гудели и вязли у нее в волосах. Гамарра снова свернулся в клубок под одеялом и прислонил отяжелевшую от сна голову к дверце.

Машина Риваса и Отасу теперь шла в хвосте. Словно замаскированные суденышки, грузовики плыли по волнам удушающего смрада.

— Ну и поездочка! — нечленораздельно бурчал себе под

нос Отасу.

— Да, скверное начало, — процедил его напарник сквозь тряпку, прикрывающую рот.

— И конец будет не лучше... Смерть везем с собой, — сказал Отасу, раздраженно мотнув головой.

— Ты это о ком? Не о Сальюи?

— Ясно, о ней...

Колеса со скрежетом проворачивались в песчаных рытвинах, и этот скрежет помешал Ривасу разобрать до конца слова Отасу.

— А чего ее сюда принесло? — спросил Ривас.

— За Кристобалем увязалась. Из госпиталя удрала. Я своими ушами

слышал, как она рассказывала об этом Сильвестре.

— Баба — она и есть баба, что с нее взять!

— Помню, до войны, — в голосе Отасу чувствовалось презрительное бахвальство, — мы все наведывались к ней в ранчо. Я с ней тоже разок переспал.

— А теперь корчит из себя святошу... Никакими силами ее не заманишь, — визгливо поддакнул Ривас. — Из-за нее нам так и не везет. Добром этот рейс не кончится, помяни мое слово! Акино и Аргуэльо погибли. И то ли еще будет. Мы ведь на полпути...

— Да, сидеть бы сейчас в

Сапукае да потягивать холодное пивко в кабачке Матиаса Сосы, — проговорил Ривас, мечтательно закатывая глаза.

— А я выпил бы терере из своего погреба в земле, там между папоротниками даже льдинки можно найти.

От резкого толчка у них лязгнули зубы.

— Нечистая сила... — прохрипел Отасу, с отвращением сплевывая на дорогу.

— Да, это тебе не парк Кабальеро, — сострил Ривас.

Машина снова угодила в рытвину, и мужчины больно ударились головами.



— Знаешь, — сказал Отасу, — мне иногда чудится, что я на этой дороге как муха.

— Муха?

— Да, человек, но вроде мухи. Мне кажется, у меня переворачиваются все внутренности; вокруг паутина, я бьюсь в ней, трепыхаюсь, а тарантул, огромный, с наш грузовик, шевелит волосатыми лапами и накидывается на меня...

— Я думаю, что ты здесь от другого изводишься, Отасу, — сказал Ривас, косясь на своего собеседника.

— Не знаю... Только я так чувствую.

— Уж больно ты горячий, кровь в тебе играет.

— Слушай, а нельзя ли нам потихоньку отсюда смотаться? — спросил Отасу, резко повернув голову.

— Смотаться?

— Да, в Исла-Пои... Мы же в хвосте, можем незаметно удрать.

— Нас сцапают, — слабо воспротивился Ривас.

— Я один раз уже проделал такое, и все сошло с рук. Наплел с три короба, что по дороге на меня напали мародеры. В общем, целый день отдыхал на базе. Отожрался хоть — все лучше, чем на передовой...

— Но вода там очень нужна, — неуверенно протянул Ривас.

— Одной цистерной больше, одной меньше, все равно этой водой не напоишь десять тысяч человек.

Сквозь молочный квадрат окна отраженный свет падал на лицо Кристобаля, и Сальюи заметила, как оно вдруг напряглось. Но в ту же минуту девушка уже разобрала приглушенный рев автомобильного мотора. Он все приближался. Гамарра, напоминавший в своем одеяле безголовую тушу, завозился.

— Машина, ребята, — пробормотал он и, вынырнув из-под одеяла, растерянно замигал. Он был весь мокрый, будто выкупался в речке.

Лицо Кристобаля выдавало

досаду и озабоченность: куда же свернуть? Искать здесь развилку — пропащее дело, на нее даже и намека не было. Непроходимая чаща глухой стеной смыкалась вокруг машины. У песчаных наносов, по которым пролежала дорожная колея, деревья стояли плотно пригнанные друг к другу, ствол к стволу, так что о боковой тропе и речи быть не могло.

— Каюк нам, сеньоры, каюк, — бормотал Гамарра, — какая уж развилка в Гарганта-де-Тигре! И надо же столкнуться здесь... — Он хотел выругаться, но осекся, вспомнив, что в машине сидит Сальюи.

Рокот мотора доносился все явственней, но его забивал странный

шум, который смахивал на сопение огромной толпы, с трудом толкающей грузовик.

— Не уступай им дорогу, Кирито! Anike![\[75\]](#)

Из-за поворота выплыли фары и вперили свои бельма в автоцистерну Кристобаля. Гамарра моргал сонными глазами. Кристобаль тоже прищурился от слепящего света. Он сбавил ход. Две машины сошлись нос к носу. Это был грузовик, везший раненых. Они лежали как попало в кузове, и их стоны отчетливо доносились до водителей. Шофер высунулся из кабины и, тыча пальцем в Кристобаля, закричал:

— Двигай назад, ребята! Моим

пассажирам ждать недосуг.

Кристобаль дал задний ход, и машина наехала на свою собственную тень. Гамарра вскочил на подножку и заорал:

— Назад, назад!

Грузовики попятились, слово «назад» летело от машины к машине, пока не слилось в одно зычное «ад...», гулким эхом отдававшееся вдали. Ревели, выбиваясь из сил, моторы, заглушая хриплое оханье истерзанных людей. Были видны лежащие вповалку раненые: ноги и руки в запекшейся крови, бинты, прилипшие к потным телам, мертвенно-бледные лица. Сквозь волны пыли и тучи москитов,

вынырнув из темноты, четко обозначились в лучах фар чьи-то обожженные пальцы.

## 17

Отасу и Ривас с притворным усердием суетились у якобы вышедшей из строя машины, выжидая, пока отдаляющийся гул моторов не затихнет совсем. Теперь на прогалине они были одни. Опустили капот. Отасу подошел к крану и повернул его. Он пил так долго, что стал икать. Ривас сделал то же самое. Кран они не завернули. Вода с тихим журчанием

впитывалась в песок, и, когда бульканье прекратилось, а невнятные шорохи улеглись, в тишине, разлитой по сельве, на низких глухих тонах зазвучало едва уловимое тремоло ночи. Казалось, это гудят гуаламбау, под звуки которых пляшут индейцы, до упаду кружась у священных ритуальных костров. Поток выбрасываемого фарами желатина растекался лимонным пятном посреди дорожной колеи. Луны не было, зато был участок земли, обожженный горевшей санитарной машиной. В глубине выжидательно темнели два одиноких креста.

Машина развернулась и прошла мимо них.



— Сильвестре наверняка отправил бы нас в расход, — пробормотал Ривас.

Отасу, согнувшись в три погибели, машинально потирал щеку, по которой его когда-то ударил Сильвестре.

## 18

Утреннее гнойно-серое небо, проглядывая сквозь зазоры сплетенных ветвей, летело навстречу грузовикам, продолжавшим путь по прогалине, еще окутанной ночью. Кусты редели. Наконец машины вышли в открытое поле и пошли

дальше — землистые комочки, покрытые паутиной и выброшенные лесной чащей в темную бескрайность пустыни, усеянной островками блеклой зелени.

Гамарра вскарабкался на кузов и, держась за борт, окинул взором автоколонну. Он вглядывался изо всех сил, смотря из-под руки налитыми кровью глазами, словно выгнанный из сельвы филин, который ослеп от восходящего солнца.

— Десять вроде бы на месте... Похоже, что нет только машины Отасу. — Он, кряхтя, слез со своего наблюдательного пункта и снова нырнул в трясущуюся кабину.

С запада доносилось уханье

пушек и треск пулеметов. Люди слышали их еще до того, как очутились в открытом поле. Но на последнем участке к цели им начало казаться, что они давно уже кружат у одного и того же места, откуда долетает звук приглушенных взрывов. От этих взрывов дрожат автомобильные покрышки, а у людей стучат зубы. Но теперь грохотала вся округа, будто снаряды рвались где-то совсем рядом.

— Вот мы и приехали! — сообщил словоохотливый Гамарра своей спутнице, указывая пальцем на один из зеленых островков. — Там размещается штаб дивизии. Чуть подальше — уже передовая. Нелегко

им приходится, беднякам!

Сальюи по-прежнему молчала. Крестобаль упорно вертел руль, направляя грузовик к опушке дальнего леса.

## 19

В тылу Бокерона, в рощице, среди бутылочных деревьев и кебрачо дивизионный штаб жил еще напряженнее и тревожнее, чем тыловая база. Временами казалось, что глубоко под землей лопались большие воздушные пузыри и, колебля ее, вздымали рваные облака пыли. Винтовочная трескотня и

автоматные очереди, неожиданно вспарывавшие пространство, красноречиво говорили о том, что где-то неподалеку линия фронта.

Из укрепленных блиндажей, скрытых деревьями, выползали взбудораженные люди, которые, как сомнамбулы, среди бела дня натыкались друг на друга и снова исчезали вскрытиях.

У самой дороги расположились со своим нехитрым скарбом легко раненные солдаты. Они сидели и ждали той неизбежной минуты, когда их переведут в лагерь или пошлют на передовую, смотря по тому, насколько горячей и ожесточенной будет битва.

«Каждый, у кого есть хоть по одной ноге и руке, может плясать в хороводе», — таково, по-видимому, было здешнее негласное правило. Тот, кто еще держался на ногах, тащил на себе снаряжение.

Услышав рев моторов, люди повскакали с мест, словно в них сработала невидимая пружина. В низине появился грузовик Кристобаля Хары. Тени в лохмотьях стремительно кинулись наперерез автоцистерне и, рискуя очутиться под колесами, загородили ей дорогу. Кристобалю пришлось остановиться. Он выскочил из кабины, тщетно пытаясь сдержать этих озверевших от жажды, истощенных призраков,

которые уже уцепились за кран  
цистерны. Людская лавина подмяла  
и Гамарру, но, заметив, что сзади  
стоят еще несколько грузовиков,  
большинство побежало к ним,  
стараясь обогнать остальных.  
Офицер с нарукавной повязкой  
полевого жандарма бросился спасать  
положение. Следом за ним прибежал  
пикет полицейских. Размахивая  
пистолетом, офицер локтями  
прокладывал себе дорогу в этой  
сутолоке и бешено вопил:

— Назад, назад! В очередь!  
Становитесь в очередь!

Дуло пистолета и приклады  
винтовок *yaquí-pero*<sup>[76]</sup> так и  
заходили по лохматым,

всклокоченным головам. Постепенно полицейские добились своего. Беспорядочная толпа, берущая приступом воду, сдалась и неохотно отступила. Хара подошел к офицеру.

— Эта автоцистерна едет не на передовую, лейтенант. У меня особое задание.

— Тогда проваливайте отсюда, — рявкнул офицер.

Хара сел за руль и повел машину прямо к блиндажам. Гамарра устало ковылял следом. Сальюи смотрела на них пустыми глазами.



— Становись в очередь!

Раненые идут первыми, — надрывался офицер, бросаясь из стороны- в сторону и наводя порядок.

Под ударами прикладов люди с горем пополам выстроились в шеренгу, и только тогда офицер отдал приказ начать раздачу: полфляги воды на нос. Сам он во все глаза следил за процедурой. Солдат, не торопясь, разливал порции. Стоявшие сзади тянулись в сторону цистерны, обращая к ней худые печальные лица. Очередь все росла.

— Хватит, — сказал вдруг офицер и махнул рукой. — Кому сейчас не досталось, тот напьется у

себя в подразделении. Остатки воды пойдут на передовую. Я вижу, вы уже поднабрались силенок, стало быть, можете и драться.

Хриплый, почти животный рев прокатился по колонне. У некоторых вырвались сдавленные рыдания. Кто-то упал на колени и, барабаня по земле кулаками, забормотал сквозь зубы:

— Я больше не могу... Я больше не могу. — Человек плакал навзрыд, потом поднялся и, покачиваясь, заковылял к лесу.

Очередь, распавшаяся на отдельные группы, продолжала иступленно дожидаться воды. Измученные жаждой, одурев от

безысходного отчаяния, солдаты глухо и жалобно сетовали, глотая слова. Офицер разгонял их, крича и размахивая руками:

— Сказано вам, убирайтесь! Вода кончилась! Кто хочет получить положенную ему порцию, пускай идет к себе в подразделение.

Водовозы наливали доверху канистры, потом поддевали их на палку и, взвалив тяжелый груз на плечи, горбясь, уходили. Вода расплескивалась и радужно переливалась на солнце.

Солдат, только что стоявший на коленях, а потом укрывшийся в лесу, появился снова и, продираясь сквозь толпу, подошел к офицеру.

— Дайте мне воды, лейтенант. Я ранен. — Он показал на руку, замотанную подолом рубашки; палец у него был заложен за гимнастерку.

— Где тебя ранило? — офицер недоверчиво прощупал его взглядом.

— Как где? На передовой, — возмутился тот, стараясь придать голосу большую твердость.

— Да ты же только что торчал в очереди!

— Нет... меня ранили на передовой!

— Поглядим. — И с этими словами офицер сорвал с него окровавленную тряпку.

На руке чернела дыра, обожженная порохом.

— Сволочь, трус! — Офицер свалил его наземь ударом ноги. — Ты же сам себя ранил в кустах!

Солдат ползал у ног офицера и скулил, уткнувшись головой в землю, словно хотел, чтобы она его поглотила.

— Уведите!

Дюжие «облезлые псы» в залитой водой форме накиннулись на солдата.

Стоя у интендантского блиндажа, Кристобаль Хара получал последние инструкции.

— О медикаментах и говорить нечего, — замахал на него руками интендант. — Сами не получаем. И просить бесполезно!

— Санитарка у меня есть, — нерешительно сказал Кристобаль и показал на сидевшую в кабине Салюй.

— Ну и хватит с вас, а сержанту Акино я постараюсь найти замену. Да, для нас это потеря тяжелая. Особенно сейчас. Но что поделать! Вот он вам поможет добраться до места, — и кивнул в сторону человека с очень худым лицом. — Сержант Монхелос, покажите им дорогу к батальону. Желаю удачи!

Сержант, босой, в рваной форме,

вытянулся перед офицером  
интендантской службы.

Проходя по лесной опушке,  
Кристобаль увидел, что  
расстреливали какого-то солдата.

## 22

Теперь они медленно  
продвигались к отряду, отрезанному  
от остальных на ничейной земле.  
Они целиком и полностью  
положились на свою судьбу. Земля  
рассыпалась прахом, тучи пыли  
клубились за грузовиком, обступая  
его стеной.

Скелетоподобный, тощий

сержант по имени Монхелос указывал пальцем на невидимую дорогу; он знал ее назубок — она была словно выжжена в его истерзанных нервах.

Грузовик трясся на ухабах, продираясь сквозь бурьян, заросли кактусов и пылающие пески; над ними посреди небесного купола стояло добела раскаленное солнце, которое иссушило и мозги водителей, и лежащую цинковым листом равнину.

Проводник и Гамарра качались из стороны в сторону, сидя на баллонах с бензином и ящиках с продовольствием, привязанных веревками к бортам.



Цистерна была хорошо укрыта двумя коровьими шкурами, которые не давали воде испаряться, а на песчаных наносах служили понтонами.

Лес и пустыня, пустыня и лес. И этот непрерывный невыносимый рев — он отдавался во всем теле, барабанные перепонки его уже не воспринимали. Уши заложило. С наступлением темноты пушки замолчали, но тише не стало: гудело тремоло ночи, точно играли на гигантском гуаламбау, и земля, растрескавшаяся от зноя, напряженно, словно струна, вибрировала под смычком горизонта. Даже рокот моторов было трудно

разобрать.

Сквозь амальгаму пыли Сальюи временами видела призрачное лицо Кристобаля. Когда она смотрела на него сбоку, оно казалось ей чужим, непривычным: резко очерченный профиль, зеленые с поволокой глаза, устремленные вперед, по наитию угадывающие прихотливые изгибы дороги.

И вдруг она увидала, что какие-то расплывчатые серые силуэты набросились на грузовик. Двадцать солдат, сверкая штыками, орали и жестикулировали. По рваным оливково-зеленым формам можно было понять, что это были за люди.

— Стой! — вопили они как

безумные, грозно подступая к машине Кристобалья.

Тот сделал вираж, чтобы увильнуть от преследователей, но они уже взяли его в кольцо.

Кристобаль нагнулся и схватил карабин. Тогда один из головорезов бросился к нему и штыком проколол руку, сжимавшую винтовку.

— Рeyeí tajhasá!<sup>[77]</sup> — яростно прохрипел Кристобаль, продолжая лавировать.

Но в эту минуту солдаты всадили свои штыки в шины, и те с треском лопнули. Мотор сразу же заглох. Молниеносно были сорваны с цистерны шкуры, и фонтаном брызнула вода, смочив спины

Кристобалю и Сальюи. Монхелос и Гамарра не смели пошевелиться: с обеих сторон прямо им под ребра нацелились штыки. Скопище серых лиц осаждало кран, хищнически растрачивая воду. Все это напоминало изнасилование: голое тело воды со стоном вырывалось из рук и губ озверевших мужчин. Только смерть смогла бы удержать их от этого безумия.

— Труссы! Даже умереть не умеете, как солдаты... на боевом посту, — орал Кристобаль в припадке злобы, но его крики терялись в хриплом сопении насильников.

Собравши остатки юмора,

Гамарра старался смягчить опасное положение шуточками и не показать, как он напуган. Он отвел щекочущее бок острие штыка и сказал его владельцу:

— Ты со мной, малый, не заигрывай! Пейте на здоровье! Зачем спешить в важном деле? Все равно воду-то везли вам!

У крана была невообразимая свалка — мародеры толклись, как свиньи в закуте, кое-кто старался набрать воды во флягу. Они ругались и угрожали друг другу.

Сальюи хотела остановить Кристобалю кровь, хлеставшую из раненой руки, но тот отпихнул ее с такой же злобой, с какой прежде

отпихнул штык. И только спустя некоторое время, когда бандиты, пятась и не выпуская из рук оружия, добрались до леса, а потом, кинувшись врассыпную, пропали в чаще, Кристобаль разрешил Сальюи сделать перевязку. Он догадывался, что еще им предстоит вынести в пути.

## 23

Автоцистерна с проколотыми шинами осела в зарослях болотницы; на вид она стала еще меньше и приземистее. Только тень ее увеличилась и вытянулась в длину.

Красное солнце уже наполовину скрылось за линией раскаленного горизонта.

— Мы с Гамаррой вернемся и принесем запасные камеры, — предложил Монхелос.

— Нет, — ответил Кристобаль Хара, пристально глядя на обступившую их болотницу.

— Как же быть? — спросил Гамарра, указывая на колеса.

— Набейте покрышки этой травой, — бросил Кристобаль таким тоном, словно велел служащим авторемонтной мастерской накачать шины.

Все рьяно взялись за работу, набили покрышки хрусткой

болотницей и надели на обод. Сальюи срезала траву и таскала охапками гибкие острые стебли. Кристобаль работал через силу — очень ныла рана. Бинт намок от крови. Тогда он вытащил из кармана шляпу Сильвестре и натянул на руку, как перчатку. Сальюи подошла и укрепила ее Кристобалью на запястье. Она снова протянула ему кровоостанавливающую таблетку, тот взял ее и проглотил.

Гамарра и Монхелос унесли домкраты. Кристобаль сел в кабину и завел мотор. Подошел проводник.

— Темнеет. Нам теперь не проехать...

— Знаю. Я поставлю машину в



лесу.

Грузовик двинулся к непроходимым зарослям, над которыми уже сгустились сумерки. Поскрипывали набитые травой покрышки. Гамарра ткнул в них пальцем и в шутку обратился к машине.

— Скажи спасибо за такие башмаки, okaichirá... [\[78\]](#)

Ночь, полная монотонного, едва различимого гула, окутала стоявшую в кустах автоцистерну.

Скоро над лесом, расточая белый рассеянный свет, всплыла луна.

Это был первый — к сожалению, вынужденный привал за

весь двухдневный рейс, во время которого им было не до еды и не до сна. Гамарра вытащил банку с консервами и пригласил Монхелоса:

— Давай поужинаем.

Оба уселись у грузовика; чавкая и давясь, они жадно глотали тушенку и грызли твердые, как булыжник, галеты. Кристобаль достал свои припасы и поделился с Сальюи. Потом поднялся, налил немного воды в жестяной бидон из-под машинного масла и дал каждому по полфляги, но сам не смочил губ.

— Ты не будешь пить? — спросила его Сальюи.

— Нет...

— Возьми у меня, я не хочу, —

сказала она, протягивая ему флягу.

— И я не хочу.

Они смущенно переглянулись. В первый раз лицо Кристобалья смягчилось и подобрело. Но тут они услышали голос Гамарры:

— Наш последний ужин! Шикарный, правда!

— Для меня он будто первый! — сказал проводник.

Сальюи и Кристобаль улыбнулись.

— Идите спать, — сказал Кристобаль, вставая, — я пока подежурю.

Девушка угостила их сигаретами и забралась в кабину. Гамарра и Монхелос при помощи мачете

расчистили место рядом с грузовиком и улеглись, натянув на себя одеяла.

— Для полного счастья мне не хватает только, чтобы пришла со мной спать ара́ра<sup>[79]</sup> — балагурил Гамарра, беря сигарету.

Монхелос тоже закурил. Оба помолчали.

— Похоже, война не скоро кончится, — пробормотал Гамарра, хотя казалось, он давно уже спит.

— Да она только началась.

— Для нас она почти кончилась.

— И то верно, — вяло поддакнул проводник.

— Далеко же пришлось нам идти на собственные похороны, —

вздохнул Гамарра.

— Так, видно, на роду написано.

Темнота скрывала их лица, светились только красные точки сигарет.

— Помню, у нас в Сапукае мы сформировали отряд повстанцев. Революция вот-вот должна была вспыхнуть повсюду. Да нас накрыли. Прислали конницу из Парагуари, ну и кого не пристрелили на болоте, тех до единого выловили и послали на каторгу. Один Кирито спасся. Просто чудом. Так теперь он в это пекло угодил. Хорошо бы, он вышел из него целым и невредимым, да и мы вместе с ним... Правда, Монхе?

— Спи, Полметра, может, во сне

и увидишь наше спасение... Хотя бы во сне... — Монхелос повернулся на бок и залез с головой под одеяло.

Лунный свет сверкающими когтями царапался о стекла, рассыпался искрами, будто в клубящуюся пыль затесались светляки.

Кристобаль пришел с обхода и забрался в кабину. У самой подножки дружно храпели Монхелос и Гамарра-

— Болит рука? — спросила Сальюи.

— Нет.

— Курить хочешь?

— Сигарет нет.

— У меня есть...

Девушка достала одну из последних сигарет, подаренных Хуаной Росой, чиркнула о стекло спичкой и закурила. Она сделала несколько поспешных затяжек и, когда красный огонек разгорелся, протянула сигарету Кристобалью.

— Как странно! Ночь, а мы сидим вместе в твоей машине.

— Что ж тут странного?

— Ты всегда меня презирал.

— Я людей не презираю.

— А меня презирал... До вчерашней ночи... Ты меня и в машину взял скрепя сердце. Не хотел.

— Я тебе велел подняться в кабину. Значит, хотел.

Кристобаль выпустил изо рта

густую струю дыма, надеясь унять неугомонных москитов.

— Можно тебе задать вопрос?

Кристобаль посмотрел на Сальюи.

— Ты меня презираешь за то, что я такая...

— Каждый такой, какой есть... и никто не смеет презирать другого.

— Ну, а если он, к примеру, дурной человек, как ты думаешь, может он измениться?

— Человек меняется с каждым часом, только это его личное дело.

Она жестом попросила у него затянуться. Он сунул ей в рот сигарету. Сальюи выпустила из носу дым.



— Иногда... иногда мне кажется, что тебе никого и ничего не жалко... Но сейчас... — Она осеклась, покачала головой и мягко отвела в сторону руку с сигаретой. — В лагере ты дружил только с индейцем Канайти. О чем вы разговаривали в его хижине?

— О лесных делах, о его племени.

— Тебе нравилось слушать его рассказы?

— Он многое знает, больше, чем я.

— А он тебе рассказывал легенду о женщинах, которые водят хороводы в ущельях, надев пояс из светляков, чтобы наутро вызвать

дождик?

— Нет. Мы говорили о другом...

— Я уже забыла эту легенду...

Помню только, что женщины, подпоясанные светляками, пляшут всю ночь, повернувшись спиной к новой луне. Они пляшут до тех пор, пока небо не затянется тучами и не начнется дождь. Так рассказывал индеец... Не знаю, может, это и не так...

— Наверно, правда. Индейцы не ошибаются...

— Я хочу еще спросить тебя, Кристобаль...

— Шла бы ты лучше спать, — резко сказал он.

— Не спится что-то.

— Завтра у нас очень трудный день.

— А может, и смерть, — кротко, почти радостно подхватила она, и в ее интонации прозвучала скорее уверенность, чем вопрос.

— Может быть...

— Тогда и отосплюсь... Сон будет долгим, долгим... — В ее голосе не было ни печали, ни торжественности, ни малейшей горечи. Он звучал празднично, потому что индейцам-гуарани чужда грустная настроенность: слова свободно слетают с губ, будто их только что выдумали и они еще не успели обветшать. Сальюи сказала: «Jho'ata che'ari keraná pukú»<sup>[80]</sup>,—

словно видела перед собой облик легконогого сна со свитой веселых сновидений.

Туча, окаймленная блистающей выпушкой, закрыла вонзенный в небо лунный коготь и погасила свет, разливавшийся по стеклам. Сальюи с Кристобалем попыхивали одной сигаретой, но скоро ее докурили.

— Кристобаль, ты веришь в чудеса?

— В чудеса?

— Да, когда случается что-нибудь сверхъестественное, такое, что может сделать один бог...

— То, чего не может сделать человек, никто не сделает, — жестко произнес Кристобаль.

— Да, верно, это и есть сила, которая творит чудеса...

— Может быть. Я не понимаю, когда люди много болтают. Я понимаю только то, что могу сделать сам. Вот мне дано боевое задание, я его выполняю. Это мне понятно.

— Ты знаешь, Кристобаль, я тоже начинаю многое понимать. Акино мне перед смертью сказал, что я становлюсь другим человеком. Наверно, он был прав. Вот я сижу рядом с тобой... и мне не стыдно... Ведь это... это невозможно, — шептала она тихо, словно разговаривала сама с собой.

Хара раздавил окурок прикладом винтовки и выбросил в

темноту. Его рука неторопливо скользнула по плечу Сальюи и мягко привлекла девушку. Подрезанные ножом волосы растрепались, и голова Сальюи под тяжестью нахлынувшего счастья припала к плечу Кристобаля.

Солнечные лучи резко очерчивали силуэт автоцистерны, с трудом преодолевавшей зыбучие песчаные наносы. Мотор хрипел, выбиваясь из сил. Колеса едва заметно продвигались по коровьим шкурам, ковром расстеленным на

песке, и, по мере того как буксующий грузовик пядь за пядью прокладывал себе путь, Сальои перетаскивала шкуры дальше, на новое место. Монхелос и Гамарра подталкивали машину сзади, не спуская глаз с покачивающейся цистерны, которая время от времени угрожающе кренилась набок. Кристобаль крепко вцепился в руль, напряженно всматриваясь в ослепительно-белое песчаное пространство.

На дороге появился большой камень, чем-то напоминавший гриб, который мрачно темнел посреди селитряной сверкающей пустыни.

— Где-то здесь... — объявил Монхелос, показывая на камень. —

Аэролит! За ним начинается просека, — добавил он и ткнул пальцем в черную дыру, зияющую на фоне пепельного недвижимого леса.

Гамарра с любопытством разглядывал камень и вдруг уставился на колеса грузовика. Лицо его исказилось от страха. Задние покрышки дымились, из-под них уже выбивались языки пламени.

— Стой! — закричал он. — Горит болотница!

Кристобаль остановил грузовик и выскочил из кабины поглядеть, что случилось, но Монхелос и Гамарра уже тушили огонь, обрушив на него настоящий песчаный ливень. Когда дым исчез, Кристобаль сел за руль и



попытался завести мотор, но ничего не вышло. Он снова выбрался из машины и, подняв капот, проверил систему зажигания. Он действовал одной рукой. Вторая, в шляпе Сильвестре, сквозь которую сочилась кровь, безжизненно болталась. Она вздулась и пошла лиловыми пятнами — у Кристобая начиналась гангрена. Сальои с ужасом смотрела на его руку.

Стояла томительная тишина. Стихла даже глухая канонада, и слышался только низкий, едва различимый гул напоенной зноем сельвы да мурлыканье мотора, с которым возился Кристобаль.

— Странно, — сказал

Монхелос, — смотри, как там тихо.

— Бокерон взяли, не иначе, — сказал Гамарра, состроив смешную рожу, которая, очевидно, должна была свидетельствовать о его радости.

— Пожалуй, еще немного, и наши прорвут оборону.

— Сегодня ровно три недели, как началась осада Бокерона, — вставил Гамарра. — Падет Бокерон, кончится война.

— Поживем — увидим.

Но тут они услышали нарастающий рокот самолета, и все, как один, подняли головы. Над лесом появился «юнкере» и плавно пронесся прямо над ними. Летчик не

мог себе представить, что белесая точка, затерянная в песчаных бурунах, — неприятельский грузовик.

— Ну, что я говорил! — воскликнул Гамарра, злорадно потирая руки при виде того, как вражеский «юнкере» скрылся за деревьями. — Они сдрейфили! Война кончилась! Ура-а!

Но властный голос Кристобаля вернул всех с облаков на землю:

— По местам! Поехали!

И снова потянулась длинная, изматывающая дорога. Сальюи, ползая на четвереньках и поминутно выпрямляясь, перетаскивала шкуры с места на место. Они ложились

темными кругами на белый прокаленный песок. Кристобаль, действуя одной рукой, вертел руль. Он то и дело переключал скорость, стараясь избавиться от опасного крена. Грузовик дергало из стороны в сторону, но надежной опоры под колесами не было. Раненая рука Кристобаля, уродливо вздувшись, походила на головку новорожденного, а нелепая шляпа придавала ей сходство с оторванной головой Сильвестре Акино. Глаза Акино, вперившись в Кристобаля, мигали сквозь поволоку пыли, и ему пришлось перевести взгляд на простертую за стеклом песчаную гладь, чтобы избавиться от них и

сообразить, что он видит отражение своих собственных глаз.

Но они все-таки упрямо глядели на него, запавшие, тусклые, лукавые. Это они угадывали неприметный дорожный поворот, это благодаря им машина неуклонно продвигалась вперед. Оставалось только ехать, ехать и ехать, чего бы это ни стоило, по мертвой голове друга, сквозь заросли и пустыню, сквозь взбунтовавшиеся стихии, ехать сквозь немолчный гуд леса, в котором неразлично сплетались жизнь и смерть. Так распорядилась судьба Кристобаля.

И разве она могла быть иной у Кристобаля Хары? Она вела его за

собой, как одержимого, как раба, по узкой лесной просеке и по бескрайней равнине, напоенной диким запахом свободы. Одолевать непроходимую чащобу деяний ценой своей плоти, превращать их в неколебимую волю, которая и рождает эти деяния. «То, чего не может сделать человек, никто не сделает», — говорил Кристобаль. А таких людей, как он, не счесть, они безымянны, но несметны. Свою силу они, видно, черпают не в слепом повиновении закону, который властвует над людьми и определяет ход событий, а в чем-то другом. Люди под стать ему действуют почти бессознательно и наверняка даже не

отдают себе отчета в том, что такое надежда. Они хорошо знают одно: надо стремиться к цели, — остальное не в счет. Надо идти вперед, забывая о себе. Радость, победа, поражение, любовь, обладание, отчаяние все это лишь отрезки пути по бескрайней равнине. Кто-то падает в этой борьбе, но ему на смену приходят другие и снова прокладывают колею, прочерчивают колесами борозду, оставляя кровавый след на древней земной тверди и оплодотворяя жестокую девственницу — природу.

Машина в клубах пыли  
пробиралась по просеке.  
Пронзительно взвизгивали колеса,  
кренилась цистерна, покрытая  
пестрым потником из коровьих шкур.

В зарослях кебрачо появилась  
какая-то сгорбленная фигура: она  
подстерегала Кристобая с  
товарищами. Издали ее можно было  
принять за мумию — так она была  
неподвижна. С виду не то ягуар, не  
то макака или ястреб, — только  
здесь они уже не водятся.

Мумия зашевелилась. Под  
клеенчатыми полями шляпы  
заморгали косые прищуренные глаза.  
Они были явно удивлены появлением  
небольшого грузовика, который,



словно мифическое чудовище, пробирался по узкой, едва приметной просеке и все приближался.

Желтозубый рот растянулся — раздался предупреждающий свист.

— До котловины теперь рукой подать, — закричал Монхелос, указывая на толстый ствол кебрачо, вынырнувший из-за поворота, — еще немного, и мы на месте...

Пулеметная очередь оборвала его на полуслове. С дикими воплями на дорогу выскочили грязно-зеленые тени. Кристобаль свернул в непроходимые заросли, но было уже поздно. Резким толчком он выкинул из кабины Сальюи, а сам змеей

скользнул в кусты через другую дверцу. Беглый огонь настиг Монхелоса и Гамарру, которые не успели соскочить. Пули мягко погрузились в их тела, как в губчатую резину, и они покатались по земле. Кристобаль выбрался из зарослей и потянулся за валявшимся на сиденье карабином, но пуля прошила ему руку. Он упал ничком, прополз немного вперед и замер.

Беспорядочно паля направо и налево, бандиты с гиканьем выскочили из своего укрытия. Кто-то промчался мимо, наступив на окровавленную руку Кристобаля. Люди как безумные кинулись к цистерне: перекошенные от жажды

лица, искривленные рты, скрюченные руки замелькали у крана. Солдаты били друг друга прикладами, кусались и озверело царапались— каждый отвоевывал себе глоток воды. Самые нетерпеливые изрешетили выстрелами цистерну и жадно ловили брызнувшие из-под коровьих шкур водяные струи.

— Скорей! Живей поворачивайтесь! Скорей... А то появятся парагвайцы! — орал человек с нашивками унтер-офицера. Его никто не слушал. Зубы крошились о металл, тела извивались, как в падучей, из глоток вырывался прерывистый хрип.

— Давай быстрее! Обопьетесь, черти! — поторапливал их унтер-офицер. — Быстрее, быстрее! Сожжем машину!

Беспорядочная толпа понемногу редела. Одни, пьяно покачиваясь, отходили в сторону, потом падали наземь и начинали блевать: их истощенные желудки, переполненные водой, не выдерживали и отдавали ее обратно. Другие все еще цеплялись за кран или, широко разинув рот, вбирали в себя бьющую из-под шкур воду, отпихивая тех, кто старался наполнить ею фляжки.

— Быстрее, быстрее... А то появятся парагвайцы! Сожжем

машину!

Серная слепящая молния с грохотом вспыхнула у них за спиной, и веером разлетевшиеся осколки скосили нескольких человек. Остальные, выведенные из оцепенения взрывной волной, бросились к лесу. Воздух снова с треском раскололся, слоистый газ — красный, желтый, зеленый — поплыл вдогонку за солдатами, бежавшими очертя голову.

Дым и пороховая гарь понемногу рассеялись, выпустив из своих тенет копошащуюся в зарослях Сальюи. Она шарила вокруг, пытаясь найти полевую сумку Гамарры и достать из нее новую гранату. Вид у

нее был устрашающий, зловещий: волосы стояли дыбом, а над ними — земляной нимб. Сальюи уже собралась бросить гранату в крыло автоцистерны, как вдруг заметила Кристобаля. Он еле дотащился до крана, припал к нему, стараясь заткнуть его губами. Сальюи кинулась ему на помощь, потом быстро залатала палочками дыры в пробитой цистерне. Неожиданно ее взгляд упал на безжизненно висящую руку Кристобаля.

— Господи, — простонала она. Лицо ее сразу осунулось, потускнело.

Она прижала к себе Кристобаля, положив его руку на свое плечо. Они

прошли несколько шагов до кабины, поддерживая друг друга. Сальюи тоже качалась, но не потому, что ей было тяжело вести Кристобаля: на ее спине расплывалось большое пунцовое пятно. Они сели на подножку. Девушка вытащила из-под сиденья аптечку и стала перевязывать Кристобаля рану.

— Надо ехать... Я должен добраться до места, — бормотал он.

Его искаженное лицо, покрытое жуткой маской из кроваво-грязной жижи, выражало упорство и одержимость. Руки у Сальюи дрожали и не слушались, но она просветлела, словно одержимость Кристобаля передалась ей и

подчинила ее себе. Когда перевязка была закончена, Кристобаль при поддержке Сальюи кое-как влез в кабину. Он сел за руль и уставился на перевязанные руки. Ни тени отчаяния не было в глазах этого человека: он точно обдумывал решающий шаг.

— Я должен добраться до места, — повторил он, стиснув зубы.

Сальюи смотрела на него мутными глазами.

— В ящике с инструментами есть проволока. Достань ее, — приказал Кристобаль.

Сальюи, цепляясь за капот, обошла машину и остановилась у другой дверцы. Она изо всех сил



старалась двигаться спокойно и непринужденно. Хотела подняться на подножку, но не смогла. Тогда, изогнувшись, она дотянулась до ящика с инструментами и, вытащив оттуда моток проволоки, тем же путем вернулась к Кристобалью.

— На, возьми...

— Привяжи мне эту руку к рулю.

Сальюи послушно привязала. Потное лицо ее было мертвенно-бледным.

— Крепче, — сказал он, заметив, что предплечье все еще движется свободно.

Сальюи дважды обмотала руку и затянула узел. Тогда Кристобаль

сказал:

— Хорошо... Теперь эту к переключателю скоростей, — и протянул другую руку.

Она укрепила ему запястье на переключателе и принялась завязывать. Ей пришлось поглубже просунуться в кабину, чтобы легче было управиться с проволокой и довести дело до конца. Но руки почти не слушались: Сальюи слабела. Время от времени она корчилась от внезапных судорог, потом вдруг выронила проволоку и протерла глаза, словно хотела совладать с головокружением.

— Давай быстрее, — грубовато торопил Кристобаль.

Сальюи поспешно сделала последние узлы. Отрезала проволоку, спрятала концы. Потом ее пальцы на секунду задержались на перевязанной руке Кристобалья, будто прощались с ней. Сальюи закрыла глаза.

— Залезай, поехали! — приказал Кристобаль, не глядя на нее, и нажал педаль.

Силы оставили девушку; она вдруг покачнулась и вцепилась в борт грузовика. Кристобаль поднял голову и в первый раз заметил, что во всю спину Сальюи расплзлось огромное пятно, а возле плеча из-под мокрой гимнастерки выпирает пунцовый сгусток свернувшейся крови. Лицо

Кристобалья превратилось в страшную маску, выражавшую безграничное отчаяние. Впервые в жизни он не знал, что ему делать. Да, впервые в жизни он отчетливо понимал, что теперешнюю задачу разрешить ему не под силу.

Время шло. Он сидел, привязанный к машине. Предсмертная агония пригибала Сальюи к земле. Нечеловеческим усилием Кристобаль мягко нажал на педали. Машина медленно попятилась назад, и в эти секунды, показавшиеся Кристобалью бесконечными, колеса робко нащупали колею, по-матерински нежно заботясь о том, чтобы не

потревожить простертую Сальюи. Струйка пыли ласково и небрежно поиграла прядью волос, упавшей на девичий лоб. Кристобаль взглянул на Сальюи еще раз. На спине девушки извивалась кровавая змейка. Пальцы сжали подвернувшийся под руку цветок и спокойно застыли. Тогда Кристобаль дал газ и больше уже ни разу не оглянулся.

Колеса скрипели, продвигаясь по лощеной твердой просеке, машина с каждой минутой набирала скорость. Из-под шин стали вырываться черные клубы дыма, окутывая тарахтящую автоцистерну.

Скоро Кристобаль въехал в котловину. Людей здесь как будто не

было. Горящие колеса соскальзывали с колеи, подпрыгивали на брошенном оружии, вещах и узлах, валявшихся под испепеленными зноем деревьями.

Несколько пулеметных очередей, прерывистых и блуждающих, словно стрелял какой-то пьяный или сумасшедший, выбили последние остатки стекол, но машина метр за метром, чертя немыслимые зигзаги, продвигалась вперед. Потом вдруг напоролась на дерево. Мотор заглох. Сильная водяная струя забила из горла цистерны, гася языки пламени, тени которых плясали в притихшей котловине.

И тут завыл автомобильный  
гудок, завыл траурно и протяжно.  
Голова водителя упала на руль.  
Казалось, он хотел передохнуть,

# ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

## Бывшие соратники

### *1*

Он медленно спускался с подножки, нерешительно озираясь по сторонам. Казалось, он с трудом узнавал эти места, а может, ему просто не хотелось очутиться здесь снова. От слепящего полуденного света глаза его щурились. Он надвинул на лоб сильно смятую шляпу с кокардой и вышел из вагона второго класса, опасливо нащупывая босыми ногами платформу. В



сутолоке и суматохе поначалу на него не обратили внимания, но я его увидел сразу. Я узнал этого человека и продолжал наблюдать за ним, но украдкой: зачем мне было привлекать к нему внимание — ведь я отлично знал, что произойдет, когда его заметят. Моя новая должность требовала от меня сдержанности, я должен был хранить невозмутимое спокойствие, как и подобает начальству. Этот человек снова напомнил о наших прошлых утратах, — увы, невозвратимых. Он наверняка чувствовал, что в допущенных ошибках есть и его вина. Очевидно, поэтому в его движениях сквозила странная апатия

и отчужденность.

Он проводил глазами уходящий поезд, и в его взгляде, кроме нерешительности, появилась такая растерянность, словно он вдруг понял, что его бросили одного в безлюдной пустыне. Он повернул голову и посмотрел на окутанные пылью дома и ранчо под зеленым пологом обожженного солнцем плюща и коричневых деревьев. Видно, провоевав три года и теперь возвратившись домой, он и вправду с трудом узнавал свою деревню, и не потому, что она сильно изменилась, а потому, что переменился он сам и, главное, сдало зрение. Ему трудно было разглядеть как следует

окружающие предметы.

Он посмотрел на проезжую дорогу, разделявшую пополам деревушку. Вдали маячил залитый солнцем темно-зеленый холм Тупа-Рапе. По нему он сориентировался и неторопливо двинулся в путь.

Клубы пыли окутывали его исхудавшее тело. Пыль покрывала длинноносое птичье лицо, лизала дубленую кожу, обтянувшую кости, расцарапанную колючками, обожженную огнем в Чако, сухую кожу с несмываемыми следами пороха; эти оспины особенно выделялись на землистых скулах, одна из которых была прошита пулей.

Да, он изменился, но его сразу

же узнали.

## 2

— Смотрите-ка, кто приехал, — слышался возглас. — Да это же сержант Крисанто Вильяльба!

Но он даже не обернулся, не откликнулся, словно это имя прозвучало для него странно и незнакомо. Он медленно шел по дороге, точно был не только близоруким, но и глухим.

Известие разом всколыхнуло людей, толпившихся на станции. Все засуетились, закричали. Несколько человек, одетых, как и он, в

поношенную военную форму, бросились к нему. Один из них опирался на костыль, у другого вместо руки торчала культя, а рукав гимнастерки был сложен вдвое и заколот английской булавкой. Крисанто остановился и поднял на них глаза. Из-под шляпы, надетой набекрень, его смуглое лицо, перерезанное темным шрамом, глядело пугающе безучастно.

— Наконец и ты приехал, Хо... — потрясая пустым рукавом, радостно воскликнул Элихио Брисуэнья, но не решился, однако, договорить прозвище Крисанто.

— Хоко!<sup>[81]</sup> Здорово! — подхватил кто-то.

Услышав это приветствие, остальные тоже осмелели.

— Хоко!

— Хоко!

— Хоко!

Как в давние годы, это прозвище — название птицы — заменяло ему его настоящее имя.

Они теснее окружили его. Он стоял в пыли, обволакивавшей лицо, и смотрел на них, слегка наклонившись вперед под тяжестью туго набитого вещевого мешка, который он слегка поддерживал рукой. Загорелое птичье лицо выражало удивление, словно он никогда не знал этих людей или не мог их припомнить. Глубоко

запавшие глаза растерянно мигали, но не только потому, что у него было неладно со зрением. В его душе была ночь, она-то и мешала ему видеть залитый светом полдень. Он не ослеп, нет, — он просто потерял память. Знаменитая оливково-зеленая форма солдата, участника боев в Чако, была вся в аккуратно заштопанных и залатанных дырах. Три обрывка трехцветной ленты, такой же полинялой, как и кокарда на его шляпе, были пришиты к левому карману гимнастерки, свидетельствуя о трех полученных крестах, которые, надо полагать, хранились в вещевом мешке. Свернутое одеяло висело на ремне.

Из правого кармана торчала сплющенная жестяная ложка. На шее вздулись жилы, похожие на толстые веревки.

Меня сразу же позвали. Мне ничего не оставалось, как подойти к Крисанто. Его по-прежнему возбужденно осаждали земляки, глядевшие на него с уважением, благожелательностью и некоторым смущением; последнее, впрочем, сглаживалось нахлынувшей радостью — ведь как-никак вернулся их односельчанин! С большим опозданием, но все-таки приехал домой из дальних краев.

Я протиснулся к нему, дружески потрепал его по плечу.



— Как жизнь, Крисанто?

В вещевом мешке что-то приглушенно и мягко звякнуло. «Миска стукнулась о кружку», — подумал я. Он приехал со всем своим солдатским добром.

— Ты что, не помнишь лейтенанта Беру? — спросил у него Педро МάρТНр, указывая на меня.

— Нет...

Сказать по правде, Крисанто был со мной едва знаком: я уехал из Итапе мальчишкой.

— Теперь он наш алькальд... [\[82\]](#)

— А-а!

— Нет больше над нами политических начальников, — сплюнул Иларион Бенитес, опираясь

на свой костыль. — Теперь у нас алькальд... В первый раз за все время нами верховодит наш же односельчанин.

— Да.

— Крисанто, ишь ты! — протянул Корасон Каб-раль, указывая на ленточки, висевшие на кармане гимнастерки. — Ты единственный во всем Итапе получил кресты!

Чуть заметная улыбка появилась на сомкнутых губах Крисанто.

К толпе подбежал оборванный мальчишка и с сонным видом уставился на приезжего. Измазанный апельсинным соком рот потемнел от пыли. Струпья покрывали всю грудь, усеянную пятнышками белой

проказы.

— Как дела, Хоко? — спросил Тани Лопес. — Что нового, дружище?

— Ничего. Никаких новостей... — ответил тот кротким надтреснутым голосом, который, казалось, прозвучал помимо его воли.

— Ты малость запоздал с приездом, — бросил Иларион, словно упрекая Крисанто.

— Да, целый год, почитай, прошел со дня победы, — сказал Корасон Кабраль, лукаво глядя на Крисанто.

Тот тянул с ответом. Ему было трудно не только заговорить, но даже

разомкнуть губы.

— Я оставался там, — наконец выдавил он.

— Где? В Чако? — спросил Педро Мартир.

— Нет, в Асунсьоне.

— А зачем ты остался? —  
полюбопытствовал Элихио  
Брисуэнья.

— Ждал демобилизации.

— Да чего было торопиться, —  
фыркнул Илари-он Бенитес, — раз  
все соки из тебя вытянули.

— Но домой-то тебе  
хотелось? — сказал Тани Лопес.

— Я и приехал...

— Первым прибыл я, —  
сообщил Иларион. — Как только в

военном госпитале мне приделали деревянную ногу... Потом, капрал Брисуэнья.

— Хотя мне и не приделали деревянную руку, — заметил тот.

— Все потянулись в Итапе, — продолжал Иларион. — Там мы были для всех обузой. После и остальные приехали. Тани Лопес, Педро Мартир, Хосе дель Кармен...

— И я! — прервал его Корасон Кабраль.

— Потом появились братья Гойбуру, — продолжал Иларион, — как всегда, вместе, словно попугаи-неразлучники. Вместе они разделались с Мелитоном Исаси, вместе и в тюрьму угодили за это.

Он осекся: все смотрели на него с молчаливой укоризной. Тани Лопес нервно полировал о гимнастерку ноготь на мизинце, длинный, как коготь медведя.

— Теперь собрались все! — нарушив молчание, сердито сказал Иларион и, считая своим долгом чем-то развеселить помрачневших товарищей, добавил, указывая на Тани Лопеса — А этому дьяволу никакие пули не страшны — ни одного волоса на голове не тронули!

Никто не засмеялся.

— Мы уж думали, ты не вернешься, Крисанто, — сказал старый Аполинарио Родас, лицо которого было скрыто полями

тростникового сомбреро. — Будешь жить теперь в своей долине?

— Не знаю. Посмотрим...

Не обращая внимания на разговор взрослых, мальчик упорно пытался отобрать костыль у Илариона Бенитеса.

— Ишь мешок-то как раздуло! — сказал Корасон Кабраль, легонько ударив по нему рукою. Снова слышалось мягкое, приглушенное звяканье. — Не иначе как стерлингами набил, — шутливо протянул он.

— Нет, солдатские пожитки привез...

Все захохотали, но тут же осеклись, словно захлебнулись. Я не

смеялся. Слишком неестественным был этот смех. Смеялись не от хорошего настроения, а оттого, что чувствовали себя неловко и неудобно.

Старуха в монашеском платье, потянув за рукав Корасона Кабраля, отвела его в сторону и долго шептала ему что-то на ухо. Тот согласно кивал головой, но по всему было видно, что старуха раздражала его, — она, наверное, болтала о чем-то и без того известном. Наконец он отделался от нее и вернулся к нам.

Но тут Иларион Бенитес допустил новую оплошность.

— А вот твой сын, Крисанто, — сказал он, положив руку на взлохмаченные вихры оборвыша,



возившегося с его костылем.

Снова наступило тягостное молчание. Иларион, разозлившись на себя за такую бестактность, яростно плюнул. Мальчик чертил что-то на земле большим пальцем ноги. Под спутанными космами сверкали черные неприветливые глаза, как две капли воды похожие на отцовские. Крисанто перевел на него взгляд и в первый раз уставился на мальчика.

— А... Кучуй<sup>[83]</sup>, — только и сказал он. В его голосе не было ни радости, ни удивления, ни нежности. Просто встретились две птицы и приветствовали друг друга.

Иларион подтолкнул мальчика к отцу. Тот подошел и остановился

рядом. То ли он робел, то ли чего-то стыдился и, чтобы набраться храбрости, принялся легонько царапать шершавую мешковину. Крисанто отстранил грязную мальчишескую руку, словно отмахнулся от слепня.

— Да здравствует сержант Крисанто Вильяльба! — закричал Корасон Кабраль, стараясь разрядить обстановку.

— Да здра-аа... — хором подхватили остальные.

— Трижды ура доблестному односельчанину, непобедимому сержанту Хоко! — снова закричал Корасон, радуясь тому, как удачно нашел выход из создавшегося

положения. — Гип, гип, ура!

Народ прибывал. Толпа гудела, все сильнее поддаваясь притворному воодушевлению. Я кричал вместе с остальными и непрерывно чувствовал, что эти приветственные клики обращены не к бывшему солдату, сражавшемуся в Чако, а к печальной тени, омытой пепельным светом. Да, от этого человека осталась только тень — ее-то нельзя сломить.

— Ну, что мы тут торчим? — засуетился Корасон Кабраль. — Пошли в кабачок к Канталисио, отпразднуем твое возвращение, Хоко, — и широким жестом пригласил всех. В темных глазах его

вспыхивали искры веселья, по красному лицу струился пот. — Пошли в кабачок!

— Идемте, я плачу за угощение, сеньоры, — сказал я.

— Нет, — воспротивился Крисанто, — мне надо идти в Кабеса-де-Агуа...

— Ну, Хоко, — умоляюще протянул Корасон, — мы тебя не отпустим. Считай, что ты у нас в плену. Столько лет не был дома! Столько лет не видались — и вдруг такое неуважение. Не каждый год бывает война, которая так кончается.

Все опять радостно закричали.

— Ура сержанту Вильяльбе, доблестному герою Бокерона! —

завопил Элихио Брисуэнья, желая умаслить Крисанто. — А помнишь, Хоко, Пунта-Брава? Я там потерял руку, а ты один захватил боливийское оружие вместе с расчетом и получил первое повышение.

— Рота Вильяльбы, смирно, ша-а-а-гом марш! — загремел Корасон, пользуясь случаем, чтобы спародировать военную команду.

Крисанто заморгал. Челюсть отвисла, он ничего не сказал, только из горла у него вырвался сдавленный нечленораздельный звук. В первый раз в его глазах мелькнуло что-то похожее на воодушевление: очевидно, этот военный клич задел чувствительный и глубоко

запрятанный нерв, и Крисанто сразу же перенесся в пылающее от зноя ущелье, увидел пороховой дым, услышал пулеметную трескотню и взрывы. Он даже слегка шевельнул рукой, словно собрался метнуть гранату, а скорее всего это было рефлекторное сокращение мускулов, может вызванное неожиданным воспоминанием.

Однако продолжалось это недолго. Он сразу же опять сник, одеревенел, птичий нос вытянулся, на шее вздулись жилы, в раскосых глазах появился отчужденный блеск. Но теперь он, видимо, уже слышал голоса и смех своих товарищей по оружию, видел их веселые лица, гримасы, лукавое

перемигивание. Глаза Крисанто потухли, веки опустились. Он больше не противился, и мы повели его, как вола. Кучуи бежал рядом с отцом.

Наши сердца сковало молчание, поэтому процессия была печальной, несмотря на крики и смех. Мы почти тащили человека, награжденного тремя крестами — по кресту за каждый год боев и тяжких потерь, за каждый год яростного солнца, бессмысленных лишений на безбрежной равнине, в чреве которой кипела черная яростная нефть.

Поэтому мы шумели точно так же, как в тот год, когда на нас напала саранча. Тогда мы колотили в канистры, жгли костры, стараясь

спугнуть и отогнать саранчу. Теперь мы шумели, чтобы оглушить Крисанто и не дать ему заметить тех страшных следов опустошения, которые оставила пронесшаяся война. Мы волокли его в кабачок, чтобы заблаговременно помочь ему забыть то, о чем он еще, наверное, не знал.

### 3

Собравшиеся в кружок женщины оживленно судачили, обступив старую монашку, которой наконец удалось пустить в ход свои ораторские способности и



заговорить певучим вкрадчивым голосом:

— Смотрит он и ничего не узнает. Встретился с Кучуи и бровью не повел! Это с родным-то сыном!

— Видать, он совсем не в себе, сестра Микаэла, — поддержала ее одна из собеседниц. — Даже о Хуане Росе не спросил. Верно, ничего еще не знает...

— Да все он знает, — оборвала ее другая, — потому и не спросил. Если знаешь, так чего спрашивать!

— Тоже правда! — согласилась та, что поддержала старуху монахиню.

— Может, знает, а может, и нет, — снова заговорила монашка,

оживленно жестикулируя; ее скуластые щеки задергались. — Если и знает, так притворяется незнающим. Стыдно, видать... Только нет, думаю, ничего он еще не знает. Видели, какое у него лицо? Как у покойника! Не будет христианин так скрывать свою тоску, если она его и вправду одолевает.

— Может, еще вернется Хуана Роса...

— А зачем? — отрезала старуха. — Сатана ее завлек в свои сети, не иначе! Больно кровь у нее горячая! На роду ей написан такой конец.

— Да и ранчо ее разрушено.

— Это дело поправимое, —

вставила третья. — Хоко работающий и мастер на все руки.

— А Кучуй?

— Он все время жил один. Теперь у него хоть отец появился. Оба станут работать на своем участке. Хоко возьмет в жены другую...

— Вы что, не видели, какой он стал? — возразила старуха. — Разве он теперь работник!

— Все они возвращаются оттуда не в себе, поначалу вроде точно потерянные, потом это проходит, и они становятся такими же, как раньше.

— Или помирают, как Лоренсо Обелар. Приехал домой с чахоткой,

только чтобы схоронить свои косточки в родной земле. Не хотел на чужбине умирать, сам про то говорил, слышали...

— Эх, Крисанто Вильяльба, горемычный — одно слово! Ему еще хуже.

— Хорошо, что еще близнецы Гойбуру разделались с Мелитоном Исаси, а не то... — сказала одна из женщин, многозначительно глядя на старуху, — Крисанто сам захотел бы рассчитаться с ним за все, что тот ему сделал.

Темное дыхание ужаса снова примешалось к женским оживленным пересудам. Сплетницы трещали без умолку, как сороки, но

их слова опять прикрывали тайную  
боязнь, предчувствие чего-то  
дурного. В памяти еще жила  
недавняя трагедия, и возвращение  
Крисанто Вильяльбы всколыхнуло  
стоячую воду воспоминаний.  
Женщины не отрываясь смотрели  
ему. вслед, пока он с товарищами  
шел к кабачку.

Приезд Крисанто заставил их  
еще раз обсудить, происшедшие  
события с самого начала, и хотя они  
перебирали их одно за другим  
дотошно и придирчиво, на душе у  
них стало спокойнее: Крисанто  
вернулся, — пробел в этой истории  
заполнен. К тому же такой  
безучастный, отчужденно глядящий

на мир человек вряд ли способен на яростный взрыв мести... Нет, им нечего бояться.

Не все одинаково рассказывали об этих прошлых делах. Образ Хуаны Росы становился в людской памяти многоликим. По-разному описывали ее внешность, по-разному толковали о ее душевных качествах. Каждый житель Итапе по-своему представлял себе Хуану Росу, а подчас разные образы этой женщины легко уживались в воображении одного и того же человека.

Это мне сразу бросилось в глаза, как только я, после долгого отсутствия, вернулся в Итапе. Чувствуя себя на родине чужим, я

начал запоздалое расследование этой истории — не для того, чтобы помочь правосудию, хотя от начала до конца она была сплошным нарушением закона, но главным образом для того, чтобы дойти до сути той вины, которая тяготела над всеми.

#### 4

Когда во время войны политический начальник Мелитон Исаси решил «окопаться» в Итапе, он привез с собой из Кабеса-де-Агуа жену Крисанто Вильяльбы и оставил ее жить в управлении.

Пересудам не было конца.

Сожительство Хуаны Росы с Мелитоном Исаси на глазах у всей деревни превратилось в загадку, которая не давала покоя старухам, особенно же монахине, поскольку она была признанной блюстительницей нравственности среди жителей Итапе и самой заядлой сплетницей, собирающей все слухи и скандальные новости. Она сразу же стала чесать языком на рынке, у соседей, на паперти о том, что Хуана Роса влюблена в Мелнтона Исаси. Иначе — старуха даже мне об этом уши прожужжала — она не смогла бы вынести все его бесчинства, не вытерпела бы



надругательства и унижения, которые обрушил на ее голову политический начальник. Одна только любовь могла придать большим черным глазам Хуаны Росы — глазам *kuñásaraki*<sup>[84]</sup> как выражалась старуха, такую томность и такое лукавство.

Обо всем этом шли бесконечные разговоры. Никто точно не помнил, какой была Хуана Роса, а я и подавно, потому что видел ее еще девчонкой. Знаю только, что она была красива какой-то скорбной и переменчивой красотой. Описывая Хуану Росу, мои односельчане сравнивали эту женщину то с растениями, то с красивыми, а иногда и со злыми

зверьками, черпая из языка гуарани веселые прозвища или насмешливые поговорки — отзвуки прекрасной или страшной реальности. С их помощью они пытались воссоздать женщину и вызвать тот образ, который ускользал из глаз, из рук и стирался в памяти.

Не в ее пользу говорило и то, что она была дочерью Марии. Росы, той самой сумасшедшей с холма Каровени, которая в своем тихом помешательстве упрямо называла отцом Хуаны Росы создателя деревянного Христа, а всякий понимал, что-уж это — явная бессмыслица.

Тем не менее всегда находился

кто-нибудь, кто робко пытался оправдать Хуану Росу, высказывая предположение, что Мелитон Исаси насильно держал ее у себя: он ведь и с другими женщинами так поступал...

Некоторые действительно видели, как Хуану Росу и ее сына сопровождал вооруженный полицейский.

— Мелитон Исаси велел схватить ее и привести к себе... — рассказывала индианка Кончё Аваай, оставшись с глазу на глаз с сестрой Микаэлой, — потому что Хуана Роса была одна и вступить за нее было некому...

— Нет, она пришла к нему по своей воле, — отрезала старуха,

прерывая на полуслове свою собеседницу, — я сама видала, сама видала...

Ясно, что такие заверения монахини заставляли умолкнуть всех благожелателей Хуаны Росы. Даже меня старухе удалось убедить. Она же рассказала мне и о сыне Крисанто.

— Кучуй было тогда три года. Пока его мать стряпала для полицейских, он путался под ногами тут же, у плиты, или, бывало, прятался среди карабинов на оружейном складе. Полицейские забавлялись им, как собачонкой, а Хуана Роса о нем не заботилась.

— Но не вы ли мне сказали, что

она взяла Кучуи с собой?

— Правильно, только она оставляла его в управлении. Когда мальчик очень уж плакал, Мелитон колотил его и запирали в карцер, куда обыкновенно сажали всяких бандитов. После завтрака Мелитон отправлялся вздремнуть и приказывал позвать Хуану Росу, а Кучуй запереть в карцере. Она не заставляла себя ждать. Покорно шла, и каждая черточка, каждое движение тела под рваным платишком говорили о желании поскорее отдаться Мелитону Исаси. Хуана Роса подпоясывалась в то время веревкой или зеленым обрывком усурó<sup>[85]</sup>.

Потом, по словам старухи, она выбросила эту лиану.

— Дон Мелитон велел поставить в свой домик обтянутую шелком раскладушку, — на ней не так жарко отдыхать в съесту. Он надолго запирался с Хуаной Росой, но плач малыша долетал до них и беспокоил, как писк котенка, упавшего в колодец. «Кучуй, Кучуй», — вопили солдаты, колотя по дощатой двери карцера. И малыш иногда умолкал.

Сестра Микаэла рассказывала, что по части любовных удовольствий дон Мелитон отличался бычьей неутомимостью, и его похотливое пыхтение слышно было даже на

улице.

— Откуда вы все это знаете?

Старуха рассердилась.

— А как же мне не знать? Я же стояла у окна напротив и все видела. Я тогда ухаживала за женой дона Мелитона, нья Брихидой. Здесь, в этом домике, он запирался с. Хуаной Росой, и они занимались блудом...

Я украдкой бросал взгляд на кирпичные стены и деревянную дверь дома. Старый вылинявший флаг, облепленный паутиной, да порванная во многих местах карта республики— вот и все, что осталось от времен Мелитона Исаси.

— А после я видала, как

выходила Хуана Роса, — продолжала сплетничать монахиня. — Она брала мальчика из карцера и уносила домой. Лицо у нее было как у раскаявшейся блудницы, и она поминутно целовала Кучуи. Рожица у мальчишки была грязная, сопливая, зареванная. А Мелитон Исаси спал до самого вечера.

## 5

Но не одна Хуана Роса была любовницей Мели-тона Исаси.

Иногда на кухне толклись две или три девицы. Они переглядывались и молчали. Днем



они хлопотали по хозяйству, а в укромные ночные часы утоляли неуемную похоть политического начальника, — о ней ходили уже легенды. Хлещущая через край мужская сила Мелитона Исаси только тогда иссякла, когда его оскопили и зверски растерзали творящие возмездие руки.

Сказать по правде, его сожителство с Хуаной Росой было недолгим. Прошло немного времени, и все увидели, что Хуана Роса надела другое платье, немного принарядилась и даже стянула талию лаковым поясом, выбросив уже ненужную веревку и обрывок лианы. Мелитону Исаси она быстро

наскучила. А может, надоел ребенок. Каждый знал, что Мелитон ненавидел сына Крисанто. Он, вероятно, видел в мальчике его отца-солдата, у которого в самом начале войны увел жену, увел без труда, словно сорвал по дороге маисовый початок.

А пока что он принялся волочиться за Фелиситой Гойбуру, младшей сестрой Эсперанситы, о которой уже много лет не было ни слуху ни духу. Он обольстил девушку не в темноте, во время своих ночных объездов деревни, а среди бела дня, когда та выходила из школы... Ему даже не пришлось ее долго уламывать. Он добился ее согласия

двумя-тремя дешевыми  
безделушками, розами из сада при  
управлении, которые она  
обыкновенно срезала, чтобы  
подарить своей учительнице.

И когда однажды все увидали,  
что она вошла в домик Мелитона и  
двери за ней закрылись, деревенские  
кумушки принялись сплетничать с  
особенным запалом. Они  
предсказывали, что случится, если  
вернутся живыми из Чако близнецы  
Гойбуру. Ведь они нежно любили  
Фелиситу и, конечно, собственными  
руками отомстят Мелитону за  
надругательство над сестрой. Все так  
и вышло.

Предсказали они и то, что Хуана

Роса скоро получит отставку. И в самом деле, через несколько дней Мелитон выгнал ее. Хуана Роса исчезла, но продолжала незримо жить в деревне, приобретя странную и противоречивую многоликость в памяти своих односельчан.

Прошло немало времени — и вот что рассказала мне однажды с глазу на глаз индианка Конче Аваай, улучив минутку, когда поблизости не было монахини, — та обязательно прервала бы ее или вступила бы в спор, как уже не раз делала. Хуана Роса поведала ей, что отправляется в Чако искать Крисанто, потому что хочет снова быть подле него, хочет вместе с ним умереть. Индианка

также сообщила мне, что Мелитон Исаси силой затащил Хуану Росу в управление и, поминутно грозясь убить Кучуи, держал ее там до тех пор, пока не пресытился ею. Ведь он уже пытался убить Кучуи в ту ночь, когда изнасиловал Хуану Росу на ранчо в Кабеса-де-Агуа. Индианка говорила, что Хуана Роса отчаянно сопротивлялась Мелитону, дралась с ним, как львица, но тот схватил нож, приставил к горлу ее малолетнего сына, и Хуане Росе пришлось уступить.

— Мне разрешали разговаривать с ней, — сказала Конче Аваай, — меня никто ни в чем не подозревал...

Она всем открыла эту тайну,

всем объяснила причину странной покорности Хуаны Росы. Но мало кто поверил словам индианки: слишком горькую правду рассказывала она своим шепелявым беззубым ргом.

К. тому же Конче Аваай не ходила в церковь и никогда не поднималась на холм Тупа-Рапе. Может, еще и поэтому ей не хотели верить.

## 6

Вернувшись из Чако, близнецы Гойбуру казнили Мелитона Исаси, и это чудовищное убийство воздавало ему сторицей за все злодеяния. Когда

жители Итапе увидали обезображенный труп политического начальника, они, леденея от ужаса, стали ломать себе голову, почему близнецы так жестоко, по-звериному разделались с Мелитоном. Они не понимали, что покарав негодяя, близнецы одним ударом свели счеты и с соблазнителем их сестры, и с Христом Гаспара Моры, к которому с давних лет питали недоверие и злобу. Деревня еще не могла уразуметь, что толкнуло близнецов поступить именно так. Жителям было невдомек, зачем близнецам понадобилось, сняв искупителя, накрепко привязать вместо него к кресту оскотеленный труп Мелитона

Исаси. Казалось, провисев на кресте двадцать пять лет, Христос Гаспара Моры, омытый дождями и солнечным теплом, любовно овеянный ветром и свежим воздухом, полным реющих птиц, Христос, не знакомый с прогорклым, пропитанным ладаном церковным полумраком, вдруг за одну ночь превратился в политического начальника. И вот висит теперь, одетый в его сапоги и куртку, при пистолете, выкатил налитые кровью глаза, а над вздувшимся лицом уже витают зловещие тени стервятников.

Прибежал насмерть перепуганный священник. По его приказу несколько дней подряд



кропили святой водой оскверненное место, творили заклинания и возносили молитвы. Под всхлипывания и слезы толпы, вымаливающей прощение у господ, Христа снова водворили на крест; вся эта церемония производила впечатление карикатуры на празднование страстной пятницы. Из Борхи отец Педроса привез более сотни плакальщиц, и теперь уже совсем нельзя было понять, то ли люди замаливали свою вину перед Христом Гаспара, то ли устраивали поминание политического начальника, который к тому времени уже покоился на кладбище.

Несколько дней спустя отец

Педроса спросил женщин, нет ли среди них желающих бессменно охранять Христа на Голгофе. Денно и ночью нести стражу на холме Итапе вызвалась одна Мария Роса. Ее пустые глаза лучились жертвенным светом, словно все двадцать пять лет она только и ждала этого часа.

## 7

Мелитон Исаси был давно мертв. Но и несчастная Фелисита Гойбуру тоже была мертва, и никто не знал, где ее могила. Она умерла, отомщенная своими братьями, которые, провоевав три года в

далекой пустыне, за единый миг превратились из героев в отъявленных убийц и теперь отбывали свой срок в асунсьонской тюрьме.

Была отомщена и Хуана Роса Вильяльба, частично и остальные жертвы — даже те, в гибели которых не был повинен Мелитон Исаси. Впрочем, для них эта месть не служила вознаграждением за страдания.

Кучуи жил у своей безумной бабки на холме Каровени, но когда она превратилась в неусыпного стража Христа, домом для мальчика стала деревня. Целыми днями он сонно слонялся по ней, словно

вырвавшаяся на свободу птица, название которой заменяло ему имя. Уже тогда на груди у мальчика появились первые струпья белой проказы. Может, это была та же болезнь, что и у Гаспара Моры, а может, в его кожу впитались зола и пепел, потому что он много ползал на кухне в управлении. Так этот наполовину осиротевший ребенок, законный сын своего отца, стал воплощением всех незаконнорожденных детей, которых разбросал по деревне обуреваемый похотью Мелитон Исаси.

До того как вернулся в деревню отец, Кучуи беспечно разгуливал по Итапе, и в этом погруженном в

спячку существе медленно  
зарождался будущий мужчина,  
который пока не хотел избавиться от  
дремы, чтобы не видеть того  
страшного сна, каким была и жизнь  
его деревни. Очевидно, это смутно  
понимали торговки лепешками и  
алохой на станции, потому что всегда  
припасали для Кучуи кусок лепешки,  
кружок заплесневелой колбасы или  
стакан освежающего питья.  
Наверное, они жалели мальчика, а  
может быть, чувствовали что-то  
вроде страха, стыда или угрызений  
совести. Во всяком случае, при виде  
Кучуи я испытывал именно эти  
чувства. Я зазывал его к себе и  
усаживал в кресло. Он испуганно

противился, не понимая, конечно, что мною движут странная боязнь и стыд. Я приносил ему молоко, печенье, бананы и подолгу смотрел, как он уписывает за обе щеки эти лакомства. Но больше всего ему нравился мой пистолет. Я позволял ему играть с ним и даже показал, как с ним обращаться. Вытащив магазин, я учил мальчика целиться из пистолета и спускать курок.

А теперь я видел, как он трусит рядом со своим отцом, направляющимся в кабачок, и путается под ногами громко разговаривающих мужчин.

На грязном обшарпанном столе, за который мы уселись кружком вместе с Крисанто, лежали три креста. Они были без надписей — маленькие, неказистые, покрытые ржавчиной.

— Крест за Бокерон... Крест за Чако... Крест за победу... — считал Тани Лопес, трогая каждый из них ногтем мизинца. — Это тебе на память, Хоко!

— Да, — словно эхо отозвался Крисанто, отодвигая руку Тани.

— Лучше хоть что-нибудь, чем совсем ничего, сказал один тип, слизывая с котелка жир, — сострил Кабраль.

— Но как получилось, что тебе

дали ордена? — спросил немного лукаво Иларион Бенитес. — Ведь для рядового состава и сержантов ни медалей, ни крестов не полагается. Во всяком случае, в наше время. Выдают только бумажку, где указаны все твои заслуги, и ее прилагают к солдатской книжке. Так ведь, лейтенант? — бросил он мне.

Я смолчал, так как думал о другом.

— А вот мне дали, — помедлив, ответил Крисанто, нимало не смутившись. И потом скромно добавил: — Думаю, я заслужил.

— А когда это было?

— За несколько дней до того, как закончили расквартировывать



демобилизированных. Нас уже было не так много. Выстроили всех и вызвали меня. Я сделал три шага вперед, заиграл рожок, забил барабан, и сам министр обороны вручил мне кресты.

— Güera!<sup>[86]</sup> Сам министр обороны — ни больше, ни меньше!

— Он мне повесил кресты на грудь, обнял меня и сказал: «От имени благодарного отечества!» И все мы закричали: «Да здравствует родина!» Министр ушел, а за ним и его помощники.

— Сам министр обороны! — повторил Корасон. — Нет, подумать только! Эго тебе не хвост собачий! А мы тут сидим, как та старая ведьма,

что сторожит Христа на холме.

Послышались сдержанные  
смешки.

Иларион прищурился и пристально посмотрел на Крисанто:

— А не думаешь ли ты... —  
сказал он, но тот прервал его и с  
непоколебимой уверенностью  
заявил:

— Чему положено быть, о том  
ничего раздумывать. Подставляй  
грудь — вот и весь сказ.

— Хотя один раз поступили по  
справедливости, — примирительно  
сказал Корасон Кабраль. — Все-таки  
не обделили сержанта Крисанто  
Вильяльбу при дележе орденов!

— Да, — сказал тот, — вот

ОНИ...

Он взял кувшин, в котором оставалось немного каньи. Все подумали, что он хочет выпить. Но Крисанто наклонил кувшин и осторожно налил по одной капле на каждый крест. Рука у него дрожала. Потом очень спокойно и серьезно протер их большим пальцем, смочил слюной и подул. Шаткий стол заходил ходуном. Из выцветшего обшлага вынырнул кожаный ремешок, которым Крисанто на фронте связывал ручные гранаты. Ремешок был черный, покрытый слоем грязи.

Ордена лежали на столе, поблескивая темной полированной

поверхностью. Потом он завернул их в кусок смятой пожелтевшей газеты, каждый в отдельности, чтобы не ударялись друг о друга. Взял вещевой мешок на колени и спрятал пакет. Я снова услышал приглушенное тихое звяканье и мельком заметил в мешке какие-то серые предметы, похожие на стручки сушеного перца. Вот и все его нехитрые пожитки. Я думал многое сказать ему, но только спросил:

— Ты рад, что вернулся, Крисанто?

Он помолчал, словно пытался вникнуть в вопрос. Его губы несколько раз беззвучно шевельнулись, потом он произнес:

— Не хотел...

— Чего не хотел?

Демобилизовываться?

— Да, не хотел.

— Но ведь уже прошел год, как война кончилась, Хоко.

— Это я и сам понимаю, — ответил Крисанто с непритворной грустью в голосе. — Кончилась наша славная война!

Мы переглянулись, не зная, что на это сказать. Но взрыва смеха, которого можно было бы ожидать в ответ на замечание Крисанто, на сей раз не последовало. Мы никак не предполагали, что он скажет такую фразу. Но он произнес ее тоном человека, смирившегося с

неизбежностью того, что война кончилась, при этом говорил вполне серьезно, не шутил, не дурачился и не кривил душой.

— Скажет тоже — славная! — выразил всеобщее удивление Корасон. — Я думал, что так говорят только интендантские крысы из Пуэрто-Касадо. Для них она действительно была славной. Для них и для всех, кто отсиживался в тылу. Но не для солдата, который целых три года рисковал своей шкурой и отдувался за других в Чако. Почему ты так сказал, Хоко? Наше счастье, что кончилась эта проклятая бойня.

— Кончилась-то кончилась, а

что нам дала победа? — фыркнул Иларион. — Все, что мы выиграли в боях, теперь эти тузы из правительства проигрывают на бумаге. — Он разошелся. — Мы там оставили свои ноги и руки! Усеяли землю костями — пятьдесят тысяч полегло! А для чего воевали? Убитых не вернешь!

— Ладно, хватит, Иларион, — попытался унять его Петро Мартир.

— Что ладно? — взревел тот. — Говорят, мы выиграли войну. Что это значит «выиграть войну», скажите мне, пожалуйста? Мы-то что выиграли? — Он яростно провел рукой по погнутому лбу. — Вот, посмотрите на Элихио... Он

победитель, выиграл войну! Да ему теперь даже в носу поковырять нечем! — Иларион шумно сплюнул и замолчал.

Элихио Брисуэнья потряс своей культей, остальные расхохотались. Крисанто не обращал внимания на разгоревшийся спор. Он вроде бы и не слышал, о чем говорил Иларион. Все замолчали, и Крисанто, приподняв брови, сказал:

— Сначала я не хотел верить... Все говорили, что война не сегодня-завтра снова начнется. Я ждал. Хотел вернуться туда...

— В Чако? — спросил Тани Лопес.

— Да, на фронт. Я хотел снова



воевать. Я должен был остаться там. Для меня нет другой жизни. Ходить в разведку, командовать ротой, продвигаться по ущельям, штурмовать вражеские позиции.

— Сержант Вильяльба! Герой Альгодоналя и Мандеюпекуа! — воскликнул Корасон.

— Воевать, отдавать приказы, подчиняться — вот это и есть жизнь, — повторил Крисанто. — Я не хотел уходить с передовой, не хотел оставлять свой полк, свою дивизию.

— Знаем, Хоко, — заговорил Хосе дель Кармен, который в первый раз за все время открыл рот. — Я помню, как около Гондры ты взял в

плен боливийца. Крисанто полагалось за это месяц отпуска, — продолжал он, обращаясь к нам, — так он отказался от побывки.

— А зачем она мне? Мне и там было хорошо. В своем полку. Но потом бои кончились. Я хотел остаться. А они меня обманули. Сказали, что после парада победы меня снова пошлют в Чако.

— И не выполнили своего обещания! — сказал Корасон.

— Я жил на постое и ждал. Выдали документы. А потом демобилизованные разъехались в разные стороны. Меня выкинули на улицу. Я пошел куда глаза глядят. Был в министерстве, заходил в порт, стоял

и смотрел на военные суда... Один раз даже прошмыгнул на «Пинго» и спрятался в трюме. Да матросы вытащили за шиворот...

Я сразу же представил себе, как он слоняется по пристани в Пуэрто-Нуэво, глядит сухими воспаленными глазами за реку, не отрывая взгляда от далекого горизонта. В мозгу его неотвязно бьется мысль о возвращении в Чако — робкая, но упорная и неутомимая, словно стрелка размагниченного компаса. Я понимал, как росла его тревога, как постепенно и незаметно им овладевало уныние: ведь он видел, что войска больше не поднимались на палубу. Уже не было ни военного

оркестра, ни развевающихся знамен, ни толпы, разгоряченной патриотическим порывом. Теперь здесь грузили тюки с хлопком, табаком, кожей и танином, а выгружали один за другим ящики, величиной с его ранчо в родной деревне. Отдирали доски и вытаскивали на свет божий разноцветные роскошные машины. Я представлял себе, как безразлично смотрел Крисанто на эти машины, и отдаленно не напоминавшие обшарпанные грузовики в Чако, обмазанные для маскировки землей и зеленой краской.

— Я истратил все деньги, — продолжал он, — и мне их было

нисколько не жалко: все равно не мои. Мне их дали за то, что я защищал отечество. А такое нельзя оплатить деньгами.

— Защищать отечество! — снова фыркнул Иларион, ударяя костылем об пол. — Мы защищали земли гринго! Отечество — это и мы тоже. А кто нас теперь защищает?

— Я извел все до последнего сентаво, — продолжал Крисанто так же монотонно. — Ждал. Ночевал под навесом на вокзале, в порту. Меня приняли за бродягу и арестовали. Хорошо еще, что я успел зарыть на пустыре свой мешок.

— Они отобрали бы у тебя все начисто, — сказал Иларион.

— В военной полиции проверили мои документы. Потом мне вручили билет и передали меня начальнику поезда. И вот я здесь... — Крисанто замолчал. Он, видимо, устал от такой длинной речи, а может, оттого, что, несмотря на шуточки товарищей, он все выболтал, рассказал о самом сокровенном, о надеждах и их крушении. Тонкие спокойные губы плотно сомкнулись, поля засаленной шляпы низко нависли над изборожденным морщинами лбом.

— Ты снова здесь, — сказал Элихио Брисуэнья, как бы желая приободрить его, — в своей деревне, среди своих однополчан. Ты

вернулся, мы остались в живых и будем жить все вместе. — Культя в заколотом булавкой рукаве зашевелилась, словно разозленный зверек, и это плохо вязалось с мягким голосом Элихио.

— Хоко, сынок, — прошамкал старый Аполина-рио Родас, — ты же лучший землепашец в Итапе. Мы тебе поможем стать на ноги. Надо будет очистить оросительный канал, вспахать участок...

— Не знаю, посмотрим...

В углу комнаты сидел на корточках Кучуй и старался привязать к хвосту кошки веревочку от съеденной им колбасы. Земляной пол был весь усеян колбасной

шкуркой и покрыт желтыми плевками.

Крисанто встал и собрался уходить. Кучуй оставил кошку в покое, внимательно поглядел на отца. Мы все снова почувствовали себя не в своей тарелке, загалдели и еще пуще засуетились. Нам хотелось хоть ненамного отодвинуть то мгновение, когда придется решать и эту задачу. Но она была рядом с нами, вблизи, вдали, — повсюду, ожидая с минуты на минуту своего решения, а найти его было так же трудно, как и держать по-прежнему Крисанто в неведении, скрывать от него последнее несчастье, которое подстерегало его, спрятавшись в тени



нашей веселой дружеской попойки, но она, к сожалению, не могла продолжаться вечно.

— Ну, спасибо за хлеб-соль, сеньоры, — кротко и не без грусти поблагодарил нас Крисанто.

— Куда ты, Хоко? Еще рано! Давай поиграем в карты, — предложил Корасон.

— Да у меня в кошельке кот наплакал, — сказал, улыбаясь, Крисанто, — ни одного реала.

— Не важно, Хоко. Мы же друзья. Потом расквитаемся. Проиграешь, будешь моим должником, после заплатишь... Канталисио! — закричал Корасон содержателю кабачка. — Неси

кувшин терере, мы хотим малость промочить горло! Шагом марш...

— Есть, капрал! — сказал кабатчик, отходя от прилавка, за которым он стоял, прислушиваясь к нашей беседе. Молниеносно перед нами появились бомбилья и роговой кувшин с терере.

— Давай угощайся, — настаивал Корасон, вцепившись в руку Крисанто.

— Да я хочу до вечера поспеть в Кабеса-де-Агуа. Идти-то далеко.

— Что ж, мы тебе места не найдем в деревне? Отдохнешь, выпишься у нас, а завтра утром попьешь мате и пойдешь со свежей головой.

— Нет, — отвечал тот, высвобождаясь из рук Корасона, — очень вам благодарен, только я пойду.

Крисанто вышел из кабачка, никто не смел его больше задерживать.

Кучуи пошел за ним следом. Они миновали тенистую площадь и свернули на дорогу. Крисанто шел большими размеренными шагами, Кучуи по-птичьи семенил. Под ногами у них клубилась пыль.

Мы наблюдали за ними до тех пор, пока они не скрылись за поворотом. Крисанто ни разу не оглянулся назад, не посмотрел, идет ли за ним Кучуи или отстал.

— Бедняга Хоко! — сказал

Корасон. — Вот тебе и «кончилась наша славная война»!

9

— Помню, — рассказывал Хосе дель Кармен, будто говорил сам с собой, — после отступления Сааведры, дивизион Хромого Льва<sup>[87]</sup> расположился около Гондры. Мы окопались, как могли, укрепили наши позиции. Я тогда был в роте Хоко. Во время отступления пуля угодила ему в лицо. Рана уже стала гноиться, а он упрямо не покидал своего поста. Дрались насмерть. Солдат у нас не хватало. Боливийцы

укрепились напротив наших позиций и били нас с флангов. Мы чуть было сами не попали в ловушку, которую обычно ставили боливийцам. Но те уже разгадали нашу тактику. Мы были на волоске от поражения. Тогда Хромой Лев приказал на самом высоком дереве в лесу повесить знамя, обошел позиции и поговорил с каждым солдатом... — Хосе прервал рассказ, потому что ему протянули кувшин, до краев наполненный терере, подернутого зеленоватой пеной. Он взял бомбилью, сделал глоток — булькнуло в горле. — Это нам и придало сил, — продолжал он. — Мы крепко окопались... На штыках

наших винтовок мы несли девиз маршала Лопеса «Победа или смерть».

Перед глазами Хосе дель Кармен снова встала безлюдная далекая пустыня. Но теперь поблескивал не ее песок, а жестяная бомбилья, опущенная в кувшин с терере, который передавали из рук в руки. У нас перед глазами тоже развевалось боевое знамя, укрепленное на высоком дереве, и мы видели лицо командира — Хромого Льва, его пронизательные спокойные глаза. Солдаты фанатически любили его. Он подымал их на подвиги этим старым лозунгом времен Великой войны,

лозунгом, определившим судьбу народа, над которым от веку тяготело роковое проклятие — война.

—..Так мы продержались несколько недель, переходя от атаки к контратаке, — продолжал Хосе дель Кармен. — Надо было прорвать окружение во что бы то ни стало. Но мы воевали вслепую. Необходимо было раздобыть сведения о противнике. Вот тогда-то и предложили Крисанто месяц отпуска за поимку «языка». Целый месяц побывки. Нет, вы понимаете, что это такое?

— Значит, тогда Хоко и взял боливийца в плен? — спросил Тани Лопес, ожесточенно ковыряя в ухе

длинным, кривым мизинцем.

— Да, около Гоидры он наткнулся на индейский колодец, весь заросший тростником и подорожником. Никто не знал, откуда он тут взялся, вокруг была только иссохшая земля, а Хоко и под землей чуял воду. И вот он стал ждать там неприятеля днем и ночью. Хоко знал, что рано или поздно враг все равно приползет к воде. Так оно и получилось. Как-то вечером у колодца наконец появился боливиец. Заморыш, худосочный. Хоко притаился в зарослях и подпустил его поближе. Чтобы получить разрешение на побывку, надо было взять боливийца живым. Тот



опустился на колени и стал пить, как пьет лошадь. Потом разделся и влез в воду. Тут Хоко и бросился на него. Боливиец сдрейфил, но так как он был весь мокрый, то выскользнул из рук Хоко, как угорь, и кинулся наутек. Малый-то был хлипкий, зато легкий на ноги. Все-таки Хоко догнал его и схватился с ним. Но тот опять вырвался. Тогда Хоко ничего не оставалось как приставить ему штык к брюху — припугнуть хотел. А боливиец от страху задергался, пропорол себе живот повыше паха да как завопит! Хоко струхнул еще сильнее боливийца. Растерялся, не знал, что делать. Побежал, принес воды из колодца, смыл кровь на

животе и приложил к нему размятый лист подорожника. Но пленный продолжал стонать, с каждым разом все тише и тише. Хоко совсем потерял голову. Умрет ведь боливиец, не иначе как умрет. Тогда Хоко взял его на руки, как берут найденного в лесу подкидыша, стал укачивать, будто решил спеть ему колыбельную и убаюкать. «Молчи, братец! — приговаривал он. — Не реви, боливиец! Не бойся ты, авось не помрешь!» Так и пришел на позиции, неся его на руках — еще живого...

— Ну и дела! — заметил Тани, ухитрившись выскрести ногтем серу из уха.

— Хоко отказался от награды. И

снова пошел воевать.

— Он что, уже был малость того? — спросил Корасон.

— Нет, еще не был, — ответил Хосе дель Кармен. — Вскоре мы прорвали вражескую оборону, а меня перевели в Толедо. Больше с Хоко я не встречался. Говорят, это у него началось в Гондре, когда он прорыл туннель и, пройдя под укреплением боливийцев, оказался в тылу противника. Хоко бросил больше сотни ручных гранат и одним из первых проник во вражеские позиции. Его отметили в приказе.

Он по-прежнему воевал на передовой, там и хотел остаться... Хоко сам вам про это говорил.

Малый он был скрытный, но держался стойко и никого не удивило, что он не желает уезжать. В конце концов он хотел одного — воевать, а там только это и было нужно...

Все замолчали. В сотый раз Иларион злобно плюнул, около его костыля уже образовалась черная лужица.

В наступившей тишине я вдруг снова почувствовал себя одиноким, еще более одиноким, чем прежде. В родной деревне я был чужим, совсем не таким, как мои товарищи по оружию — изнуренные войной призраки, бок о бок с которыми я сидел в кабачке. Может, я опять в

Чако, в том далеком изнывающем от жажды ущелье? Смерть держит его в когтях, и из него нет выхода... Нет, я дома. У меня растут ногти и волосы, но мертвецу не вернуться на этот свет и не начать все сначала... И, однако, я живу, правда, на свой лад, меня интересует больше то, что я уже видел, чем то, что мне еще предстоит увидеть. Одно время страдания ожесточили меня: я сделался нелюдимым и надменным. Но на смену отчаянию пришли душевная просветленность и кротость. Я стал наблюдателем жизни.

Да, я из тех людей, у которых нет будущего и которые одиноки

только потому, что не умеют любить и не понимают, что вокруг них делается. Они все время ворошат прошлое и тоскуют по его завораживающим картинам. «Созерцатели собственного пупа», — так называл их в лагере один из заключенных. Для этих людей имеет смысл только такое будущее, которое своими корнями уходит в прошлое и обладает его притягательной силой. Они не думают о смерти. Они живут сиюминутным делом. Их соединяет страсть, бушевавшая в данный момент, страсть, которая выводит их из мирка чисто личных интересов, связывает с каким-то общим делом, пусть даже неосуществимым, но

бескорыстным. Иной жизни для них нет, как нет и смерти, потому что мысль о ней парализует душевные силы и убивает их. Эти люди живут — и все. Взять, к примеру, тягу к войне Крисанто Вильяльбы: эта тяга — такая же всепоглощающая страсть, как и сама жизнь. Стрелка неутолимой жажды указывает им путь к источнику, бьющему в самой таинственной, бескрайней пустыне, — пустыне человеческого сердца. Сила их нерушимого братства коренится в созданном ими кумире. Эту силу пытаются сломить, уничтожить, стереть с лица земли, но она возрождается, с каждым разом становясь все жизнеспособнее, —

эта неодолимая сила, то затухая, то разгораясь, рвется в своем движении ввысь...

В Итапе, как и во многих деревушках, опять всходят семена мятежа, сгущаются тучи недовольства и горькой обиды. У вернувшихся с войны солдат нет работы. Об инвалидах и говорить нечего. Поэтому так мстительно постукивает костыль Илариона Бенитеса. По-прежнему гонят крестьян с их наделов. Земля как бы съезживается под босыми ногами бесчисленных бедняков и словно разрастается под обутыми ногами горстки власть имущих. Снова начинается исход. Люди бегут к



границе: ищут работы, уважения к себе, ищут забвения. Крестьяне, пеоны с плантаций сахарного тростника, менсу и рабочие уже начали сливаться в единый поток сопротивления, поднялись на борьбу, требуя пересмотра государственных цен на товары, увеличения жалкой заработной платы. Они сжигают урожаи или разметывают скирды пшеницы прямо по проселкам. Военным машинам приходится выезжать на расчистку дорог, где горят огромные костры. Снова леса кишат мятежными отрядами. И опять глухо разносится по стране клич: «Земли, хлеба, свободы!» Каждый день этот лозунг, выведенный

неровными буквами, вспыхивает на стенах городов и деревень.

Что-то должно измениться. Нельзя больше терпеть угнетение. Человек, дети мои, говорил старик Макарио Франсиа, точно река... Он рождается и умирает в других реках. Плоха га река, которая теряется в болоте... Стоячая вода ядовита. Она порождает миазмы яростного безумия и злокачественной лихорадки. Стало быть, чтобы вылечить недуг или хотя бы отчасти справиться с ним, надо больного убить. Но в этой стране даже под землей осталось мало места для вечного поселения. И мертвые молчат!..

Я боюсь, что в один прекрасный день, как в тот раз в Сапукае, эти люди явятся ко мне и снова попросят научить их воевать. Я в роли учителя! Какая горькая насмешка! Впрочем, нет, в моих уроках они больше не нуждаются. Отгремевшая война их многому научила. Грузовик Кристобаля Хары встретился со смертью не для того, чтобы спасти жизнь предателю. И поныне его объятая пламенем автоцистерна, тарахтя по ночной равнине и буксуя на извилистых просеках сельвы, везет воду, чтобы утолить жажду тех, кто остался в живых.

Я вдруг отчетливо понял, какую злую шутку со мной сыграла судьба:

ведь именно тот единственный человек, который должен был умереть в ущелье Чако — этом обиталище мертвых, — по сей день живет и здравствует, восседая на месте казненного Мелитона Исаси...

При этой мысли меня стал душить истерический смех, смех до слез.

Все посмотрели на меня. Молчание снова стало тяготить нас.

— Да, посмеялись над ним до конца! — услышал я голос Илариона. — Его же собственные товарищи! Кресты из бочарного железа! Какая издевка!

Тут я вспомнил, что речь-то ведь идет о Крисанто Вильяльбе и

Иларион говорит об издевательствах, которое над ним учинили.

— Это еще хуже, чем надругаться над покойником, — пробормотал Аполинарио Родас, древний старик; лицо его было скрыто полями огромного тростникового сомбреро.

— Но для Хоко эти кресты — настоящие! — возразил Корасон-

— Тем хуже, — проворчал Иларион.

Вдали, над проселком, залитым матовым сиянием, таяли облачка пыли, взбитые ногами Крисанто Виль-яльбы и Кучуи.

Миновав кладбище, отец и сын скоро очутились у подножия холма.

Извилистая тропинка вела к Христу. Отсюда он казался распятым прямо в небе. Крисанто шел, понутив голову, и горячий ветер шевелил спутанные пряди волос. На деревянного искупителя Крисанто даже не взглянул. Он не знал, что на этом самом месте близнецы Гойбуру отомстили и за него. Да и знай он, вряд ли бы это его взволновало, потому что Крисанто был равнодушен ко всему, кроме гулкового эха ушедшей войны, заполнившего теперь всю его жизнь.

Аполинарио Родас сказал, что до Чако Крисанто слыл самым лучшим

землепашщем в Итапе. Его  
однопольчане знали, что землепашец  
из Итапе был среди них лучшим  
солдатом. Он мог начать все сначала  
— ни развороченный участок, ни  
жалкие три креста не были ему в  
этом помехой. Но теперь он уже не  
был ни землепашщем, ни солдатом.  
Никем. Только тенью самого себя,  
тихим неприкаянным призраком,  
продолжавшим существовать  
благодаря упрямой жизненной  
инерции, а может быть, благодаря  
дикой и цепкой мечте, которую  
вселило в него Чако.

Неподалеку, среди бамбуковых  
зарослей и изогнутого, как олени  
рога, колючего кустарника, из

которого сплетали венки, бил родник Тупа-Рапе. Над ним шелестели казуарины, порою заглушая журчание воды. Крисанто и Кучуи подошли к роднику и, став на колени, принялись пить. Первым припал к воле мальчик. Отец пристально смотрел на стремительно бегущие струи. Над головами Крисанто и Кучуи кружились осы и белые бабочки. Мальчик поймал двух и, посплюнув их, приклеил на грудь, покрытую струпьями. Крисанто, по-прежнему стоя на коленях, набирал во флягу воды.

На вершине холма, укрывшись под навесом, сидела на скамейке женщина, бессменная



охранительница Христа, и внимательно следила за ними. Издали она была похожа на темное пятно в потоке света. Безумная Мария Роса с холма Каровени не узнала ни своего зятя, ни своего внука, а Крисанто и вовсе не заметил ее. Он поднялся и неторопливо осенил себя крестом. Кучуи тоже перекрестился. Они опять вышли на проселок и продолжали свой путь. Кучуи поймал еще двух бабочек и снова, посплюнув их, приклеил на белесую пятнистую грудь.

Две тени, уходили по дороге, удаляясь от холма.

Они добрались до Кабеса-де-Агуа.

Пройдя тропинку до конца, они догадались, что где-то поблизости протекает речка, потому что лесная зелень была здесь нежнее и ярче. Да и воздух пахнул по-особому. Плоское солнце купало в огне склоны дальних холмов Ибитирусу. Свет разом приобрел другую окраску: он разливался по раскаленному добела небу и трепетал над кокосовыми пальмами и колючими скелетами агав. Птицы выпархивали из чащи, но вскоре от нестерпимой жары забирались обратно в лес, пронзительно пища. Кучуи семенил рядом с отцом, жуя сорванные по

дороге плоды гуайявы. Его облепленный косточками рот стал пунцовым.

Они миновали пастбища, потом старый, расчищенный под пашню участок леса, где торчали обгорелые пни, уже покрывшиеся новыми побегами, и очутились в банановой роще. Огромные опавшие листья потрескивали у них под ногами, как рассохшаяся дека гитары.

Порою Кучуи исчезал среди желтых стволов, но сразу же появлялся снова, догоняя отца, стараясь идти с ним в ногу. В спутанные мальчишеские вихры набился репейник и чертополох.

Они прошли буйные заросли

маниоки. Испуганные ящерицы стремительно улепетывали у них из-под ног; змея, точко клубок лежавшая у большого муравейника, развернулась толстым темно-синим жгутом и пропала в бурьяне. Они долго обходили болото, из которого вытекала речушка, потом снова вышли на дорогу, едва обозначенную красными плешинами земли. Видно, когда-то машины проложили здесь колею. По обочинам дороги на сломанных затверделых стеблях висели почерневшие маисовые початки. Выйдя на прогалину, отец с сыном увидели, что по дороге грузно проковылял броненосец, покачивая роговыми щитками на спине. Кучуи

мигом уцепился за отцовский вещевой мешок.

— Пойдем словим его на ужин, папа.

— Не надо, Кучуй, — ответил Крисанто, в первый раз назвав сына по имени, и в его голосе прозвучала непривычная нежность. — Пускай живет. Ты же только что поел.

— Jha nde?[\[88\]](#)

— Я не хочу есть, — ответил он по-испански.

Неожиданно для него самого звуки чужого наречия, звуки-паразиты сорвались с губ. Кучуй смотрел на него, не понимая. Тогда Крисанто повторил это на гуарани. Между отцом и сыном опять

возникло то безмолвное, немое согласие, когда люди ведут беседу, не глядя друг на друга, когда слова излишни. Кучуй снова зашагал рядом с отцом, стараясь подладиться под его шаг, но короткие ноги не слушались мальчика. Он начал выбиваться из ритма, догонял отца маленькими шажками. Пыль окутывала путников с головы до пят.

Крисанто все медленнее шел вперед. Его лицо выражало то безразличие, то удивление. Очутившись на своем участке, он не узнал его. Несколько часов назад, выйдя из поезда, Крисанто ступил босыми ногами на незнакомую ему землю, — теперь он брел по

незнакомому и дикому участку, воспоминание о котором было навсегда погребено в его памяти.

Влача за собой свою тень, он робко вошел в поток света, но и тут его душевные сумерки не растаяли. Крисанто вбирал в себя дразнящие запахи земли, которая, притаившись, наблюдала за ним.

Они вышли на прогалину. Неподалеку, прячась среди высокой травы, стояло ранчо, залитое розовым трепещущим вечерним сиянием. Облупившиеся кирпичные стены слепо и безжизненно смотрели на них. Вдруг мужчина остановился и протянул руку мальчику; он не столько хотел

защитить его от этого внезапно  
возникшего призрака, сколько  
опереться на Кучуй. Всюду  
проглядывали следы мертвой жизни  
Крисанто. Они особенно бросались в  
глаза в этом беспощадном свете. К  
резным подпоркам была прислонена  
скамья. На проволоке, протянутой  
между сломанными бамбуковыми  
палками, трепыхались какие-то  
почерневшие отрепья — бывшая  
нижняя юбка. Повсюду безраздельно  
царило запустение, являя двум  
человеческим теням картину поля  
боя после поражения. Тряпку,  
болтавшуюся на проволоке, можно  
было счесть за флаг, робко  
выглядывающий из-за ранчо и



вывешенный в знак полной капитуляции.

Тишина все сгущалась, заполняя округу и обволакивая дальние холмы. Журчание речки, тревожившее это затишье, казалось неумолчным грозовым раскатом, который все приближался и, загромыхав наконец над самым ранчо, вывел из оцепенения мужчину, опиравшегося на мальчика.

Некоторое время Крисанто стоял неподвижно, видимо перебирая в памяти события разных лет и тасуя воспоминания. Потом вдруг ему стало ясно то, чего до сих пор он не понимал: подсказала его же собственная земля. Тогда резким

толчком он отбросил мальчика в высокую траву, сам как-то съежился, напрягся, задрожал. Торопливо развязал вещевой мешок, достал оттуда один из стручков перца. Пакетик с крестами упал в траву.

— Рота Вильяльбы! Смирно! Шагом марш! — выкрикнул он слова команды, как сотни раз выкрикивал их в сражениях.

Он выпрямился, провел головкой черного стручка по запястью и со всей силы швырнул стручок прямо перед собой.

Взрыв, яркая вспышка, — и ранчо взлетело на воздух, как вражеский блиндаж. Двенадцать гранат — памятки о прошлых боях,

привезенные из Чако, — одна за другой полетели в воображаемые позиции противника.

Широкая воронка поглотила участок, заросший бурьяном, желтые молнии и грохот взрывов раскололи спускающуюся ночь.

Оглушенный, перепуганный, но веселый Кучуи сидел в зарослях и смотрел, как мечется его отец, кричит не своим голосом и бросает гранаты. Кучуи, конечно, думал, что отец играет в войну, о которой столько ходило разговоров; отец, видно, решил показать ему, какова эта война на самом деле.

Когда я галопом прискакал на место взрыва, Крисанто спокойно сидел на пне. Кучуи пристально глядел на отца, не смея нарушить его молчание. На лице Крисанто лежали черные тени. Он рассеянно смотрел в сгущающуюся темноту. В разлитом повсюду покое что-то незримое приковывало его пустой взгляд, в котором чувствовалось щемящее смирение. Единственным осязаемым свидетельством его угасшей ярости был запах пороха, но лиловатое облачко скоро растаяло, а минуту спустя мы уже не могли разглядеть друг друга в темноте. Я слушал собственный голос, и мне казалось, что это говорит незнакомый человек.

Но Крисанто и думать не хотел о возвращении в деревню.

— Не пойду, — сказал он, как бы расписываясь в том, что им окончательно завладели душевные сумерки.

Я растерялся. Что с ним было делать?

Проходили дни. Я колебался, не зная, то ли добиваться лечения Крисанто, то ли оставить его в покое наедине со своим помешательством. А что, если этот взрыв рассеял по ветру не только ранчо Крисанто, но и осколки его души? Вспышка безумия, разворотившая участок, улеглась, ей на смену пришло покорное безразличие, которое не давало

Крисанто осознать, что его жизнь пущена под откос.

На гуарани слово arandú означает «мудрость», а его дословный перевод — «слышать время». Память Крисанто была глуха к бегу времени. Он перестал его слышать, потому что с головой был захлестнут горем. Крисанто превратился в такого же ребенка, как его сын.

Я написал письмо врачу Росе Монсон, где подробно изложил все, что касалось болезни Крисанто. Она ответила, что послать Крисанто на лечение в Асунсьон просто мой долг, и пообещала сама уладить это нелегкое дело: государство ведь не

занимается инвалидами войны. Я знаю, она выполнит свое обещание.

Мне не придется уговаривать Крисанто поехать в Асунсьон. Стоит ему сказать, что «славная война» началась снова, как он, не раздумывая, сядет в поезд, словно мальчик, едущий на праздник.

Кучуй я заберу к себе.

Я думаю не только о нем и его отце. Я постоянно размышляю и о других отверженных, которые, подобно Крисанто и Кучуй, обречены на жалкое существование. Как будто страдания отпущены человеку с первого дня творения и ему на роду написано нести на плечах бремя нескончаемой скорби. Но я верю, что

даже из этого абсурдного мира, где человек распят своим ближним, должен быть выход. Иначе я укреплюсь в мысли, что человечество проклято отныне и во веки веков, что мир — это ад и нужно оставить всякую надежду на спасение.

Должен быть выход, иначе...

*(Из письма Росы Монсон)*

«...На этом  
обрываются записки  
Мигеля Беры. Он писал их  
на обороте измятых  
деловых бумажек с печатью



алькальда. Неровные листки были засунуты в кожаную сумку. Мигель писал все это незадолго до того, как пуля застряла у него в позвоночнике. Чернила на последних страницах не успели выцвести, конец его воспоминаний дописан карандашом.

Когда мы с доктором Мельгарехо приехали к раненому Мигелю в Итапе, я сразу же заметила потертую полевую сумку. Она висела в изголовье кровати и была набита

этими листками. Я взяла ее с собой, в полной уверенности, что в записках нашла себе прибежище душа человека, лежащего неподвижно передо мной и сжигаемого предсмертной агонией. О случившемся с ним несчастье ходили разноречивые толки: одни утверждали, что он выстрелил в себя случайно, когда чистил пистолет; другие сваливали вину на Кучуи, которому Мигель нередко позволял играть с оружием. В конце концов

остановились на первой версии.

Я познакомилась с Мигелем Берой в Чако, в самом начале войны. Я лечила его в госпитале Исла-Пои, куда он поступил в шоковом состоянии, когда осада Бокерона уже подходила к концу. Мигель со своим батальоном провел в ущелье десять дней: он оказался в окружении, умирал от жажды и голода, без крошки продовольствия и капли воды. Мигель был высокий, стройный, с

красивыми карими  
глазами. Говорил он мало и  
из-за этой своей  
молчаливости слыл  
человеком замкнутым и  
нелюдимым. «Отщепенец,  
отравленный чрезмерной  
чувствительностью», —  
как он сам характеризовал  
себя в одном из писем,  
присланных мне из Итапе.  
Я думаю, что, вероятнее  
всего, он был натурой  
впечатлительной,  
отличался ясным умом, но  
абсолютно не годился для  
практической  
деятельности. Хотя он и

родился в деревне, в нем не было ни крестьянской закваски, ни твердости своих односельчан, ни их сметки и умения сопротивляться физическим и душевным страданиям. Он не умел ориентироваться ни в чем, даже в «дозволенных желаниях», мог заблудиться в трех соснах. Я нимало не удивилась тому, что во время осады Бокерона его батальон был единственным, который сбился с пути, и что затем до конца войны Мигеля

перевели в резерв. Всякое страдание приводило его в ужас, и он не находил в себе сил его побороть. Он сразу же предавался отчаянию, начинал копать в себе. Стиль записок Мигеля — рельефное изображение его судьбы. Он постоянно терзался неисцелимыми душевными муками; жестокость окружающего мира вызывала у него физическое отвращение. Но он упрямо гнал от себя мысль о самоубийстве. «Парагваец никогда не

кончает с собой, — писал он мне в одном из последних писем, — в лучшем случае он покорно ждет смерти, а это не равнозначно самоубийству». В Итапе он был одинок, его родители умерли, обе сестры жили с мужьями в Асунсьоне. Когда я с ними познакомилась, мне сразу же стало ясно, что они никогда не понимали своего брата. В Итапе простой народ дичился его. Суровая неприступность Мигеля не вызывала у

односельчан симпатии и  
расположения. Кроме того,  
должность алькальда была  
сильно дискредитирована,  
несмотря на смену  
названия и функций  
политического начальника.  
Его единственным другом  
был Кучуи. Меня не  
удивляет, что Мигель  
занялся воспитанием  
ребенка. Вероятно, сам  
того не подозревая, он  
сделал Кучуи своим  
невинным палачом,  
который не давал  
притупить чувство вины,  
никогда не покидавшему



Мигеля. Он умер в Асунсьоне через несколько дней, так и не придя в сознание.

Промелькнули годы, и страна снова стоит на пороге гражданской войны. Поэтому я решила извлечь из забвения и предать гласности записки Мигеля, так как он уже не сможет взять назад эти слова, пойти на попятный, сдаться... Я переписала их, не изменив ни одной строчки, ни единой запятой. Я опустила только те места, которые касаются

лично меня; они ни для кого не представляют интереса.

Я убеждена, что главная ценность этих записок заключается в их достоверности. Надеюсь, они хотя бы частично помогут понять не только Мигеля Беру, но и его оклеветанный народ, который на протяжении многих веков то бунтует, то носит ярмо угнетения, то прозябает под сапогом бесчестных насильников, то идет за своими мучениками-пророками...»

---

## notes

# Примечания

А. И. Герцен, Собр. Соч., т. 12,  
изд-во АН СССР, М. 1957, стр. 190–  
191.

См. предисловие, стр. 15.

Питогуá — небольшая птица (*гуарани*); испанское название — бичо фео, буквально: урод.

Энкомендеро — испанский помещик.



Капитан — руководитель колониальной испанской или португальской экспедиции (конец XV — начало XVI в.), который по завершении ее получал от короны право на управление завоеванной областью.

Кебрачо — дерево с особо твердой древесиной.

Алоха — напиток,  
приготавливаемый из воды, меда и  
пряностей.

Карай гуасу — повелитель  
(гуарани).

Таита — ласковое обращение к старшим.

Великая война (1864–1870) — война между Парагваем и Тройственным союзом (Бразилия, Аргентина, Уругвай).

Имеется в виду сражение между парагвайскими и бразильскими войсками в 1868 г. за крепость Умайтй, оборонительное сооружение вокруг которой носило название Куадршытеро.

Ньяндуй — легендарный персонаж, олицетворявший народную смекалку на войне.



Лопес Солано Франсиско (1827–1870) — политический деятель Парагвая. В 1862 г. был избран президентом. Погиб в одном из сражений во время Великой войны.

Имеется в виду Элиза Линч,  
жена Франсиско Солано Лопеса.

Мертвецам нечего делать среди живых (гуарани).

Чарки — вяленое или копченое  
мясо.

Мате — парагвайский чай.

Фидель Маис (1828 — ок. 1916) — видный деятель католической иерархии Парагвая. Воспитатель президента Франсиско Солано Лопеса и его армейский капеллан. В последние годы жизни написал книгу, обличающую Лопеса.

Монтойа Антонио Руис де (1585–1652) — испанский ученый, уроженец Перу, миссионер, член ордена иезуитов, проживший среди индейцев-гуарани тридцать лет. Составил первый слосарь и грамматику гуарани.

Столетие                      независимости

Парагвая праздновалось в 1910 году.



Политический начальник (исп. jefe político) — назначаемое правительством лицо, которому принадлежит административная власть в деревне, городе и т. д.

Канья — тростниковая водка.

Нья (исп. ñа; сокращенное от  
níña— девочка, девушка) —  
обращение к женщине.

Гринго — презрительное прозвище иностранцев в Латинской Америке.

Альпаргаты — самодельные  
сандалии.

Святой Рох обычно изображается с посохом, в рубище и с собакой.

Цивилист — сторонник  
гражданской власти.

Проклятье! (гуарани)



Хоть бы скорее! (гуарани)

Менсу — сельскохозяйственный рабочий, нанимающийся на месяц.

Довольно, мой друг, довольно,  
ты ранишь наши сердца... (гуарани)

Мои господин! (гуарани)

Здесь игра слов. Mondé — на гуарани означает «воровать».

Арроба — мера веса, равная 11,5 килограмма.

Курусу — крест (гуарани).

Уру — надсмотрщик (гуарани).



йопара — парагвайское кушанье из маиса, фасоли и мяса (гуарани).

Т о м а с — английское звучание имени Фома. Сумё — видоизменение того же имени в языке гуарани.

Я остаюсь (португ.).

Голову снесут (португ.).

Дурак (гуарани)

Иди ко мне, сынок! (гуарани)

см. стр 103

...И у нас есть матери  
тоже,  
и родная долина нас  
ждет... (гуарани)



Гремучая змея! (гуарани)

Ягуар! (гуарани)

См. предисловие, стр. 14.

Бомбилья — трубочка, через  
которую пьют мате

Имеется в виду неудавшийся заговор военных против правительства либералов (1928).

Вот это да! (гуарани)

Меня не торопит ничто,, меня  
не остановит никто... (гуарани)

Колорадо — помещичья партия  
Парагвая.



Начальник! (гуарани)

Ребята! (гуарани)

Открывай, господин!

Бежим!.. Бежим все!., (гуарани)

Терерé — холодный настой мате.

Я виновен (лат.).

День памяти героев, павших в  
битве с бразильцами при Серро-Кора  
1 марта 1870 г.

Аудиенсия Чаркас — бывшая испанская колония в Южной Америке, куда входили территории нынешней Боливии и Парагвая.



Аудиенсия Чаркас — бывшая испанская колония в Южной Америке, куда входили территории нынешней Боливии и Парагвая.

Чем владеете, тем и владейте  
(лат.).

К а с а д о (буквально:  
женатый) — семья англо-  
аргентинских капиталистов,  
владевших областью Чако.

Ниньо            Насимъенто            —

буквально: рождество Христово.

Фош Фердинан (1851–1929) — французский военный деятель, командующий французской армией в первую мировую войну

Леон Пинело Антонио де (конец XVI в. — 1660) — испанский ученый и крупный государственный чиновник, уроженец Перу. Оставил множество сочинений по вопросам права, теологии, истории и описание путешествий в область Ла-Платы.

Сальюи— здоровьице (гуарани).

Пситакоз — инфекционное заболевание птиц, главным образом попугаев



Земляки (гуарани).

Земляки (гуарани).

Ты... и ты... и ты (гуарани).

Черт, что за привидение!  
(гуарани)

## Собачья жизнь! (гуарани)

Здесь: легкомысленная женщина  
(гуарани).

Нет! (гуарани)

Буквально: облезлый пес (гуарани) — так презрительно называли тех, кто на фронте Чако служил в полевой жандармерии.



Дайте дорогу! (гуарани)

Обгорелая лепешка... (гуарани)

Ярара — ядовитая змея.

Меня возьмет с собой долгий,  
долгий сон (гуарани).

Хоко — журавль (гуарани).

А л ь к а л ь д — староста или глава муниципалитета.

Кучуй — разновидность попугая  
(гуарани).

Блудница (гуарани).



Лиана (гуарани).

Черт побери! (гуарани)

Хромой Лев — так солдаты  
называли военного министра  
Мануэля Рохаса.

А ты? (гуарани)

